Блок

БЕЗ ГЛЯНЦА

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Современники поэта поставили Александра Блока на пьедестал и не переставали им восхищаться. И далеко не все рассмотрели в нем «страстно-бесстрастного» героя времени. Те же, кому открылся внутренний мир Блока, сохранили о поэте и его жизни заметки без прикрас, свидетельства без недомолвок.

- Блок без глянца
  -
  - Поэма и Её поэт
  - Личность
    - Облик
    - Характер
    - Склад души
    - Творчество
    - Особенности поведения
    - Молчаливый собеседник
    - Декламатор
    - Увлечения, пристрастия, привычки
    - Жилище
    - Шахматово
    - Сын
    - Муж
    - Алкоголь
    - Женщины
  - Семья
    - Предки
    - Отец Александр Львович Блок
    - Мать Александра Андреевна
    - Отчим Франц Феликсович
    - Сводная сестра
    - Жена
  - Путь
    - Детство
    - В гимназии
    - 1897. Первая любовь. Ксения Михайловна Садовская
    - В Боблово
    - «Встречи» с Владимиром Соловьевым
    - Университет
    - «Прекрасная дама» Л. Д. М.
    - 1902–1903. В начале пути

        - 1904. Московские знакомства и встречи
        - 1904. Мережковские и рядом с ними
        - Блок и Белый: на заре отношений
        - 1905. Первые сполохи русской революции
        - У Вячеслава Иванова
        - 1906–1907. Страсти вокруг Прекрасной Дамы
        - «Балаганчик»
        - 1906–1907. «Снежная маска». Наталья Николаевна Волохова
        - 1907. Опять дуэль
        - 1909. Несостоявшееся отцовство
        - «Кармен». Любовь Александровна Андреева-Дельмас
        - Война
        - 1917. Слушая «музыку революции»
        - «Сегодня я – гений»
        - 1919. Ночь в ЧК
        - Прощание
        - Болезнь и смерть
        - Похороны
    - Краткая летопись жизни и творчества А. А. Блока
    - Библиографическая справка
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21

- ○ 22
- ○ 23

Блок без глянца
Сост. Павел Фокин

Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2008
© Поляков С., составление, 2008
© Оформление. 73АО ТИД «Амфора», 2008

* * *

Поэма и Её поэт

И как не умереть поэту,
Когда поэма удалась!

М. Цветаева

Спустя девяносто лет что осталось от Русской Революции? Политическая система? Государственный строй? Экономический фундамент? Социальная структура? Идеология? Решение национального вопроса?

В реальности – ничего!

А была ли революция? И, вообще, *что* было? Эти вопросы повисли бы в густой пелене документов и исследований, потонули в немом гвалте свидетельств и сообщений, растворились в безнадежном хаосе оценок и мнений, если бы в январе 1918 года Александр Блок не *записал* Поэму «Двенадцать».

От Русской Революции осталась Поэма Блока, как от Троянской войны осталась Поэма Гомера, от гибели античного мира – «Апокалипсис», от борьбы гвельфов с гибеллинами – «Божественная комедия».

Поэма не есть жанр литературы. Все, что *в литературе* называется «поэмой», – по сути только большое стихотворение с более или менее развитым сюжетом. Истинная поэма, Поэма – это некий первородный смысл, явленный в образе кристальной ясности и ослепительного совершенства. Поэма истинная, а не литературная – это Откровение, явление Бога Человеку. Художник тогда утрачивает свою историческую, социальную, личностную индивидуальность, пол, возраст, национальность, становясь в это время (или, может быть, как раз *выпадая* в этот момент из времени) тем абсолютным Человеком, первочеловеком, который некогда был создан по Образу и Подобию, являет собой Образ и Подобие, и с которым Бог вступает в общение, к которому – обращается, сообщает, предвещает, которого наставляет и – наконец – спасает.

Русская Революция была такой Поэмой. Ей нужен был не гнев народных масс, не слабость царского режима, не упадок экономики и козни внешних врагов. Ей требовался Поэт, ибо Русская Революция была не только социальной революцией и, в первую очередь, не социальной революцией – ее битвы разворачивались в пространстве «миров иных», – по сути своей

она была метафизическим рубежом, предсказанным человечеству в Откровении Иоанна Богослова, и только Поэт мог его увидеть и описать – открыть глаза современникам и потомкам.

Первым приближение Поэмы почувствовал Гоголь, обладавший духовным зрением и отвагой пророка. Но Гоголь не рассчитал своих сил, не вынес подвига воплощения Поэмы. Да и не пришли еще сроки. Второй том «Мертвых душ», преображавший мир Руси кромешной в светоносную Русь святую, так и не дался Гоголю, лишь опалил заревом грядущей Истины: его хрупкая, нежная душа надорвалась от непомерности усвоенной им художественной задачи, и он умер, ослепленный ею. Но зов Поэмы был услышан.

Ему внимал прошедший через «большое горнило сомнений», изведавший инобытие «Мертвого дома» Достоевский. В горячечном сне Раскольникова, в озарениях князя Мышкина, в мрачных исповедях и проповедях «бесов» – Ставрогина, Верховенского, Шигалева, в бунте Ивана Карамазова, в его «Великом инквизиторе», наконец, в фантастическом испытании Смешного человека Поэма проступала своими грозными очертаниями, предвещая скорое и полное явление. Но слишком много страсти – *личного* – было в Достоевском, он уже достаточно многое узнал в жизни, чтобы послушно подчиниться Поэме, принять Ее безоговорочно, без споров и борьбы, покорно и бестрепетно произнести Ее слова.

Идеальным избранником Поэмы Русской Революции стал Блок.

Физическое совершенство и душевная искренность определили его судьбу. Только он, строгий крестоносец русского стиха, мчавший своего коня на встречу с Прекрасной Дамой вечной Романтики, мог отдать себя служению Поэме. Только он мог быть Ей верен до конца: он слышал гулы сдвинувшихся миров отчетливее всех и готов был предать себя их велению. Его почти средневековая рыцарственность, возвышенная и односторонняя, была залогом безупречного свершения Поэмы.

В Блоке сошлись и соединились неустрашимая воля поэта и трепетное безволие человека, холод мастера и пламя пророка, бесстрастное равнодушие наблюдателя и чуткое рыдание очевидца.

О, я хочу безумно жить:
Все сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!

(1907)

Он был естествен и прост в каждом своем движении, в каждом поступке и слове. Благородство, рожденное искренней любовью к миру, было написано на его челе. Детское простодушие и целомудренность лежали в основе его личности и придавали ей целостность и гармонию. Стройность определяла внешний и внутренний облик Блока. Музыка жила в нем, рядом с ним, вокруг него. Блок был *лучшим* поэтом эпохи. Его обожали. Ему поклонялись как божеству. Его стихи учили наизусть. Ими говорили и думали.

Он был *ровня* Поэме. Одной крови: живущий в мире – не из мира сего, из другого времени и пространства, внеисторического, внесоциального; на языке мира говорящий о предвечном – язык мира претворяющий в глагол вещий.

В избранный час Поэма пришла к нему, и он неколебимо сознал: «Сегодня я – гений».

Корней Чуковский, видевший черновик «Двенадцати», говорил, что он написан идеальным, чуть ли не каллиграфическим почерком, на аккуратных листах белоснежной бумаги, с какими-то почти незаметными правками и помарками – точно кто-то продиктовал Блоку текст, а он только его зафиксировал. Так оно и было. Поэма прошла через поэта и встала во весь рост перед ошеломленным человечеством. Ее оглушающее Слово разнеслось по всей России, поразив и озадачив.

…На ногах не стоит человек…

…Злоба, грустная злоба
Кипит в груди…
Черная злоба, святая злоба…

…Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!..

…Мировой пожар в крови –
Господи, благослови!..

…Эх, эх, согреши!
Будет легче для души!..

……

…Ужь я ножичком

Полосну, полосну!..

…Скучно! …

…И идут без имени святого
Все двенадцать – вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль…

…Впереди – Исус Христос…

Мистика судьбы Александра Блока заключена в его избранности быть автором Поэмы. Он это знал еще на заре своей юности, к неведомому обращая стих:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –
Все в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо.
И молча жду, – тоскуя и любя.

(1901)

Как смерч, Она настигла поэта, и он, оказавшись в эпицентре, *отразил* ее натиск Словом. Он давно ждал Ее.

И встречаю тебя у порога –
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем Бога
На холодных и сжатых губах…

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита…

(1907)

В эпицентр Поэмы Блок попал случайно, то есть по воле судьбы. В первые дни Русской Революции он был далеко от Петрограда – в Порохонске, где служил (шла мировая война) табельщиком инженерно-строительной дружины. Устав от однообразия и скуки прифронтовой жизни, Блок подал заявление на отпуск и получил его в марте 1917 года. В родной город он попал спустя несколько дней после краха самодержавия.

«Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищеных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Может случиться очень многое, минута для страны, для государства, для всяких „собственностей“ – опасная, но все побеждается тем сознанием, что произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно».

Чудо не замедлило прийти и в жизнь Блока. Когда он писал эти строки, в его квартире раздался телефонный звонок: «Сейчас мне позвонил Идельсон (сослуживец. – *П. Ф.*). Оказывается, он через день после меня *совсем* уехал из дружины, получив вызов от Муравьева, и назначен секретарем Верховной следственной комиссии. Будут заседать в Зимнем дворце. Приглашает меня, не хочу ли я быть одним из редакторов (это значит – сидеть в Зимнем дворце и быть в курсе всех дел). Подумаю».

14 апреля 1917 года он записывает:

«Мне надо заниматься *своим делом*, надо быть внутренно свободным, иметь время и средства для того, чтобы быть художником…

Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей *слабой силой*) я художник, т. е. свидетель».

Осознав свою миссию, Блок принимает предложение Идельсона. В Порохонск он уже не вернется, останется в Петрограде и с начала мая в течение нескольких месяцев изо дня в день будет непосредственно участвовать в работе Верховной следственной комиссии: о последних днях старого мира и его гибели он узнает из первых уст, увидит все собственными глазами.

Это будут месяцы колоссального духовного и душевного напряжения.

«Я „сораспинаюсь со всеми“, как кто-то у А. Белого. Действительно, очень, очень тяжело. Вчера царскосельский комендант рассказывал подробно все, что делает сейчас царская семья. И это тяжело. Вообще все правы – и кадеты правы, и Горький с „двумя душами“ прав, и в большевизме есть страшная правда. Ничего впереди не вижу, хотя оптимизм теряю не всегда. Все, все они, „старые“ и „новые“, сидят в нас самих; во мне по крайней мере. Я же – вишу, в воздухе; ни земли сейчас нет, ни неба».

Жизнь будет меняться не по дням, а по часам – в неведомую

и непостижимую сторону.

И все ближе будет подступать Поэма. Поэма – свидетельство. Поэма – приговор. Поэма – откровение.

В ней будет много документальной хроники. Стихи – цитаты. Стихи – фотографии.

Будет много публицистики и гражданского пафоса. Стихи – плакаты. Стихи – лозунги.

Много мистики и тайны. Стихи – загадки. Стихи – шифры.

И – голоса, голоса, голоса. Точно верхушки айсбергов, выхваченные из мрака ночи лучом прожектора. Ледяной архипелаг голосов. Кипящее море интонаций.

Невероятное сцепление улицы, газеты и Нострадамуса. Символа и лубка.

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом – огни, огни, огни…

Такой Поэмы Россия еще не знала. Безжалостной, бесстыдной, бескомпромиссной – во всей полноте Истины. Во всей наготе.

Трах-тах-тах! – И только эхо
Откликается в домах…
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах…

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах…

Покров повседневности расползся на отдельные лоскуты и предъявил неизбежную участь грядущего:

Впереди – Исус Христос.

«Двенадцать» – Поэма Конца Света, *предвестие* Страшного суда. Блок заглянул Ей в глаза и оцепенел, «у бездны на краю». Не отпрянул, лица не отвернул.

И смотрю, и вражду измеряю,

Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель – я знаю –
Все равно: принимаю тебя!

(1907)

Спустя короткий срок Блок умер в возрасте сорока лет.

Болезнь развилась стремительно, врачи так и не смогли поставить диагноз. «Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, в последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметно таял и угасал и, при все нарастающих явлениях сердечной слабости, тихо скончался, – писал лечащий врач А. Г. Пекелис спустя несколько дней после смерти Блока и с осторожной проницательностью добавлял: – В заключение невольно напрашивается вопрос: отчего такой роковой ход болезни? Оставляя, по понятным причинам, точный ответ об этиологии данного процесса в стороне, мне кажется, однако, возможным высказать такое предположение. Если всем нам, в частности нашему нервно-психическому аппарату, являются в переживаемое нами время особые повышенные требования, ответчиком за которые служит сердце, то нет ничего удивительного в том, что этот орган должен был стать „местом наименьшего сопротивления“ для такого вдумчивого, проникновенного наблюдателя жизни, глубоко чувствовавшего и переживавшего душой все то, чему его „свидетелем Господь поставил“, каким был покойный А. А. Блок».

* * *

Блок, обладавший великолепной памятью, никогда не читал публично Поэму – просто *не помнил* Ее. Не помнил – и не понимал. Пытался объяснить – и не мог. Он был только свидетель. Избранник Поэмы. Верный Ее рыцарь.

Рыцарь верный… Рыцарь бедный…

Павел Фокин

Личность

Облик

Евгений Павлович Иванов (1879–1942), литератор, друг А. А. Блока:

Красив и высок был Ал. Блок: под студенческим сюртуком точно латы, в лице «строгий крест». Где-то меж глаз, бровей к устам. Над лицом, отрочески безволосым – оклад кудрей пепельных с золотисто-огненным отливом, красиво вьющихся и на шее.

Владимир Пяст (Владимир Алексеевич Пестовский, 1886–1940), поэт и переводчик:

‹…› Александр Блок был хорошего среднего роста (не менее 8-ми вершков) и, стоя один в своем красивом с высоким темно-синим воротником сюртуке с очень стройной талией, благодаря прекрасной осанке и, может быть, каким-нибудь еще неуловимым чертам, вроде вьющихся «по-эллински» волос, ‹…› производил ‹…› впечатление «юного бога Аполлона».

Владимир Васильевич Гиппиус (1876–1941), поэт, критик, педагог:

У Блока было лицо рыжевато-розового тона с голубыми водянистыми глазами, прямые крупные черты лица и на не очень подвижных губах мелькала улыбка. Девичья или детская. Девушка в мужском облике – или взрослое дитя.

Иоганнес фон Гюнтер (1886–1973), немецкий поэт, драматург, переводчик, неоднократно встречавшийся со многими русскими поэтами начала XX в.:

На нем широкая черная куртка с узким белым воротником. Он еще молод, ему двадцать шесть лет, но в его облике не осталось уже ничего юношеского. Среднего роста, стройный; правда, в фигуре есть какая-то приземистость, отчего порой он кажется чуть-чуть неловким. Его каштановые волосы слегка курчавятся; безбородое лицо, даже когда он весел, выглядит до странности собранным. Говорит он медленно. Его светлые глаза можно назвать скорее печальными. Губы полные и удивительно красные. Над высоким овальным лбом – нимб своенравия и мечтательности. Движения медленные, иногда почти неуклюжие. ‹…› Так может выглядеть только поэт.

Алексей Николаевич Толстой (1883–1945), прозаик, драматург, общественный деятель:

Я увидел Блока в первый раз в 907 году. Он вошел в вестибюль театра Комиссаржевской, минуя очередь, взял в кассе билет и, подбоченясь, взглянул на зароптавшую очередь барышень и студентов. Его узнали. У него были зеленовато-серые, ясные глаза, вьющиеся волосы. Его голова напоминала античное изваяние. Он был очень красив, несколько надменен, холоден. Он носил тогда черный, застегнутый сюртук, черный галстук, черную шляпу. Это было время колдовства и тайны Снежной Маски.

Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932), поэт, литературный критик, художник:

‹…› Лицо Александра Блока выделяется своим ясным и холодным спокойствием, как мраморная греческая маска. Академически нарисованное, безукоризненное в пропорциях, с тонко очерченным лбом, с безукоризненными дугами бровей, с короткими вьющимися волосами, с влажным изгибом уст, оно напоминает строгую голову Праксителева Гермеса, в которую вправлены бледные глаза из прозрачного тусклого камня. Мраморным холодом веет от этого лица.

Георгий Петрович Блок (1888–1892), двоюродный брат поэта, писатель, литературовед, переводчик:

При первой встрече с Блоком всех поражала неподвижность его лица. Это отмечено многими мемуаристами. Лицо без мимики. Лицо, предназначенное не для живописи и не для графики, а только для ваяния. «Медальный» профиль Блока.

Он держался всегда очень прямо, никогда не горбился. Добавьте к этому спокойную медлительность движений (он не жестикулировал ни при чтении стихов, ни в разговоре), молчаливость, негромкий, ровный, надтреснутый голос и холодноватый взгляд больших светлых глаз из-под темных, чуть приспущенных век.

Таким он бывал во все времена своей жизни: и в самой первой юности, и в поздней молодости, и незадолго до смерти. Но именно только «бывал»: это была завеса или, точнее, забрало.

Михаил Васильевич Бабенчиков (1891–1957), театровед, искусствовед:

Несмотря на обычную свою неподвижность, лицо Блока обладало способностью резко и легко изменяться. Стоило только Ал. Ал. улыбнуться, как его характерный, точно застывший облик получал новое, крайне живое выражение. Холодная маска сразу исчезала, все мускулы лица приходили в движение, и обычные

до того спокойно-невозмутимые черты озарялись внутренним светом.

Мария Андреевна Бекетова (1862–1938), тетка поэта, писательница, переводчица:

Наружностью поэт походил на Блоков. Больше всего на деда Льва Александровича. На отца он был похож только сложением и общим складом лица.

Георгий Иванович Чулков (1879–1939), поэт, драматург, мемуарист:

Блок был красив. Портрет К. А. Сомова – прекрасный сам по себе как умное истолкование важного (я бы сказал «могильного») в Блоке – не передает вовсе иного, существенного – живого ритма его лица. Блок любил сравнивать свои таинственные переживания со звуками скрипок. В Блоке, в его лице, было что-то певучее, гармоническое и стройное. В нем воистину пела какая-то волшебная скрипка. Кажется, у Блока было внешнее сходство с дедом Бекетовым, но немецкое происхождение отца сказалось в чертах поэта. Было что-то германское в его красоте. Его можно было себе представить в обществе Шиллера и Гете или, может быть, Новалиса. Особенно пленительны были жесты Блока, едва заметные, сдержанные, строгие, ритмичные.

Любовь Дмитриевна Блок (урожденная Менделеева, 1881–1939), жена Блока, старшая дочь Д. И. Менделеева от второго брака (с А. И. Поповой):

«Расист» мог бы с удовольствием посмотреть на Блока: он прекрасно воплощал образ светлокудрого, голубоглазого, стройного, героического арийца. Строгость манер, их «военность», прямизна выправки, сдержанная манера одеваться и в то же время большое сознание преимуществ своего облика и какая-то приподнятая манера себя нести, себя показывать – довершали образ «зигфридоподобия».

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966), поэт. В записи Л. Я. Гинзбург:

У Блока лицо было темно-красное, как бы обветренное, красивый нос, выцветшие глаза и закинутые назад волосы, гораздо светлее лба.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей (1882–1938), друг поэта, поэт и переводчик, по образованию и основной специальности

инженер-технолог:

В кругу приятелей-поэтов, в театре, на улице был он одет как все, в пиджачный костюм или в сюртук, и лишь иногда пышный черный бант вместо галстуха заявлял о его принадлежности к художественному миру. В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней эстетической черты и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить папиросы обыкновенные.

Правда, внешнее изящество – в покрое платья, в подборе мелочей туалета – сохранил он на всю жизнь. Костюмы сидели на нем безукоризненно и шились, по-видимому, первоклассным портным. Перчатки, шляпа «от Вотье». Но, убежден, впечатление изящества усиливалось во много крат неизменной и непостижимой аккуратностью, присущей А. А. Ремесло поэта не наложило на него печати. Никогда – даже в последние трудные годы – ни пылинки на свежевыутюженном костюме, ни складки на пальто, вешаемом дома не иначе как на расправку. Ботинки во всякое время начищены; белье безукоризненной чистоты; лицо побрито, и невозможно его представить иным (иным оно предстало после болезни, в гробу).

Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965), писатель, мемуарист:

В следующий раз я его увидел году в восемнадцатом и потом неоднократно видел вплоть до двадцать первого года. Это был совершенно новый Блок. Мне казалось, что от того Блока, которого я видел в 1911 году, не осталось ни одной черты – до того он изменился. Он больше нисколько не был похож на сомовский портрет. Он весь обрюзг, лицо его стало желтым, широким, неподвижным. Держался он по-прежнему прямо, но располневшее его тело с трудом умещалось во френче, который он носил в те годы. Впрочем, я видел его и в пиджаке. Теперь он казался мне высоким только когда сидел; когда он вставал, он оказывался человеком чуть выше среднего роста, – у него было длинное туловище и короткие ноги.

Любовь Дмитриевна Блок:

Александр Александрович очень любил и ценил свою наружность, она была далеко не последняя его «радость жизни». Когда за год, приблизительно, до болезни он начал чуть-чуть сдавать, чуть поредели виски, чуть не так прям, и взгляд не так ярок, – он подходил к зеркалу с горечью и негромко, как-то словно не желая звуком утвердить совершившееся, полушутя

говорил: «Совсем уж не то, в трамвае на меня больше не смотрят…» И было это очень, очень горько.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

В последние годы, покорный стилю эпохи и физической необходимости, одевался Блок иначе. Видели его в высоких сапогах, зимою в валенках, в белом свитере. Но и тут выделялся он над толпой подчинившихся обстоятельствам собратий. Обыкновенные сапоги казались на стройных и крепких ногах ботфортами; белая вязаная куртка рождала представление о снегах Скандинавии.

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941), поэт. Из записной книжки 1920 г.:

‹…› Худое желтое деревянное лицо с запавшими щеками (резко обведены скулы), большие ледяные глаза, короткие волосы – некрасивый – (хотела бы видеть улыбку! – До страсти!) ‹…›

Лицо совершенно неподвижное, пасмурное. ‹…›

Одежда сидит мешковато, весь какой-то негнущийся – деревянный! – лучше не скажешь, уходя угрюмо кивает, поворачивается почти спиной, ни тени улыбки! – ни тени радости от приветствий.

ВСЕ – НЕХОТЯ. В народе бы сказали: убитый.

Анна Андреевна Ахматова. В записи Л. Я. Гинзбург:

В последний год жизни Блок очень постарел, но особенным образом: он ссохся, как ссыхаются вянущие розы.

Характер

Владимир Пяст:

Один умерший теперь поэт, к которому Блок относился без сочувствия и всегда утверждал, что он, Блок, его не понимает, – этот поэт, несмотря на это, всегда отмечал у Блока, как наиболее характерный его человеческий признак, – благородство; говорил, что Блок – воплощение джентльмена и, может быть, лучший человек на земле.

Мария Андреевна Бекетова:

Сын унаследовал от отца сильный темперамент, глубину чувств, некоторые стороны ума. Но характер его был иного склада: в нем преобладали светлые черты матери и деда Бекетова, совершенно несвойственные отцу: доброта, детская доверчивость, щедрость, невинный юмор.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Творческая смелость уживалась в нем с консерватизмом домашних привязанностей и вкусов; крайняя замкнутость и холодность в обращении – с откровенным и ласковым дружелюбием; бережливость – с расточительностью.

Всеволод Александрович Рождественский *(1895–1977), поэт:*

Блок жил замкнуто, в тесном окружении близких ему людей, и редко появлялся среди публики. Холодность и коррекность в обращении были ему свойственны, как и всегдашняя замкнутость. Он казался суровым и неприступным. Много прошло времени, прежде чем мне было суждено узнать его совсем другим и убедиться в том, что за внешним «угрюмством» в нем действительно скрывались начала «света» и «свободы».

Георгий Петрович Блок:

Теперь мне до очевидности ясно, что он был патологически застенчив. Это была тоже постоянная его черта, не побежденная до смерти и причинявшая ему, вероятно, много огорчений. Но она давала о себе знать только в быту и мгновенно преодолевалась, как только он вступал в исполнение каких-нибудь художественных обязанностей, будь то декламация чужих произведений, игра на сцене или чтение своих стихов. Так было у него и в детстве, когда он нескрываемо боялся людей, когда из-за этого даже хождение в гимназию было для него на первых

порах мучительно и когда тем не менее дома, на елке, нарядившись в костюм Пьеро, он без всякого стеснения показывал гостям фокусы и читал французские стихи.

Всеволод Александрович Рождественский:

Блоку вообще было в высшей степени свойственно то, что принято называть деликатностью, воспитанностью. Не помню случая, чтобы он дал понять собеседнику, что в каком-то отношении стоит выше его. И вместе с тем он никогда не поступался ни личным мнением, ни установившимся для него отношением к предмету беседы. Прямота и независимость суждений обнаруживали в нем искренность человека, не желающего ни в чем кривить душой. Он был естественным в каждом своем жесте и не боялся, что его смогут понять ложно или превратно.

Владимир Пяст:

В. А. Зоргенфрей вспоминает о ‹…› вечере у А. А. Кондратьева. На этом вечере отличался необыкновенной словоохотливостью, с уклоном в сторону «некурящих», некий Б., выпустивший книжку стихов и, кажется, готовившийся стать драматургом. Он быстро канул в Лету. От его развязности и пошлости страшно коробило некоторых из нас. Во время ужина я предложил хозяину сказать спич. Но Б. перебил меня. «Слово принадлежит старшему, чем А. А., поэту, – Пушкину!» – вскричал он и, процитировав:

Поднимем бокалы, содвинем их разом,
Да здравствуют музы, да здравствует разум! –

протянул свой бокал к А. А. Блоку.

Тот немножечко приподнял свою рюмку, чуть наклонил голову, – но чокнуться с г-ном Б. не пожелал. ‹…›

С таким достоинством выйти из затруднительного положения, так мягко осадить – поперхнувшегося после сего – «шантажиста» мог только он, – мягкий, нежный, но в некоторых отношениях всегда твердый Блок.

Андрей Белый *(Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934), писатель, поэт, виднейший деятель и теоретик русского символизма:*

«Амикошонства» А. А. не терпел; своим вежеством он отрезал от себя Репетиловых и Маниловых; им мог казаться почти равнодушным, холодным и замкнутым он.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

В каждом деле Ал. Ал. любил завершенность мастерства, тонкость художественной отделки, артистичность исполнения.

Ему претил дилетантизм. Когда Блоку не нравилась чужая работа, он говорил об этом с жестокой откровенностью, резкостью и колкостью. Тон его речи становился при этом убийственно сух.

Но зато, если чья-либо работа нравилась ему, он не скупился на похвалы, искренне радуясь чужому успеху.

Евгения Федоровна Книпович *(1898–1989), критик, литературовед:*

Аккуратный до педантизма, рыцарски вежливый, органически неспособный не выполнить даже самого незначительного обещания, бесконечно внимательный к нуждам близких и очень далеких ‹…›.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Излишне сентиментальным не был Блок в житейских и даже в дружеских отношениях и не на всякую, обращенную к нему, просьбу сочувственно отзывался. Но, приняв в ком-либо участие, был настойчив и энергичен и доброту свою проявлял в формах исключительно благородных. ‹…›

В начале 1919 года заболел я сыпным тифом и в тифу заканчивал срочную литературную работу. Узнав о болезни, А. А. прислал жене моей трогательное письмо с предложением всяческих услуг; сам в многочисленных инстанциях хлопотал о скорейшей выдаче гонорара; сам подсчитывал в рукописи строки, как сказали мне потом, чтобы не подвергнуть возможности заражения служащих редакции, и сам принес мне деньги на дом – черта самоотверженности в человеке, обычно осторожном и, в отношении болезней, мнительном.

Георгий Владимирович Иванов *(1894–1958), поэт, мемуарист, один из учредителей «Цеха поэтов»:*

Блок всегда нанимал квартиры высоко, так, чтобы из окон открывался простор. На Офицерской, 57, где он умер, было еще выше, вид на Новую Голландию еще шире и воздушней… Мебель красного дерева – «русский ампир», темный ковер, два больших книжных шкапа по стенам, друг против друга. Один с отдернутыми занавесками – набит книгами. Стекла другого плотно затянуты зеленым шелком. Потом я узнал, что в этом шкапу, вместо книг, стоят бутылки вина – «Нюи» елисеевского розлива № 22. Наверху полные, внизу опорожненные. Тут же

пробочник, несколько стаканов и полотенце. Работая, Блок время от времени подходит к этому шкапу, наливает вина, залпом выпивает стакан и опять садится за письменный стол. Через час снова подходит к шкапу. «Без этого» – не может работать.

Каждый раз Блок наливает вино в новый стакан. Сперва тщательно вытирает его полотенцем, потом смотрит на свет – нет ли пылинки. Блок, самый серафический, самый «неземной» из поэтов, – аккуратен и методичен до странности. Например, если Блок заперся в кабинете, все в доме ходят на цыпочках, трубка с телефона (помню до сих пор номер блоковского телефона – 612-00!..) снята – все это совсем не значит, что он пишет стихи или статью.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Становится до конца понятною поговорка об аккуратности – вежливости королей, когда думаешь об А. А. Не знаю случая, когда бы обращение к нему, письменное или устное, делового или личного свойства, осталось без ответа, точного и исчерпывающего. «Забывать» он не умел; но, не полагаясь на поразительную свою память, заносил в записную книжку все, что требовало исполнения. В обстановке работы соблюдал порядок совершеннейший. Помню, как удивился я, когда, весною 1921 года, говоря со мною о моих стихах, открыл А. А. ящик шкапа и достал оттуда тщательно перевязанный пакет, помеченный моей фамилией; в пакете оказались, подобранные в хронологическом порядке, все мои письма и стихи, когда-либо посылавшиеся А. А., от начала нашего знакомства. Не без чувства удовлетворения пояснил он, что такого порядка держится в отношении всех своих корреспондентов и что порядок этот сберегает много времени и труда. Наблюдал я в А. А. и высшее проявление аккуратности, когда свойство это, теряя свой целевой смысл, становится как бы стихиею человеческого духа. В 1921 году, в дни, когда денежные знаки мелкого достоинства обесценились окончательно и в буквальном смысле слова валялись под ногами, вынул он однажды, расплачиваясь, бумажник и, получив пятнадцать руб. сдачи, неторопливо уложил эту бумажку в назначенное ей отделение, рядом с еще более мелкими знаками. Труд, затраченный на эту операцию, во много крат превышал ценность денег; это знал, конечно, А. А., но, верный себе, не расценивал своего труда.

Георгий Владимирович Иванов:

Блок получает множество писем, часто от незнакомых, часто вздорные или сумасшедшие. Все равно – от кого бы ни было

письмо – Блок на него непременно ответит. Все письма перенумерованы и ждут своей очереди. Но этого мало. Каждое письмо отмечается Блоком в особой книжечке. Толстая, с золотым обрезом, переплетенная в оливковую кожу, она лежит на видном месте на его аккуратнейшем – ни пылинки – письменном столе. Листы книжки разграфлены: № письма. От кого. Когда получено. Краткое содержание ответа и дата…

Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо (у Блока все письменные принадлежности отборные) плавно движется по плотной бумаге. В до блеска протертых окнах – широкий вид. В квартире тишина. В шкапу, за зелеными занавесками, ряд бутылок, пробочник, стаканы…

– Откуда в тебе это, Саша? – спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности. – Немецкая кровь, что ли? – И передавал удивительный ответ Блока. – Немецкая кровь? Не думаю. Скорее – самозащита от хаоса.

Склад души

Александр Александрович Блок. *Из статьи «Интеллигенция и революция». 1918 г.:*

Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она – прекрасна.

Георгий Иванович Чулков:

Однажды Блок, беседуя со мной, перелистывал томик Боратынского. И вдруг неожиданно сказал: «Хотите, я отмечу мои любимые стихи Боратынского». И он стал отмечать их бумажными закладками, надписывая на них названия стихов своим прекрасным, точным почерком. Закладки эти почти истлели, и я хочу сохранить этот список любимых Блоком стихов. Вот эти три стихотворения: «Когда взойдет денница золотая…», «В дни безграничных увлечений…», «Наслаждайтесь: все проходит…». Этот выбор чрезвычайно характерен для Блока – смешение живой радости и тоски в первой пьесе, «жар восторгов несогласных», свойственных «превратному гению», и присутствие, однако, в душе поэта «прекрасных соразмерностей» – во второй, и наконец, заключительные стихи последнего стихотворения, где Боратынский утверждает, что «и веселью и печали на изменчивой земле боги праведные дали одинакие криле»: все это воистину «блоковское». ‹…›

Но Блок никогда не был способен к прочным и твердо очерченным идейным настроениям. «Геометризм», свойственный в значительной мере Вл. Соловьеву, был совершенно чужд Блоку. Поэт любил не самого Соловьева, а миф о нем, а если и любил его самого, то в некоторых его стихах, и даже в его письмах, и даже в его каламбурах и шутливой пьесе «Белая лилия». Едва ли Блок удосужился когда-либо прочесть до конца «Оправдание добра». Блок не хотел и теократии: ему надобен был мятеж. Но чем мятежнее и мучительнее была внутренняя жизнь Блока, тем настойчивее старался он устроить свой дом уютно и благообразно. У Блока было две жизни – бытовая, домашняя, тихая и другая – безбытная, уличная, хмельная. В доме у Блока был порядок, размеренность и внешнее благополучие. Правда, благополучия подлинного и здесь не было, но он дорожил его видимостью. Под маскою корректности и педантизма таился страшный незнакомец – хаос.

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Шахматово, 15–17 августа 1907 г.:*

Вы хотели и хотите знать мою моральную, философскую, религиозную физиономию. Я не умею, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторых из этих событий и переживаний не знает никто на свете, и я не хотел и не хочу сообщать их и Вам. ‹…› Зовите это «скрытностью», если хотите, но таков я был и есть. Я готов сказать Вам теперь, и письменно и устно, хотя бы так: моральная сторона моей души не принимает уклонов современной эротики, я не хочу душной атмосферы, которую создает эротика, хочу вольного воздуха и простора; «философского credo» я не имею, ибо не образован философски; в бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в бога – иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли. Но, уверяю Вас, эти сообщения ничего не прибавят к моей физиономии. Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я – очень верю в себя, что ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность и уменье быть человеком – вольным, независимым и честным. Но ведь и это не дает Вам моего облика, и я боюсь, что Вы никогда не узнаете меня. Вы знаете, что, говоря все это, я не хвастаюсь и не унижаюсь, что это не признания, не выкрики, не фразы, не «гам». Все это я пережил и ношу в себе – свои психологические свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному, как свою благородную душу.

И вот одно из моих психологических свойств: *я предпочитаю людей идеям.* Может быть, это значит: я предпочитаю *бессознательных людей, но пусть и так.* ‹…› Из этого предпочтения вытекает моя боязнь «обидеть человека». Да, я согласен с Вами глубоко: каждый порознь – милый, но десять этих милых – *нестерпимая* теплая компания. И я отмахиваюсь от этих десяти, производящих «гам», молчу, *«попускаю».* ‹…›

Драма моего миросозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я – *лирик.* Быть лириком – жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь – и ничего не останется. Веселье и жуть – сонное покрывало. *Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала,* не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет *только моя душа,* – *я не написал бы ни* одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение. ‹…›

Душа моя – часовой несменяемый, она сторожит свое и не покидает поста. По ночам же – сомнения и страхи находят и на часового.

Зинаида Николаевна Гиппиус *(1869–1945), поэт, литературный критик, инициатор общения символистов в доме Мережковских:*

Своеобразность Блока мешает определять его обычными словами. Сказать, что он был умен, так же неверно, как вопиюще неверно сказать, что он был глуп. Не эрудит – он любил книгу и был очень серьезно образован. Не метафизик, не философ – он очень любил историю, умел ее изучать, иногда предавался ей со страстью. Но, повторяю, все в нем было своеобразно, угловато, – и неожиданно. Вопросы общественные стояли тогда особенно остро. Был ли он вне их? Конечно, его считали аполитичным и – готовы были все простить ему «за поэзию». Но он, находясь вне многих интеллигентских группировок, имел, однако, свои собственные мнения. Неопределенные в общем, резкие в частностях.

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Петербург, 24 марта 1907 г.:*

Издевательство искони чуждо мне, и это я знаю так же твердо, как то, что сознательно иду по своему пути, мне предназначенному, и должен идти по нему неуклонно.

Я убежден, что и у лирика, подверженного случайностям, может и должно быть сознание ответственности и серьезности, – это сознание есть и у меня, наряду с «подделкой под *детское* или просто *идиотское»* – слова, которые я принимаю по отношению к себе целиком.

Творчество

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тетке. Все это были – лирические стихи, и ко времени выхода первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800, не считая отроческих. В книгу из них вошло лишь около 100.

Александр Александрович Блок. *Из записной книжки 1906 г.:*

Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдаленнее эти слова от текста. В самом темном стихотворении не блещут эти отдельные слова, оно питается не ими, а темной музыкой пропитано и пресыщено. Хорошо писать и звездные и беззвездные стихи, где только могут вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

У него было весьма возвышенное представление о литературном труде, как о высочайшей форме человеческой деятельности.

От писателя он требовал профессионального мастерства, постоянного совершенствования и строгого подчинения законам гармонии и красоты.

Он искал слов, «облеченных в невидимую броню», речи сжатой, почти поговорочной и «внутренне напоенной горячим жаром жизни», такой, чтобы каждая фраза могла быть «брошена в народ».

Ал. Ал. любил основательно вынашивать свои литературные произведения, иногда выдерживая их годами. Сам Блок называл это «задумчивым» письмом. Лично же у меня сложилось впечатление, что творческий процесс протекал у Блока не столько за рабочим столом, сколько в часы отдыха – чтения, бесед, прогулок.

Ал. Ал. придавал большое «производственное» значение чтению и, как это ни странно, снам, содержание которых он часто запоминал и потом рассказывал близким.

У Ал. Ал. сохранялись многочисленные черновики, к которым он время от времени возвращался, но которых никогда не пускал в ход, если не считал их вполне доработанными.

Писал Ал. Ал. стихи чаще всего на небольших, квадратной формы, листах плотной бумаги, оставляя всегда кругом текста широкое поле.

Рукописи Блока, многократно переписанные набело, поражали своей исключительной чистотой и хранились им в образцовом порядке.

Свои ранние произведения Блок подвергал жесточайшей критике и отзывался более или менее снисходительно лишь о том, что вошло в третью книгу его стихов.

Сергей Митрофанович Городецкий *(1884–1967), поэт, беллетрист, переводчик:*

‹…› И статьи, и пьесы, и поэма давались Блоку с большим трудом. Работать он умел и любил. Знал высшее счастье свободного и совершенного творчества. «Снежная маска», «Двенадцать» и многие циклы писал он в одну ночь. Но на пьесы и поэму он тратил огромные силы.

Евгения Федоровна Книпович:

Я помню вечер зимой или ранней весной (1919 г. – Сост.). Александр Александрович сидел у стола под лампой. Я – далеко от него, кажется, на диване, с ногами.

Он был очень напряженный и вместе с тем бережный.

Какой-то внешний разговор – о Разумнике, об Есенине, о «Скифах» – как-то не клеился. Александр Александрович рассеянно шутил, я так же рассеянно смеялась.

Он замолчал, потом вдруг заговорил каким-то совсем другим голосом – глубоким и тихим.

– Все мы ищем потерянный золотой меч. И слышим звук рога из тумана… – улыбнулся. – Я вам хочу о себе…

Я ведь только одно написал настоящее. Первый том. Но не весь. Девятьсот первый, девятьсот второй год. Это только и есть настоящее. Никто не поймет. Да я и сам не понимаю. Если понимаешь – это уже искусство. А художник всегда отступник. И потом влюбленность. Я люблю на себя смотреть с исторической точки зрения. Вот я не человек, а эпоха. И влюбленность моя слабее, чем в сороковых годах, сильнее, чем в двадцатых. ‹…›

Мы заговорили об его цветах.

Зеленый для него не существовал совсем. Желтый он ощущал мучительно, но неглубоко. Желтый цвет для него не играл важной роли в мирах искусства, он был как бы фоном, но *здесь* он проявлялся в периоды обмеления души, «пьянства, бреда и общественности» (слова Александра Александровича), клубился желтым туманом, растекался ржавым болотом или в «напряжении

бреда» (слова Александра Александровича) горел желтым закатом.

О соотношении заревой ясности, пурпура и сине-лилового сумрака есть в статье о символизме. ‹…›

В 1911–1912 годах в душе, затопленной мировым сумраком, загорелся новый цвет. По определению Александра Александровича, он непосредственно заменил заревую ясность, так как мировой сумрак был вторжением извне. Этот цвет Александр Александрович звал «пурпурово-серым» и «зимним рассветом» ‹…›.

Павел Иванович Лебедев-Полянский *(1881–1948), критик, литературовед, общественный деятель:*

Вопрос, который вызвал длинные рассуждения, был вопрос о новой орфографии. Соответствующий декрет вошел уже в силу, но его не всегда можно было применять особенно при перепечатке поэтических произведений. В отдельных случаях это может разрушить рифму и расстроить музыку стиха.

Большинство присутствовавших (на заседании. – *Сост.*) принципиально признало, что в целях педагогических и других надо перепечатывать классиков по новой орфографии, за исключением отдельных случаев, искажающих текст. Блок занял особую позицию в защиту буквы «h» и даже «ъ».

– Я понимаю и ценю реформу с педагогической стороны, – говорил он. – Но здесь идет вопрос о поэзии. В ней нельзя менять орфографии. Когда поэт пишет, он живет не только музыкой, но и рисунком. Когда я мыслю «лес», соответствующее слово встает пред моим воображением написанным через «h». Я мыслю и чувствую по старой орфографии; возможно, что многие из нас сумеют перестроиться, но мы не должны искажать душу умерших. Пусть будут они неприкосновенны.

Я сидел рядом и задал вопрос:

– Но ведь вы, наверное, пишете без «ъ».

– Пишу без него, но мыслю всегда с ним. А главное, я говорю не о себе, не о нас, живущих, а об умерших, – их души нельзя тревожить!

Так он и остался при своей точке зрения.

Странной и непонятной загадкой казался мне этот взгляд. Ценить реформу и не допускать «лес» печатать у старых классиков через «е». Устремление вперед с «душой революции», и вдруг защита «h» и «ъ».

И говорил он об этом много и страстно. Во время заседания и после него он отыскивал новые аргументы в свою пользу.

Анна Андреевна Ахматова:

В тот единственный раз, когда я была у Блока, я между прочим упомянула ему, что поэт Бенедикт Лифшиц (Лившиц. – Сост.) жалуется на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой».

Особенности поведения

Георгий Петрович Блок:

Основная особенность его поведения состояла в том, что он был совершенно одинаково учтив со всеми, не делая скидок и надбавок ни на возраст партнера, ни на умственный его уровень, ни на социальный ранг.

Георгий Иванович Чулков:

Он был вежлив, как рыцарь, и всегда и со всеми ровен. Он всегда оставался самим собою – в светском салоне, в кружке поэтов или где-нибудь в шантане, в обществе эстрадных актрис. Но в глазах Блока, таких светлых и как будто красивых, было что-то неживое ‹…›. Поэту как будто сопутствовал ангел или демон смерти. В этом демоне, как и в Таинственной Возлюбленной поэта, были

Великий свет и злая тьма…

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

В кругу тех, кого он называл друзьями, был он признан и почтительно вознесен; но ни с кем не переходя на короткую ногу, не впадая в сколько-нибудь фамильярный тон, оставался неизменно скромен и прост и ко всем благожелателен. Деликатный и внимательный, одаренный к тому же поразительной памятью, никогда не забывал он, однажды узнав, имени и отчества даже случайных знакомых, выгодно отличаясь этим от рассеянных маэстро, имя которым легион.

Андрей Белый:

А. А. в разговоре не двигался: он сидел в «сюртуке», облекавшем его очень прямо, почти не касаясь спиной спинки кресла: он мог показаться порой деревянным: одежда на теле его не слагала морщин: сохранял свою статность и выправку: мало он двигал руками: не двигал ногами, лишь изредка наклоняя, иль отклоняя кудрявую рыжеватую голову, опираясь локтями на ручки удобного кресла: менял положение ног, положивши одна на другую, качаясь носком: ‹…› А. А. собирал свои жесты в себе: иногда лишь, взволнованный разговором, вставал он, топтался на месте: и медленными шагами прохаживался по комнате, подходя к собеседнику, чуть не вплотную: открывши глаза на него, голубые свои фонари, начинал он делиться

признаньем, отщелкивал свой портсигар и без слов предлагал папиросу; все его жесты дрожали врожденной любезностью к собеседнику: если стояли перед ним, а А. А. сидел в кресле, он тотчас вставал и выслушивал все с чуть-чуть наклоненным лицом, улыбаясь в носки: или, когда собеседник садился, садился он тоже.

Владимир Васильевич Гиппиус:

Произношение словно бы женственное, или пришепетывающее, но голос грудной – глубокий, и главное – без излишней аффектации. Да и что значит излишняя – когда – в 21–22 года у человека в голосе нет ни признака аффектации.

Молчаливый собеседник

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Петербург, 20 ноября 1903 г.:*

«Ненужные и посторонние слова» собственные так и лезут на меня со всех сторон, когда я пытаюсь говорить с понимающими или не понимающими людьми. Потому, кажется, все меня знающие могут свидетельствовать о моем молчании, похожем на похоронное. Молчу и в тех случаях, когда надо говорить. Чувствую себя виноватым, и все-таки молчу по странному чувству давнишней известности моих возможных слов для тех людей, с которыми в данную минуту нахожусь в общении. И удивительно, что выходит действительно похоронно как будто, – хотя у меня внутри редкая ясность, не всегда бывающая и в одиночестве или в присутствии самых близких. Разговоры самые нужные приходят только тогда, когда я внутренно кричу от восторга или страха. Состояние же молчания стало настолько привычным, что я уже не придаю ему цены.

Зинаида Николаевна Гиппиус:

Никакие мои разговоры с Блоком невозможно передать. Надо знать Блока, чтобы это стало понятно. Он, во-первых, всегда будучи с вами, еще был где-то, – я думаю, что лишь очень невнимательные люди могли этого не замечать. А во-вторых, – каждое из его медленных, скупых слов казалось таким тяжелым, так оно было чем-то перегружено, что слово легкое, или даже много легких слов, не годились в ответ.

Можно было, конечно, говорить «мимо» друг друга, в двух разных линиях. Многие, при мне, так и говорили с Блоком, – даже о «возвышенных» вещах. Но у меня, при самом простом разговоре, невольно являлся особый язык: *между* словами и *около* них лежало гораздо больше, чем в самом слове и его прямом значении. Главное, важное, никогда не говорилось. Считалось, что оно – «несказанно».

Сознаюсь, иногда это «несказанное» (любимое слово Блока) меня раздражало. Являлось почти грубое желание все перевернуть, прорвать туманные покровы, привести к прямым и ясным линиям, впасть чуть не в геометрию. Притянуть «несказанное» за уши и поставить его на землю. В таком восстании была своя правда, но… не для Блока. Не для того раннего Блока, о котором говорю сейчас.

Александр Авельевич Мгебров *(1884–1966), драматический*

артист в театре В. Ф. Комиссаржевской и труппе В. Э. Мейерхольда:

Блок был вообще большим, если можно так выразиться, тугодумом, разумеется, в глубоком значении этого слова; мысль медленно работала в нем оттого, что родилась из самой глубины его существа, и вот отсюда – вся его напряженность и медлительность слов, как будто каждое слово, когда он говорил, тяжелыми каплями падало с его уст.

Георгий Петрович Блок:

Немыслимо передать характер его речи – изысканной, стенографически сжатой, сплошь условной, все время ищущей как будто созвучия с тем, что он называл «единым музыкальным напором» явлений. Мне, знавшему его отца, было ясно, что мучительство, которому подвергал себя тот в своем беспримерном одиночестве, когда, сгорая, душил язык своей диссертации, что это мучительство с ним не умерло. Оно продолжало жечь и сына и обжигало тех, кто хоть ненадолго – как я – к нему прикасался.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Блок говорил обычно короткими, отрывистыми фразами. Он любил «выпытывать» чужие мнения, задавая неожиданные «вопросы-молнии». Создавалось впечатление, будто он что-то усиленно продумывает и, не будучи уверен в своих выводах, хочет выведать мнение собеседника.

Подобные испытующие разговоры с заторможенным ритмом Блок способен был вести часами. Они утомляли, вероятно, и его, что же касается меня, то даже сейчас, спустя много лет, я вспоминаю о них с тяжелым чувством. И тем не менее меня всегда упорно тянуло «перебрасываться думами» с Блоком. Эту каменистую и сухую землю едва брала кирка, но под ее пластами мерцали слитки чистого золота.

Голос Блока был глухой и матовый, речь тягучая, часто с длительными перерывами. Казалось, что он всматривается в каждое слово, прежде чем произнести его, и с усилием подыскивает нужные выражения.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Молчаливый в общем, ни на секунду не уходил в обществе в себя и не впадал в задумчивость. Принимая, наряду с другими, участие в беседе, избегал споров; в каждый момент готов был разделить общее веселье. ‹…›

Остроумие, как таковое, как одно из качеств, украшающих

обыденного человека, вовсе не свойственно было А. А. и, проявляемое другими, не располагало его в свою пользу. Есть, очевидно, уровень душевной высоты, начиная от которого обычные человеческие добродетели перестают быть добродетелями. Недаром в демонологии Блока столь устрашающую роль играют «испытанные остряки»: их томительный облик, наряду с другими гнетущими явлениями, предваряет пришествие Незнакомки в стихах и в пьесе того же имени. Представить себе Блока острословящим столь же трудно, как и громко смеющимся. Припоминаю – смеющимся я никогда не видел А. А., как не видел его унылым, душевно опустившимся, рассеянным, напевающим что-либо или насвистывающим. Улыбка заменяла ему смех. В соответствии с душевным состоянием переходила она от блаженно-созерцательной к внимательно-нежной, мягко-участливой; отражая надвигающуюся боль, становилась горестно-строгой, гневной, мученически-гордой. Те же, не поддающиеся внешнему, мимическому и звуковому определению, переходы присущи были и его взору, всегда пристальному и открытому, и голосу, напряженному и страстному.

Георгий Петрович Блок:

Лавры занимательного рассказчика и остроумного собеседника никогда не прельщали Блока. Он был очень далек, принципиально далек от стремления овладевать разговором. Человек, стяжавший положение «души общества», вызывал в Блоке не зависть, а обратное чувство, не лишенное брезгливости. Но в юморе Блок знал толк, и временами, словно против воли, ронял убийственно жестокие эпиграммы. Не могу забыть, как он сказал мне однажды про некоего весьма популярного писателя: «А я все-таки продолжаю любить его, несмотря на то, что давно с ним знаком».

Декламатор

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух *(1884–1970), двоюродный брат А. А. Блока, сын его тетки Софьи Андреевны:*

Саша с детских лет увлекался декламацией. Он нисколько не стеснялся посторонних и никогда не заставлял себя упрашивать. С удовольствием декламировал шекспировские монологи Отелло, Гамлета, Юлия Цезаря, читал Апухтина («Сумасшедший»), даже в том случае, если среди присутствовавших некоторые находили это «несколько смешным».

Владимир Пяст:

Мало кто помнит теперь (да и я этого времени сам «не застал»), что известности Блока (в передовых артистических кругах) как поэта предшествовала его известность как декламатора.

Не раз мне рассказывали, и разные люди, что вот в гостиной появляется молодой красивый студент (в сюртуке непременно, «тужурок» он не носил). «Саша Блок» – передавали друг другу имя пришедшего в отдаленных углах. «Он будет говорить стихи».

И если Блока об этом просили, он декламировал с охотой. Коронными его вещами были «Сумасшедший» Апухтина или менее известное одноименное стихотворение Полонского.

Софья Николаевна Тутолмина *(урожденная Качалова, 1880–1987), двоюродная сестра А. А. Блока по отцовской линии:*

В одну из суббот Саша выступал у нас как декламатор – прочел «Сумасшедшего» Апухтина, и с таким мастерством, что мы все были поражены.

> Ножки ее целовал,
> Бледные ножки, худые, –

эти слова он произносил почти со слезами: губы у него дрожали при совершенно неподвижном лице. Это выступление сразу подняло его во мнении всего общества: мы увидели в нем художника, который был выше нас всех. ‹…›

В следующем году (1899 г. – *Сост.*) Саша явился осенью совсем какой-то другой – увлеченный Шекспиром и летними спектаклями на даче у Менделеевых. Он охотно читал нам монологи. Особенно хорошо выходил у него монолог Отелло ‹…›:

Она меня за муки полюбила,
А я ее за состраданье к ним…

Эти слова он произносил превосходно: очень тихо, как будто монотонно, но с большим внутренним напряжением.

Вижу его сейчас, как живого, в нашей гостиной, окруженного притихшей толпой влюбленной в него молодежи. Он стоит, взявшись руками за спинку стула. Голова поднята. Ореховые глаза полузакрыты. Красивый рот выговаривает слова как бы с усилием, сквозь зубы, и подбородок выдается при этом немного вперед.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Охарактеризовать чтение Блока так же трудно, как описать его наружность. Простота – отличительное свойство этого чтения. Простота – в полном отсутствии каких бы то ни было жестов, игры лица, повышений и понижений тона. И простота – как явственный, звуковой итог бесконечно сложной, бездонно глубокой жизни, тут же, в процессе чтения стихов, созидаемой и утверждающейся. Ни декламации, ни поэтичности, ни ударного пафоса отдельных слов и движений. Ничего условно-актерского, эстрадного. Каждое слово, каждый звук окрашены только изнутри, из глубины наново переживающей души. В тесном дружеском кругу, в случайном собрании поэтов, с эстрады концертного зала читал Блок одинаково, просто и внятно обращаясь к каждому из слушателей – и всех очаровывая.

Максимилиан Александрович Волошин:

Сам он читает свои стихи неторопливо, размеренно, ясно, своим ровным, матовым голосом. Его декламация развертывается строгая, спокойная, как ряд гипсовых барельефов. Все оттенено, построено точно, но нет ни одной краски, как и в его мраморном лице. Намеренная тусклость и равнодушие покрывают его чтение, скрывая, быть может, слишком интимный трепет, вложенный в стихи. Эта гипсовая барельефность придает особый вес и скромность его чтению.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Читал Ал. Ал. монотонно, чуть в нос, тем же тягучим, даже несколько унылым голосом, растягивая слова, точно с трудом отрывая один слог от другого:

Гре-шить бес-стыдно, непро-будно,
Счет по-те-рять но-чам и дням…

Но в этой манере чтения было что-то настолько властно впечатляющее, что звуки его голоса живы в моей памяти до сих пор.

Владимир Пяст:

Тембр его голоса вообще был глухой. Но когда у него «кости лязгали о кости», то сколько-нибудь чуткое ухо слышало костяной звук, исходивший из его уст; а когда

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели, –

то слышали мы и металл, и скрип, и гармонику…

Павел Григорьевич Антокольский *(1896–1978), поэт, драматург, актер Студии Е. Б. Вахтангова:*

Александр Блок вышел незаметно. Момент его появления на эстраде был неуловим. Его встретила овация, первая за весь вечер. Он был затянут в черный сюртук, строен, тверд, спокоен. На овацию он никакого внимания не обратил и начал читать…

С первых же строк стало ясно, что речь идет не о шуточном. Даже ритма он не подчеркивал, скорее наоборот – убивал ритм вялым прозаизмом интонации. Чуть запинаясь, он докладывал слова и фразы в том порядке, в котором они почему-то кем-то напечатаны. Как будто и слова чужие для него, не им сочинены. А между тем аудитория слушала затаив дыхание, настороженная, еще до того, как он начал, прочно с ним связанная, во всяком случае загипнотизированная звуком его негибкого, тусклого, ровного голоса. Так велико было обаяние этого высокого, прямого человека с бледным лицом и шапкой золотых волос. Казалось, он отталкивает от себя собственную силу, считает ее чем-то ненужным, давно пережитым и исчерпанным, а она, эта сила, снова и снова дает о себе знать. Он читал многое: и «Перед судом», и «Утреет. С Богом! по домам!», и «Унижение». Из зала кричали: «Незнакомку»!», но она и не вздумала появиться. Кончал он то или другое стихотворение, и аплодисменты вырастали плотной стеной, на короткий отрезок времени вырывая слушателей из недоуменного оцепенения.

Марина Ивановна Цветаева. *Из записной книжки 1920 г.:*

Блок: грассирует, неясное ш ‹…›.

Деревянный, глуховатый голос. Говорит просто – внутренне – немножко отрывисто.

Николай Корнеевич Чуковский:

Помню, как он читал «Что же ты потупилась в смущеньи» в так называемом Доме искусств (Мойка, 59). Было это несколько позже – в двадцатом году или в самом начале двадцать первого. Он стоял на невысокой эстраде, где не было ни стола, ни кафедры, весь открытый публике и, кажется, смущенный этим. Зал был купеческий, пышный, с лепниной на белых стенах, с канделябрами в два человеческих роста, с голыми амурами на плафоне. Блок читал хрипловато, глухим голосом, медленно и затрудненно, переступая с ноги на ногу. Он как будто с трудом находил слова и перебирал ногами, когда нужное слово не попадалось. От этого получалось впечатление, что мучительные эти стихи создавались вот здесь, при всех, на эстраде.

Владимир Пяст:

«Гладкое место» – слышал я такое выражение про блоковскую манеру чтения, представьте себе, от поэта. А вот одна моя знакомая актриса ходила на вечера Блока со специальною целью благоговейно учиться исключительно манере чтения Блока, находя ее не только безупречной, но потрясающей. Другой мой знакомый, актер, выражался иначе: в чтении Блока – изумительное мастерство, но отнюдь не такое, как у артиста, потому что в нем что-то свое, не чувствуется никакой школы… Я на это возразил, что ведь был же «первый портной», у которого учились следующие, а самому ему учиться не у кого было.

Классическая простота и экономия в пользовании голосовыми средствами при произнесении стиха – вот что делало манеру чтения Блока в глазах людей, привыкших к эстетике контрастов, похожею на «гладкое место».

Увлечения, пристрастия, привычки

Михаил Васильевич Бабенчиков:

В ранние годы Ал. Ал. пережил ряд сильных увлечений: сперва театром, затем французской борьбой, авиацией… Порой это захватывало его целиком, и было странно видеть, как этот уравновешенный человек, с такой, казалось бы, «холодной кровью», слушает, забыв все на свете, какого-нибудь куплетиста Савоярова или любуется борцом Ван-Рилем.

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух:

Страсть к театру проявилась у Блока очень рано и усердно культивировалась его матерью. Бесконечны были разговоры об «Александринке», восторги перед Савиной и Комиссаржевской, резкие порицания других артистов. Суждения высказывались строгие и безапелляционные. Признавалась только русская драма, но посещались и спектакли иностранных гастролеров: Сальвини, Тины ди-Лоренцо и др.; о них бывало много разговоров и толков. ‹…›

Еще позднее, в Петербурге, пришлось видеть Сашу на сцене какого-то любительского театра, кажется, в Зале Павловой. Роль совершенно ему не подходила. Он изображал молодящегося старичка, и выходило это у него довольно плохо. Да и пьеса была изрядно пошла и скучна.

К драматическому искусству Саша был мало способен, но отличался большой наблюдательностью и уменьем комически передразнивать разных известных лиц, а также родных и знакомых.

Так, изображал он артистов Аполлонского, Юрьева, Далматова, Бравича, Дальского, поэтов В. Я. Брюсова, З. Н. Гиппиус и др.

Самуил Миронович Алянский *(1891–1974), основатель издательств «Алконост», где печатался А. А. Блок:*

С юных лет Александр Александрович Блок любил совершать дальние прогулки пешком в одиночестве. Он долгие часы бродил по окрестностям Петербурга – в Шувалове, Озерках и Парголове.

Отправляясь на такую прогулку, Александр Александрович всегда предупреждал об этом мать, чтобы она не беспокоилась, если он задержится. Впрочем, так поступал он всегда, во всех случаях, даже когда уходил на Моховую улицу во «Всемирную литературу», если опасался, что может запоздать.

Такой порядок, как рассказывала мать, установился очень

давно, еще с гимназических лет Сашеньки.

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух:

Саша не любил общих прогулок. Охотно гулял лишь с дедушкой Бекетовым. Это стремление к уединению росло с годами. Позднее он совершал далекие прогулки вдвоем с женой. Собаки всегда его сопровождали.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Петроградская сторона была ‹…› излюбленным местом прогулок Блока. Часто встречал я его в саду Народного дома; на широкой утоптанной площадке, в толпе, видится мне его крупная фигура, с крепкими плечами, с откинутой головой, с рукою, заложенной из-под отстегнутого летнего пальто в карман пиджака. Ясно улыбаясь, смотрит он мне в глаза и передает какое-либо последнее впечатление – что-нибудь из виденного тут же, в саду. Ходим между «аттракционами»; А. А. прислушивается к разговорам. «А вы можете заговорить на улице, в толпе, с незнакомыми, с соседями по очереди?» – спросил он меня однажды и не без гордости добавил, что ему это в последнее время удается.

Владимир Пяст:

Заведя речь о поездках, припоминаю много разных. Зимнюю этого года в Юкки, в тамошний ресторан, – поездку, которая имела для Блока своего рода роковое значение. Дело в том, что там, впервые в жизни, он вкусил сладость замирания сердца при спуске с гор. В ту зиму там были устроены великолепно расчищенные снеговые скаты через лес прямо на середину озера. Мальчишки с санками вертелись на гребне горы («Русская Швейцария»), предлагая свои услуги. Мы уселись и скатились благополучно раз. Блок захотел сейчас же другой. А потом так пристрастился к этому «сильному ощущению», что с открытием «американских гор» в «Луна-Парке» сделался их постоянным страстным посетителем. Ездил туда и один, и с подружившимся с ним вскоре М. И. Терещенко (издателем «Сирин», а впоследствии министром финансов). В одно лето, за первую половину его, Блок спустился с гор, по собственному подсчету, восемьдесят раз. ‹…›

Раз летом были мы, вместе с жившим там Евг. П. Ивановым, в Петергофе. Это была специальная прогулка на велосипедах. Мой носил название «Аплодисмент», Блока – назывался просто: «Васька».

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух:

Саша не чуждался физической работы, а временами даже увлекался ею. Рубил кусты, пилил деревья, расчищая заросли в саду, к ужасу бабушки, не любившей «чрезмерную», по ее мнению, культурность садовой природы и считавшей, что надо оставить все, как было раньше и как само растет. Саша собственноручно с одним из нас свел небольшую, но очень хорошую березовую рощицу под садом. Взрослые приходили в ужас от такого вандализма, но впоследствии сами были очень ему рады, так как благодаря этому открылся далекий и широкий вид с балкона и из дома ‹…›.

Андрей Белый:

Однажды А. А. меня взял и повел к деревянному домику, где проживал; показал огородик, окопанный четко глубокой канавой; взяв в руки лопату, сказал:

– Знаешь ли, Боря, – я эту канаву копал: тут весною работал… Я каждой весною работаю. Так хорошо…

Евгения Федоровна Книпович:

Он с огромным уважением относился ко всем видам и формам труда. Он говаривал, что «работа везде одна – что печку сложить, что стихи написать». Ладный, высокий, неутомимый ходок, он спокойно и естественно – без интеллигентского кокетства – орудовал молотком и пилой, топором и лопатой. ‹…› Всякую физическую работу он делал так, как делает ее русский человек – «золотые руки».

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух:

Саша необычайно хорошо относился к животным. Особенно любил он собак, и они его любили. Ирландский сеттер Марс, погибший от чумы в Шахматове, был одним из его любимцев. Позднее он постоянно возился и гулял с таксой своей матери Крабом.

У дедушки была такса Пик. Умная и веселая собака горячо любила своего хозяина. После смерти дедушки Пик сделался угрюмым. Он привязался к Саше и охотно всегда гулял с ним. Когда Пик издыхал от сердечного припадка, лежа на полу в гостиной, при этом присутствовали все шахматовские обитатели, в том числе и Саша. Пик взглянул на Сашу, завилял хвостом и опрокинулся на бок.

Жилище

1880–1883. Санкт-Петербург. Университетская набережная, 9. Ректорский флигель Санкт-Петербургского Императорского университета

Мария Андреевна Бекетова:

Осенью мы переселились на новую квартиру на набережной Невы, в ректорский дом, который весь отдавался в распоряжение ректора. В нижнем этаже помещались столовая и комнаты родителей. Тут же в особой комнате жила на покое старая няня. В верхнем этаже – мы, сестры и наша бабушка Александра Николаевна Карелина. Тут же была гостиная и белая зала с большим камином и окнами на Неву; здесь стоял рояль. Обстановка была скромная.

Анна Ивановна Менделеева *(Попова, 1860–1942), вторая жена Д. И. Менделеева, теща А. А. Блока:*

Огромное здание университета, выходящее узким боком к набережной Невы и длинным фасадом на площадь против Академии наук, вмещало не только аудитории, лаборатории, актовый зал и церковь, но и квартиры профессоров и служителей с их семьями. Во дворе, налево от ворот, дом с квартирой ректора, дальше огромное мрачное здание странной неправильной формы, построенное еще шведами, служившее при Бироне для «Jeux de pommes»[1]; дальше сад. Справа длинный, длинный сводчатый коридор главного здания. В будни коридор кипел жизнью. Непрерывно мелькали фигуры студентов, старых и молодых профессоров, деловито-степенных служителей; тут свой мир. В праздник все погружалось в тишину. В церковь посторонние входили с главного подъезда – с площади; со двора – только свои, жившие в университете.

Мария Андреевна Бекетова:

Жил Саша в то время в верхнем этаже ректорского дома. Детская его помещалась в той самой комнате, выходившей окнами на университетский двор (в части дома, более отдаленной от улицы), где он родился[2]. Здесь он спал и кушал, но играл далеко не всегда. Пока няня убирала его комнату, он проводил время то у прабабушки А. Н. Карелиной[3], комната которой была за стеной его детской, то у тети Кати, нашей старшей сестры, которая особенно его любила.

1889–1906. Санкт-Петербург. Петербургская набережная, 44. Квартира Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттуха в офицерских казармах лейб-гвардии Гренадерского полка

Сергей Митрофанович Городецкий:

Он жил тогда в Семеновских казармах на Невке, и весь второй цикл стихов о Прекрасной Даме, где дается антитеза первому облику Девы, тесно связан с этой фабричной окраиной. Огромная казарма на берегу реки со всех сторон окружена фабриками и жилищами рабочих. Деревянный мост – не тот ли самый, на котором стояла Незнакомка, – дает вид в одну сторону на блестящий город, в другую – на фабрики. По казенным лестницам и коридорам я пробегал к высокой казенной двери, за которой открывалась квартира полковника Кублицкого-Пиоттух, мужа Александры Андреевны, матери Блока, и в этой квартире – две незабвенных комнаты, где жил Блок.

Я их помню наизусть.

Первая – длинная, узкая, со старинным диваном, на котором отдыхал когда-то Достоевский, белая, с высоким окном; аккуратный письменный стол, низкая полка с книгами, на ней всегда гиацинт. На стене большая голова Исадоры Дункан, Монна Лиза и Мадонна Нестерова. Ощущение чистоты и молитвенности, как в церкви. Так нигде ни у кого не было, как в этой первой комнате Блока. Вторую я не любил – большая, с мягкой мебелью, обыкновенная.

Мария Андреевна Бекетова:

Комнаты Блока в квартире отчима составляли как бы отдельную квартиру: расположены они были в стороне, и попадать туда можно было только из передней. Большая спальня, окнами на набережную, а прямо из передней – маленький кабинет, выходивший окном в светлый казарменный коридор. Нижние стекла окна заклеили восковой бумагой с изображениями рыцаря и дамы в красках. Получалось впечатление яркой живописи на стекле. Мебель в кабинете старая, вся бекетовская. Письменный стол – бабушкин, служивший поэту и впоследствии, во всю его остальную жизнь. Дедовский диван, мягкие кресла и стулья, книжный шкаф. На полу – восточный ковер.

Сентябрь 1906 – осень 1907. Санкт-Петербург. Лахтинская улица, 3, кв. 44

Мария Андреевна Бекетова:

Квартира – «демократическая» найдена была на Лахтинской улице, в четвертом этаже. В трех небольших комнатах Блоки устроились уютно. Вещей у них было немного, средства были крайне скудные, но вся атмосфера их жилья дышала обычной милой своеобразностью.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

В том году Блок переехал с квартиры в Гренадерских казармах на другую – кажется, Лахтинская, 3. Там побывал я у него впервые. Помню большую, слабо освещенную настольною электрическою лампой комнату. Множество книг на полках и по стенам, и за ширмой невидная кровать. На книжном шкафу, почти во мраке – фантастическая, с длинным клювом птица. Образ Спасителя в углу – тот, что и всегда, до конца дней, был с Блоком. Тишина, какое-то тонкое, неуловимое в простоте источников изящество.

Александр Александрович Блок. *Из письма А. В. Гиппиусу. Петербург, 20 января 1907 г.:*

Жизнью теперь у меня называется что-то очень кошмарное, без отдыха радостное или так же без отдыха тоскливое, – а все остальное я пишу на бумаге, сидя за письменным столом, и в этом воплощаю очень много необходимого мне. Пишу много, даже очень, стихов и прозы, частью для денег, частью для себя, и нигде не служу. Благодаря всему этому наша новая квартира, на которую мы с Любой осенью переехали ‹…›, приобрела богемный характер: ветер свищет, много людей ходит, много разговоров и молчаний.

1907–1910. Санкт-Петербург. Галерная улица, 41, кв. 4. Дворовый флигель особняка А. И. Томсен-Боннара

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

С Петербургской стороны переехал он на Галерную улицу и несколько лет жил там, в доме № 41, кв. 4. От ряда посещений – всегда по вечерам – сохранилось у меня общее впечатление тихой и уютной торжественности. Квартира в три-четыре комнаты, обыкновенная средняя петербургская квартира «с окнами во двор». Ничего обстановочного, ничего тяжеловесно-изящного. Кабинет (и в то же время спальня А. А.) лишен обычных аксессуаров обстановки, в которой «живет и работает» видный писатель. Ни массивного письменного стола, ни пышных

портьер, ни музейной обстановки. Две-три гравюры по стенам, и в шкапах и на полках книги в совершеннейшем порядке. На рабочем столе ничего лишнего. Столовая небольшая, почти тесная, без буфетных роскошеств. Мебель не поражает стильностью.

Мария Андреевна Бекетова:

Квартира была окнами во двор, с одним ходом, во втором этаже; Ал. Ал. привлекало место и близость к театру Комиссаржевской, с которым были связаны тогда его главные интересы. ‹…›

Квартира Блоков состояла из кухни и четырех непроходных комнат, вытянутых вдоль коридора. Средства позволили им на этот раз завести кое-что новое по части обстановки. В артистическом мире славилась в то время некая Брайна Мильман, торговка из Александровского рынка. У нее купила Люб‹овь› Дм‹итриевна› стулья красного дерева и книжный шкаф с бронзовым амуром, который обратил на себя ее внимание именно потому, что

Там к резной старинной дверце
Прицепился голый мальчик
На одном крыле…

(Из «Снежной маски».)

Первые три комнатки были крошечные, четвертая, наиболее отдаленная от входа, просторная, в два окна. Тут поселился Ал. Ал.

1910–1912. Санкт-Петербург. Малая Монетная улица, 9, кв. 27

Мария Андреевна Бекетова:

5-го ноября он пишет уже из Петербурга: «Мы сегодня нашли квартиру – хорошую. Пет‹роградская› Ст‹орона›, Малая Монетная, 9*** (6-й этаж (мансарда), лифт, 4 комн., ванна, комн. для прислуги – 55 р. – со всем, контракт на 10 месяцев. – Примеч. А. А. Блока), кв. 27». Комнаты в этой квартире были маленькие и невысокие, из комнаты Блока – балкон. Светло, а из окон – далекий вид на Каменноостровский проспект, на лицейский сад. Большой особняк князя Горчакова – напротив. При нем сад, где снует симпатичный породистый пес, которого Блок наблюдает

с любовью. В столовой водрузили еще одно блоковское наследие – огромный диван с ящиками. Комнаты устроили по обыкновению целесообразно и со вкусом. Блоку очень нравилась эта квартира. Он назвал ее «молодой» в письме к матери. И понятно: помещалась она на вышке, и не было в ней ни следа оседлости или быта.

Грааль-Арельский *(настоящее имя Степан Степанович Петров, 1888 – вероятно, 1938), поэт, по образованию и профессии астроном:*

В 1911 году А. А. жил на Петроградской стороне, на Монетной улице, в шестом этаже. Я никогда не забуду того ноябрьского вечера, когда я пришел к А. А. первый раз. Мы прошли в его кабинет – небольшую комнату с полукруглым окном, у которого стоял письменный стол. Почему-то в моей памяти до сих пор осталась лампа с белым бумажным, гофрированным абажуром, от которого струился мягкий, расплывчатый свет, и бювар (папка. – Сост.) из красной кожи на письменном столе.

Борис Александрович Садовской *(1881–1951), поэт, критик:*

В домашней обстановке Блока неуловимо ощущается присутствие того, что принято называть «хорошим тоном». На всем отпечаток изящества и тонкого вкуса; только неуклюжая красного дерева конторка Дмитрия Ивановича Менделеева нарушает строгий стиль кабинета.

1912–1920. Санкт-Петербург. Офицерская улица, 57, кв. 21

Мария Андреевна Бекетова:

Еще в июне Ал. Ал. занимался приисканием новой квартиры. Она была найдена очень скоро на Офицерской, 57, на углу набережной Пряжки, в 4-м этаже, – «в доме сером и высоком, у морских ворот Невы» (Анна Ахматова). Здесь Блоки прожили около 9 лет. Оба очень ее любили. В письме к матери А. А. описывает вид из окон (24 июня):

«Вид из окон меня поразил. Хотя фабрики дымят, но довольно далеко, так что не коптят окон. За эллингами Балтийского завода, которые расширяют теперь для постройки новых дредноутов, виднеются леса около Сергиевского монастыря (по Балтийской дороге). Видно несколько церквей (большая на Гутуевском острове) и мачты, хотя море закрыто домами».

Вид, действительно, прекрасный, Блок забыл еще упомянуть о том, какой тут красивый изгиб Пряжки, которая отражает прибрежные дома.

На новую квартиру переехали в конце июля:

«Квартира мне очень нравится. Вчера, по случаю приезда Пуанкаре, были видны где-то в порте французские флаги и проследовали за домами чьи-то высокие мачты» (29 июля).

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Блоки жили на Пряжке, на углу улицы Декабристов почти у самих «морских ворот Невы», недалеко от меня, и я в тот же вечер отправился к ним.

Дорога на Пряжку шла по набережной, и я, идя, любовался чудесным великолепием закатного неба, окрашенного кроваво-красным цветом вечерней зари. Мысль о встрече с Блоком волновала меня, и я недоумевал, что заставило его так неожиданно вспомнить обо мне.

Квартира Блоков помещалась в четвертом этаже большого серого дома. Ал. Ал., видимо, ждал меня и сам открыл дверь. Курчавые волосы его заметно поредели, а лицо слегка похудело, но в общем он посвежел, загорел и окреп. Одет Блок был в коричневый френч с узкими погонами и высокие сапоги. В военной форме, которая значительно молодила его, я видел Блока впервые, и он, очевидно заметив мое удивление, смущенно сказал:

– Вот, видите, и я, наконец, оказался годным, хотя и к нестроевой службе… Государство крепко сжало меня своими щупальцами, значит, я ему нужен. Был под Пинском, но теперь, кажется, снова засяду в Петербурге.

Кабинет Блока, куда он провел меня, представлял собой светлую и просторную комнату, поражавшую своей праздничной чистотой. В нем все было прибрано, аккуратно расставлено по местам и лежало, не нарушая заведенного порядка.

Возле окна стоял большой письменный стол, а напротив него, в глубине комнаты, – высокие книжные шкафы красного дерева.

Кожаный диван и несколько кресел, простой, но удобной формы, дополняли собой в общем неприхотливую, скромную обстановку.

На светлых стенах висело несколько оригиналов и хороших копий с любимых Блоком вещей, в том числе акварель Рейтерна «Жуковский на берегу Женевского озера», рисунок Н. Рериха к «Итальянским стихам», «Саломея» Квентин Массиса и «Мадонна» Джиамбатисто Сальви (Сассоферато), чем-то напоминавшая Любовь Дмитриевну.

Мария Андреевна Бекетова:

После смерти мужа Ал‹ександра› Андр‹еевна› заболела сильнейшим бронхитом. Для удобства ухода и сношений сын перевел ее на свою квартиру, где она и перенесла всю болезнь. Чтобы не отвлекать Люб‹овь› Дм‹итриевну› от ее домашней работы и необходимых походов, взяли сестру милосердия. Ал. Андр. поправилась довольно скоро, а так как опять начались разговоры о возможности вселения в квартиру Ал. Ал., он решил перебраться с женой к Ал. Андр. Оставив часть вещей на своей старой квартире у тех, кто ее нанял, а часть продав, он перенес все остальное вниз вдвоем с наемным помощником. Мать перенес он на руках обратно в ее квартиру и быстро устроился на новом месте. Таким образом вся семья избавилась от опасности вселения и приобрела кое-какие преимущества: во-первых, меньше шло дров, а во-вторых, их легче было носить во второй этаж. Теснота, разумеется, была изрядная, так как, несмотря на продажу всего лишнего из обстановки Ал. Андр., покойного Фр‹анца› Фел‹иксовича› и Блоков, мебели в квартире оказалось все-таки значительно больше прежнего, а пространство ее было меньше верхней. Между прочим, Ал. Андр. хотела продать письменный стол Ал. Ал. и поставить ему другой, принадлежавший деду Бекетову, который был гораздо больше и лучше, но Ал. Ал. предпочел оставить у себя прежний, сославшись на то, что за этим столом была написана большая часть его стихов. В большой комнате с двумя окнами на Пряжку Ал. Ал. поставил свои шкафы и полки с книгами, письменный стол поместился, как всегда, боком к окну, в той же комнате стояла и кровать, заставленная ширмами, а также обеденный стол, менявший свое место сообразно времени года: летом он стоял у свободного окна, зимой – рядом с печкой. Над постелью своей Ал. Ал. по обыкновению повесил картинку с изображением Непорочной девы (Immacolata), подаренную ему в раннем детстве маленькой итальянкой Софией, на одной из стен висел давнишний подарок матери – вид Бад-Наугейма и фотография Мадонны Сассо Феррато, в которой Ал. Ал. находил большое сходство с женой.

Шахматово

Мария Андреевна Бекетова:

Это небольшое поместье, находящееся в Клинском уезде Московской губернии, отец купил в семидесятых годах прошлого столетия. Местность, где оно расположено, одна из живописнейших в Средней России. Здесь проходит так называемая Алаунская возвышенность. Вся страна холмистая и лесная. С высоких точек открываются бесконечные дали. Шахматово привлекло отца именно красотою дальних видов, прелестью места и окрестностей, а также уютностью вполне приспособленной для житья усадьбы. Старый дом с мезонином был невелик, но крепок, в уютно расположенных комнатах нашлась и старинная мебель и даже кое-какая утварь. Все службы оказались в порядке, в каретном сарае стояла рессорная коляска. Тройка здоровых лошадей буланой масти, коровы, куры, утки – все к услугам будущего владельца. Ближайшая почтовая станция Подсолнечная с большим торговым селом и земской больницей – в восемнадцати верстах от Шахматова. Ехать приходилось проселочной дорогой, частью, ближе к Шахматову, изрытой и колеистой, шедшей по великолепному казенному лесу «Праслово». Лес этот тянулся на многие версты и одной стороной примыкал к нашей земле. Помещичья усадьба, от которой после революции ничего не осталось, стояла на высоком холме. К дому подъезжали широким двором с круглыми куртинами шиповника, упоминаемыми в поэме «Возмездие». Тенистый сад со старыми липами расположен на юго-восток, по другую сторону дома. Открыв стеклянную дверь столовой, выходившей окнами в сад, и вступив на террасу, всякий поражался широтой и разнообразием вида, который открывался влево. Перед домом – песчаная площадка с цветниками, за площадкой – развесистые вековые липы и две высокие сосны составляли группу. Под этими липами летом ставили длинный стол. В жаркое время здесь происходили все трапезы и варилось бесконечное варенье. Сад небольшой, но расположен с большим вкусом. Столетние ели, березы, липы, серебристые тополя вперемежку с кленами и орешником составляли группы и аллеи. В саду было множество сирени, черемухи, белые и розовые розы, густая грядка белых нарциссов и другая такая же грядка лиловых ирисов. Одна из боковых дорожек, осененная очень старыми березами, вела к калитке, которая выводила в еловую аллею, круто спускающуюся к пруду. Пруд лежал в узкой долине, по которой бежал ручей, осененный огромными елями, березами, молодым

ольшаником. ‹…›

Впервые Блок попал туда шестимесячным ребенком. Здесь прошли лучшие дни его детства и юности. Он любил Шахматово… С ранних лет начались бесконечные прогулки по окрестным лесам и полям. К семи годам мальчик знал уже все окрестности, хорошо изучил места, где водились белые грибы, где было много земляники, где цвели незабудки, ландыши и т. д. Он особенно любил ходить за грибами, тем более что по свойственной ему необыкновенной зоркости находил их там, где никто их не видел. Придя домой, он, захлебываясь от восторга, рассказывал о своих находках всем, кто оставался дома и не участвовал в его торжестве.

Анна Ивановна Менделеева:

Лето Бекетовы проводили в своем маленьком подмосковном имении Шахматове, верстах в семи от Боблова, имения Дмитрия Ивановича, по совету которого они и купили свое. Трудно представить себе более мирный, поэтичный и уютный уголок. Старинный дом с балконом, выходящим в сад, совсем как на картинах Борисова-Мусатова, Сомова. Перед окном старая развесистая липа, под которой большой стол с вечным самоваром; тут варилось варенье, собирались поболтать, полакомиться пенками с варенья – словом, это было любимым местом. Вся усадьба стояла на возвышенности, и с балкона открывалась чисто русская даль. Из парка, через маленькую калитку, шла тропинка под гору к пруду и оврагу, заросшему старыми деревьями, кустарниками и хмелем; а дно оврага и пруд покрывались роскошными незабудками и зеленью; дальше шел большой лес, место постоянных прогулок маленького Саши с дедушкой.

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух:

На дворе в Шахматове была большая куртина из кустов шиповника, сирени, корнуса и спиреи. В этой куртине мы устроили ряд извилистых ходов, площадок и укрытий «для защиты от разбойников», чем вызвали неудовольствие бабушки. Она говорила, что куртина может служить действительно хорошим укрытием, но только для кур и цыплят от коршунов; мы же распугали всех кур.

Мария Андреевна Бекетова:

В 1904 году Блоки уехали в Шахматово ранней весной. Скоро явилась туда и я и привезла с собой прислугу и старого песика-таксу Пика, принадлежавшего покойному дедушке. Пик

не отходил от дедушки во все время его болезни, а после его смерти стал очень мрачен и угрюм. Он почти никого к себе не подпускал, но Блока обожал, как и все собаки.

Блоки поселились в отдельном флигеле, стоявшем во дворе при самом въезде в усадьбу. От двора он отделялся забором, за которым подымались кусты сирени, белых жасминов, шиповника и ярких прованских роз. Этот маленький домик состоял из четырех комнат с центральной печкой, сенями и крытой наружной галереей вроде балкона. Со двора – калитка и короткая прямая дорожка к ступеням крыльца. В сенях – лестница на чердак, где Блок выпилил слуховое окно, из которого открылся новый далекий вид ‹…›.

Поздней весной, в самый разгар цветенья сирени и яблонь, приехала и мать. Тут Блоки начали устраивать и украшать свое жилье. Мы с сестрой предоставили Люб. Дм. заветный бабушкин сундук, стоявший у нас в передней. Там оказались настоящие сокровища: пестрые бумажные веера, новый верх от лоскутного одеяла, куски пестрого ситца. Все это вынималось с криками радости и немедленно уносилось во флигель. Целый день Блоки бегали из флигеля в дом и обратно, точно птицы, таскающие соломинки для гнезда. За ними по пятам трусили две таксы: мой Пик и сестрин Краб. Погода была ужасная: холод, ветер, а по временам даже снег. Но Блоки этого не замечали.

Когда все было готово, нас позвали смотреть. Убранство оказалось удивительное. У каждого была своя спальня, кроме того – общая комната – крошечная гостиная, куда поставили диванчик, обитый старинным зеленым кретоном с яркими букетами. Перед диваном – большой стол, покрытый вместо скатерти пестрым верхом лоскутного одеяла. Вокруг стола несколько удобных кресел; по стенам полки с книгами. На столе лампа с красным абажуром, букет сирени в вазе, огромный плоский камень в виде подставки. На стенах, обитых вместо обоев деревянной фанерой, без всякой симметрии, в веселом беспорядке развесили они пестрые веера, наклеили каких-то красных бумажных рыбок, какие-то незатейливые картинки. Вышло весело и очень по-детски.

В то же лето занялись они устройством своего сада. Прежде всего соорудили дерновый диван. Его устроили в углу, где сходились две линии забора. Диван сработан был основательно и вышел очень удобный, широкий, с высокой спинкой. Блоки очень его любили и называли «канапэ» в память стихотворения Болотова «К дерновой канапэ». С боков, по сторонам его посадили они два молодых вяза, привезенных из Боблова. Деревья эти разрослись очень пышно; через несколько лет они сошлись

ветвями и осенили канапэ. Между крыльцом флигеля и диваном, на небольшой солнечной лужайке, были посажены кусты роз – белых, розовых и красных. Желтые лилии, лиловые ирисы, розовые мальвы, все принялось отлично. В тот же год вдоль забора, со стороны полей и дороги, вырыта была глубокая канава, приготовленная для посадки деревьев. И на следующий год вдоль всего забора насадили молодых елок, лип, берез, рябин, дубков. Все принялось как нельзя лучше и через несколько лет густо заслонило сад и жилье.

Все это устроили Ал. Ал. и Л. Дм. вдвоем своими руками, без посторонней помощи. Блок очень любил физический труд. Была у него большая физическая сила, верный и меткий глаз: косил ли он траву, рубил ли деревья или рыл землю – все выходило у него отчетливо, все было сработано на славу. Он говорил даже, что работа везде одна: «что печку сложить, что стихи написать»…

Андрей Белый:

Запомнилось первое впечатленье от комнаты, куда мы попали: уютные комнаты, светлые комнаты, скромные, располагающие к покою; блистали особенной чистотой они, сопровождающей Александру Андревну повсюду; не видел я ее «хозяйкой»; вокруг нее делалось все незаметно, уютно, само собой, шутя; но во всем был порядок «хозяйского глаза»; во всем была – форма; и для всего был – свой час; я попал в обстановку, где веял уют той естественно скромной и утонченной культуры, которая не допускала перегружения тяготящими душу реликвиями стародворянского быта; и – тем не менее обстановка – дворянская; соединение быта с безбытностью; говорили чистейшие деревянные стены (как кажется, без обой, с орнаментом перепиленных суков); сознавалось: из этих вот стен есть проход в бездорожье; они – «золотая межа» разговоров, ведущих: куда?

Мария Андреевна Бекетова:

Весной этого (1910-го. – Сост.) года Ал. Ал., получивший перед тем наследство от недавно скончавшегося отца, задумал ремонтировать шахматовский дом. Он приехал для этого в Шахматово с женой в апреле и торопился окончить ремонт к возвращению матери из санатории. Он положил на это дело не только большие деньги, но и много труда, изобретательности и энергии. Ремонт был сделан основательно и очень удачно. Старый дом преобразился и похорошел, не утратив своего стиля. Все было обновлено, разукрашено, а кое-что и преобразовано, так

как над боковой пристройкой, где поселилась Люб. Дм., был возведен целый этаж, в котором помещалась новая Сашина комната. Все эти новости приятно поражали всякого, кто входил в дом, зная, каким он был до перестройки. Не было человека, который бы не одобрил Сашину работу и новые выдумки. Мать же, для которой он особенно старался, приняла все это болезненно, с тем особым чувством, которое свойственно всем психически больным, когда им приходится менять место и привыкать к новым впечатлениям. Сначала она ничего не воспринимала и только мучительно ежилась, как от струй холодного сквозного ветра. Только значительно позже, когда она привыкла к новой обстановке, она оценила всю прелесть обновленного дома. А тут еще оказались новые люди, новые порядки: целая артель маляров, кончавших наружную окраску дома, новый управляющий с семьей, нанятый Сашей и Любой, новые затеи в сельском хозяйстве, задуманные Любовью Дм., Ал. Андреевна совершенно растерялась. Все это принимала она трагически, с некоторой опаской и недоверием. Люб. Дм., взявшая на себя хозяйство, была совершенно неопытна, Ал. Андр., конечно, могла бы дать ей не один хороший совет, но взгляды их на ведение этого дела были диаметрально противоположны, так что взаимное обсуждение хозяйственных вопросов и мнения, высказываемые Ал. Андреевной, порождали только одни недоразумения и неудовольствия. Все это портило отношения, и лето вышло очень тяжелое.

Мария Андреевна Бекетова:

В свою комнату Ал. Ал. привез старинный блоковский письменный стол еще крепостной работы. Этот стол достался ему от отца. В нем были секретные ящики, где Блок сохранял письма жены, ее портреты, некоторые рукописи и, между прочим, девичий дневник Любовь Дмитриевны. Все эти неоцененные вещи пропали теперь безвозвратно. В 1917 году соседние крестьяне сломали стол, и от того, что было спрятано внутри, осталось некоторое количество бумаг самого незначительного содержания. Куда пошло остальное – неизвестно.

В эту осень мы с сестрой уехали из Шахматова поздно, в половине октября. Блоки остались вдвоем. Ал. Ал. тотчас же нанял колодезника – рыть новый колодезь. Водяной вопрос всегда был слабым местом в Шахматове. Не раз и отец пробовал рыть колодцы, рыли в разных местах и на большую глубину и, истратив изрядную сумму денег, бросали это дело, потеряв надежду на воду. В Шахматове был колодезь, но ездить с бочкой приходилось под гору, далеко от усадьбы. Блок решил

попробовать еще раз. Но и тут повторилась та же история. И в конце концов пришлось упорядочить старый водоем – почистить его и поставить новый сруб для воды.

Владимир Владимирович Маяковский *(1883–1930), поэт, художник:*

Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» – «Хорошо», – сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли».

Сын

Софья Николаевна Тутолмина:

Помню, как Саша в ранние годы встречался у нас со своим отцом. Отец любил его, расспрашивал об университетских делах, и они подолгу просиживали рядом за столом. Саша прямой, спокойный, высокий, несколько «навытяжку», отвечал немногословно, выговаривал отчетливо все буквы, немного выдвигая нижнюю губу и подбородок. Отец сидел сгорбившись, нервно перебирая часовую цепочку или постукивая по столу длинными желтыми ногтями. Его замечательные черные глаза смотрели из-под густых бровей куда-то в сторону. Иногда он горячился, но голоса никогда не повышал.

Однажды Александр Львович, приехав из Варшавы, сейчас же вызвал сына: «Ты должен выбрать себе какой-нибудь псевдоним, – говорил он Саше, – а не подписывать свои сочинения, как я – „А. Блок“. Неудобно ведь мне, старому профессору, когда мне приписывают стихи о какой-то „Прекрасной даме“. Избавь меня, пожалуйста, от этого». Саша стал подписываться с тех пор иначе.

Александр Александрович Блок. *Из письма В. Я. Брюсову. Петербург, 1 февраля 1903 г.:*

Имею к Вам покорнейшую просьбу поставить в моей подписи мое имя полностью: Александр Блок, потому что мой отец, варшавский профессор, подписывается на диссертациях А. Блок или Ал. Блок, и ему нежелательно, чтобы нас с ним смешивали.

Екатерина Сергеевна Герцог *(1884 – после 1955), поэт, переводчик, дочь профессора С. Герцога, сослуживца А. Л. Блока по Варшавскому университету:*

На одной из своих книг А. А. сделал надпись отцу: «Моему отцу по духу». Это «по духу» очень возмутило А. Л. и давало темы его многим комментариям. Все-таки, говорил он нам, горько улыбаясь, не только же я по духу ему отец.

Георгий Петрович Блок:

Мне памятны рассказы моего отца о встречах с Блоком в Варшаве на похоронах Александра Львовича. Мой отец вернулся оттуда очарованный Сашей: много говорил о том, с каким тактом, достоинством и мягкостью вел себя Блок в трудной обстановке погребальных церемоний, в общении со множеством незнакомых и неприятных ему лиц. В жизни Блока эти трагические варшавские дни были одними из самых решающих. Мне

передавали, что Блок по дороге на кладбище поглаживал уже запаянный гроб отца. В эти минуты он впервые, должно быть, понял, чем был и чем мог стать для него отец, которого при жизни он проглядел.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Варшава, 4 декабря 1909 г.:*

‹…› Сегодня были похороны, торжественные, как и панихида. Из всего, что я здесь вижу, и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца – во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры. ‹…› Смерть, как всегда, многое объяснила, многое улучшила и многое лишнее вычеркнула.

Евгения Федоровна Книпович:

Я не помню точно когда, но, очевидно, еще в конце 1918 года, Блок сказал мне: «Я хочу вас познакомить с моей мамой, и потому, что мама – это я, и потому, что она живет в том же доме, и у нее тепло, и там мы можем хорошо встречаться и говорить вдвоем и втроем».

Георгий Петрович Блок:

По-видимому, сына и мать связывали тесные узы понимания. Мне стало казаться даже (по тому, как он – ученически – посмотрел на нее), что для сына это, может быть, зависимость.

Валентина Петровна Веригина *(1882–1974), драматическая актриса в театре В. Ф. Комиссаржевской:*

Вскоре после нашего знакомства Л. Д. Блок пригласила Волохову и меня к себе, и мы сделались частыми гостями на Лахтинской, где тогда жили Блоки. Там иногда мы встречали Анну Ивановну Менделееву, мать Любови Дмитриевны, Марию Андреевну Бекетову, тетку Блока, и Александру Андреевну. Существует мнение, что у большинства выдающихся людей были незаурядные матери, это мнение лишний раз подтверждается примером Блока. Как-то Любовь Дмитриевна говорила мне: «Александра Андреевна и Александр Александрович до такой степени похожи друг на друга». Мне самой всегда казалось, что многое в них было одинаковым: особая манера речи, их суждения об окружающем, отношение к различным явлениям жизни. Многое слишком серьезно, даже болезненно принималось обоими. У сына и у матери все чувства были чрезмерны –

чрезмерной была у Александры Андреевны и любовь к сыну, однако это нисколько не мешало ей быть справедливым судьей его стихов. Она умела тонко разбираться в творчестве Блока. Свои произведения он читал ей первой и очень считался с ее мнением. В конце сезона Александра Андреевна уезжала из Петербурга, и я лично познакомилась с ней ближе гораздо позднее. В 1915 году у нас произошел разговор, который я привожу теперь для характеристики ее созвучности с сыном. Мы говорили о стихотворении «На поле Куликовом», о его пророческом смысле.

И вечный бой, покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль…

По поводу этих строк Александра Андреевна мне сказала: «Саша описал мой сон. Я постоянно вижу во сне, что мчусь куда-то и не могу остановиться… Мимо меня все мелькает, ветер дует в лицо, а я лечу с мучительным чувством, знаю, что не будет покоя».

Муж

Анна Ивановна Менделеева:

Помню, раз как-то я вздумала взять с собой мою девятимесячную дочку Любу, по молодости лет воображая, что доставлю ей удовольствие, чем очень рассмешила бабушку Елизавету Григорьевну, которая даже пожурила меня за неосторожность: возвращаться надо было под вечер через реку, сырость могла ребенку повредить. Пришедший, по обыкновению, с дедушкой с прогулки Саша нес в руке букет ночных фиалок. Не знаю, подсказал ли ему «дидя», – так он звал Андрея Николаевича, – или догадался сам, но букет он подал Любе, которую держала на руках няня. Это были первые цветы, полученные ею от своего будущего мужа. Тогда она по-своему выразила интерес к подарку, – быстро его растрепала и потянула цветы в ротик. Мальчик серьезно смотрел, не выражая ни протеста, ни смеха над крошечной дикаркой.

Любовь Дмитриевна Блок:

Трепетная нежность наших отношений никак не укладывалась в обыденные, человеческие: брат – сестра, отец – дочь… Нет!.. Больнее, нежнее, невозможней… И у нас сразу же, с первого года нашей общей жизни, началась какая-то игра; мы для наших чувств нашли «маски», окружили себя выдуманными, но совсем живыми для нас существами; наш язык стал совсем условный. Как, что – «конкретно» сказать совсем невозможно, это совершенно невоспринимаемо для третьего человека. Как отдаленное отражение этого мира в стихах – и все твари лесные, и все детское, и крабы и осел в «Соловьином саду». И потому, что бы ни случалось с нами, как бы ни терзала жизнь, – у нас всегда был выход в этот мир, где мы были незыблемо неразлучны, верны и чисты. В нем нам всегда было легко и надежно, если мы даже и плакали порой о земных наших бедах.

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

13 августа ‹1904›. Шахматово. Но вот что новое и страшное – Сашура и Люба. Сашура – злой, грубый, непримиримый, тяжелый; его дурные черты вырастают, а хорошие глохнут. Он – удивительный поэт, но злоба, деспотизм, жестокость его ужасны. И при этом полное нежелание сдерживаться и стать лучше. Упорно говорит, что это не нужно и что гибель лучше всего. Это не есть дух противоречия относительно Софы, потому что было все еще до ее приезда. Но за год жизни с Любой произошла

страшная перемена к худшему. Она не делает его ни счастливее, ни лучше. Наоборот. Что это? Она – недобрая, самолюбивая, она – необузданная. Алю она так и не полюбила и жестока с ней. Мне кажется часто, что это сгладится, что у нее ложный стыд мешает много, но я боюсь за будущее. Давно ли у него были добрые порывы? А теперь? Что же это будет?

Любовь Дмитриевна Блок:

Конечно, не муж и не жена. О, Господи! Какой он муж и какая уж это была жена! В этом отношении и был прав А. Белый, который разрывался от отчаяния, находя в наших отношениях с Сашей «ложь». Но он ошибался, думая, что и я и Саша упорствуем в своем «браке» из приличия, из трусости и невесть еще из чего. Конечно, он был прав, что только он любит и ценит меня, живую женщину, что только он окружит эту меня тем обожанием, которого женщина ждет и хочет. Но Саша был прав по-другому (о, насколько более суровому, но и высокому!), оставляя меня с собой. А я всегда широко пользовалась правом всякого человека выбирать не легчайший путь.

Я не пошла на услаждение своих «женских» (бабьих) претензий, на счастливую жизнь боготворимой любовницы. ‹…›

Отказавшись от этого первого серьезного «искушения», оставшись верной настоящей и трудной моей любви, я потом легко отдавала дань всем встречавшимся влюбленностям – это был уже не вопрос, курс был взят определенный, парус направлен, и «дрейф» в сторону не существен.

За это я иногда впоследствии и ненавидела А. Белого: он сбил меня с моей надежной самоуверенной позиции. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою незыблемую верность в то, что отношения наши с Сашей «потом» наладятся.

Моя жизнь с «мужем» (!) весной 1906 года была уже совсем расшатанной. ‹…› Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца, погасла, не успев вырвать меня из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез.

Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого не обыденного мужа, как Саша.

Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это «астартизм», «темное» и бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его – опять теории: такие отношения не могут быть длительны, все равно он

неизбежно уйдет от меня к другим. А я? «И ты также». Это приводило меня в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой, на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые девушки в незыблемость, единственность. Я рыдала в эти вечера с таким бурным отчаянием, как уже не могла рыдать, когда все в самом деле произошло «как по писаному».

Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров неожиданно для Саши и со «злым умыслом» моим произошло то, что должно было произойти, – это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немногое прекратилось.

Борис Александрович Садовской:

Нередко он приглашал меня к себе обедать. Живо помню эти летние петербургские дни, эти молчаливые обеды в обществе Блока и его жены, Любови Дмитриевны – дочери знаменитого химика Менделеева. Помню нервную напряженность за столом. Нельзя было не заметить, что в этой семье не все благополучно; подчас мне казалось, что Блок приглашает меня только для того, чтобы не оставаться наедине с женой. Любовь Дмитриевна раз даже сказала супругу обидную колкость. В ответ Александр Александрович с улыбкой заметил:

– Кажется, разговор начинает принимать неблагоприятный оборот.

Алкоголь

Николай Корнеевич Чуковский:

Александра Блока я увидел впервые осенью 1911 года. В 1911–1912 гг. мы жили в Петербурге, на Суворовском проспекте. Мне было тогда 7 лет. Я помню вечер, дождь, мы выходим с папой из «Пассажа» на Невский. ‹…›

Блока мы встретили сразу же, чуть сошли на тротуар. Остановись под фонарем, он минут пять разговаривал с папой. Из их разговора я не помню ни слова. Но лицо его я запомнил прекрасно – оно было совсем такое, как на известном сомовском портрете. Он был высок и очень прямо держался, в шляпе, в мокром от дождя макинтоше, блестевшем при ярком свете электрических фонарей Невского.

Он пошел направо, в сторону Адмиралтейства, а мы с папой налево. Когда мы остались одни, папа сказал мне:

– Это поэт Блок. Он совершенно пьян.

Борис Александрович Садовской:

– Вот уже скоро два года, как Блок все пьет и ничего не пишет, – грустно заметил Ремизов, распуская зонтик.

Мы возвращались с похорон. Моросил неприятный, осенний дождь. Ремизов, больше всего на свете боявшийся смерти, уныло горбился и пугливо поблескивал очками.

– Я пробую вытрезвить его. Каждый вечер сажаю на извозчика, и мы вдвоем катаемся по Петербургу.

С трудом удержался я от улыбки. Что за наивность! Как раз накануне Блок мне сказал:

– По ночам я ежедневно обхожу все рестораны на Невском, от Николаевского вокзала до Морской, и в каждом выпиваю у буфета. А утром просыпаюсь где-нибудь в номерах.

Георгий Владимирович Иванов:

‹…› Время от времени его тянет на кабацкий разгул. Именно – кабацкий. Холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные «злачные места»: «Слон» на Разъезжей, «Яр» на Большом проспекте. После «Слона» или «Яра» – к цыганам… Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. «Машина» хрипло выводит – «Пожалей ты меня, дорогая» или «На сопках Маньчжурии». Кругом пьяницы.

Александр Александрович Блок:

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный,
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

Женщины

Любовь Дмитриевна Блок:

Физическая близость с женщиной для Блока с гимназических лет это – платная любовь, и неизбежные результаты – болезнь. Слава Богу, что еще все эти случаи в молодости – болезнь не роковая. Тут несомненно травма в психологии. Не боготворимая любовница вводила его в жизнь, а случайная, безликая, купленная на несколько минут. И унизительные, мучительные страдания… Даже Афродита Урания и Афродита площадная, разделенные бездной… Даже К. М. С. (Ксения Михайловна Садовская. – *Сост.*) не сыграла той роли, какую должна была бы сыграть; и она более, чем «Урания», чем нужно было бы для такой первой встречи, для того, чтобы любовь юноши научилась быть любовью во всей полноте. Но у Блока так и осталось – разрыв на всю жизнь. Даже при значительнейшей его встрече уже в зрелом возрасте в 1914 году было так, и только ослепительная, солнечная жизнерадостность Кармен (Любовь Александровна Дельмас. – Сост.) победила все травмы, и только с ней узнал Блок желанный синтез и той и другой любви.

Семья

Предки

Блоки

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

Дед мой – лютеранин, потомок врача царя Алексея Михайловича, выходца из Мекленбурга ‹…›. Женат был мой дед на дочери новгородского губернатора – Ариадне Александровне Черкасовой.

Софья Николаевна Тутолмина:

‹…› Наша бабушка Ариадна Александровна Блок, которая жила с нами, не могла простить матери поэта ее уход от Александра Львовича, ее обожаемого старшего сына, и отношения были порваны.

Но та же бабушка передала мне как-то стихи, написанные Сашей, и велела ответить ему тоже стихами.

Бекетовы

Сергей Михайлович Соловьев *(1885–1942), поэт-символист, друг А. А. Блока и Андрея Белого:*

Гнездо, из которого вылетел лебедь новой русской поэзии, – Шахматово, – было основано дедом Блока по матери, ботаником А. Н. Бекетовым. Помню его стариком. Некрасивый, но удивительно изящный, в серой крылатке, «старик, как лунь седой», мягкий, благородный, во всем печать французской культуры:

Сладко вспомнить за обедом
Старый, пламенный Париж.

В молодости, как убежденный натуралист, ненавидел классицизм, возмущался развратностью древних поэтов, но потом с гордостью говорил: «Саша переводит Горация в стихах.

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

Дед мой, Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, был ректором Петербургского университета в его лучшие годы (я и родился в «ректорском доме»). Петербургские Высшие женские курсы,

называемые «Бестужевскими» (по имени К. Н. Бестужева-Рюмина), обязаны существованием своим главным образом моему деду.

Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает. Собственно, нам уже непонятны своеобразные и часто анекдотические рассказы о таких дворянах-шестидесятниках, как Салтыков-Щедрин или мой дед, об их отношении к императору Александру II, о собраниях Литературного фонда, о борелевских обедах, о хорошем французском и русском языке, об учащейся молодежи конца семидесятых годов. Вся эта эпоха русской истории отошла безвозвратно, пафос ее утрачен, и самый ритм показался бы нам чрезвычайно неторопливым.

В своем сельце Шахматове (Клинского уезда, Московской губернии) дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком; совершенно по той же причине, по которой И. С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать все, что ни спросят, лишь бы отвязались.

Встречая знакомого мужика, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь словами: «Eh bein, mon petit…»[4] Иногда на том разговор и кончался. Любимыми собеседниками были памятные мне отъявленные мошенники и плуты: старый *Jacob Fidele*[5], который разграбил у нас половину хозяйственной утвари, и разбойник Федор Куранов (по прозвищу *Куран),* у которого было, говорят, на душе убийство; лицо у него было всегда сине-багровое – от водки, а иногда – в крови; он погиб в «кулачном бою». Оба были действительно люди умные и очень симпатичные; я, как и дед мой, любил их, и они оба до самой смерти своей чувствовали ко мне симпатию.

Однажды дед мой, видя, что мужик несет из лесу на плече березку, сказал ему: «Ты устал, дай я тебе помогу». При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу.

Мои собственные воспоминания о деде – очень хорошие; мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий. Помню, как мы радовались, когда нашли особенный цветок ранней грушевки, вида, неизвестного московской флоре, и мельчайший низкорослый папоротник; этот папоротник я до сих пор каждый год ищу на той самой горе, но так и не нахожу, – очевидно, он засеялся случайно и потом

выродился.

Все это относится к глухим временам, которые наступили после событий 1 марта 1881 года. Дед мой продолжал читать курс ботаники в Петербургском университете до самой болезни своей; летом 1897 года его разбил паралич, он прожил еще пять лет без языка, его возили в кресле. Он скончался 1 июля 1902 года в Шахматове. Хоронить его привезли в Петербург; среди встречавших тело на станции был Дмитрий Иванович Менделеев.

Дмитрий Иванович играл очень большую роль в бекетовской семье. И дед и бабушка моя были с ним дружны. Менделеев и дед мой, вскоре после освобождения крестьян, ездили вместе в Московскую губернию и купили в Клинском уезде два имения – по соседству: менделеевское Боблово лежит в семи верстах от Шахматова, я был там в детстве, а в юности стал бывать там часто.

Мария Андреевна Бекетова:

Отец мой Андрей Николаевич был самый живой, разносторонний и яркий из братьев Бекетовых. В ранней молодости он увлекался фурьеризмом, одно время серьезно занимался философией, изучая Платона, был далеко не чужд литературе, уже в старости зачитывался Толстым и Тургеневым, второй частью Гетева Фауста. В общественной деятельности он проявил большую энергию и страстность. Время его ректорства оставило очень яркий след в истории Петербургского университета. Особенно многим обязаны ему студенты, в организацию которых он внес совершенно новые элементы. Ни один ректор ни до, ни после него не был так близок с молодежью. Между прочим, он то и дело тревожил полицейские власти, хлопоча об освобождении студентов, сидевших в доме предварительного заключения. Его энергия и настойчивость в этом направлении были столь неутомимы, что он добился однажды необычайного результата: по его ходатайству один студент четвертого курса, сидевший в крепости, получил разрешение держать выпускные экзамены, являясь в университет под конвоем, и таким образом кончил курс и получил кандидатский диплом.

Что касается деятельности моего отца по части высшего женского образования, то можно смело сказать, что он был его создателем с самого начала возникновения этого течения. Очень немногие знают, что Бестужевские курсы названы не Бекетовскими только потому, что во время их открытия отец был на плохом счету в высших сферах, где у него создалась

репутация Робеспьера.

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

Жена деда, моя бабушка, Елизавета Григорьевна, – дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии, Григория Силыча Корелина (Карелина. – Сост.). Она всю жизнь работала над компиляциями и переводами научных и художественных произведений; список ее трудов громаден; последние годы она делала до 200 печатных листов в год; она была очень начитана и владела несколькими языками; ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль – образный, язык – точный и смелый, обличавший казачью породу. Некоторые из ее многочисленных переводов остаются и до сих пор лучшими.

Переводные стихи ее печатались в «Современнике», под псевдонимом «Е. Б.», и в «Английских поэтах» Гербеля, без имени. Ею переведены *многие* сочинения Бокля, Брэма, Дарвина, Гексли, Мура (поэма «Лалла-Рук»), Бичер-Стоу, Гольдсмита, Стэнли, Теккерея, Диккенса, В.-Скотта, Брэт-Гарта, Жорж-Занд, Бальзака, В. Гюго, Флобера, Мопассана, Руссо, Лесажа. Этот список авторов – далеко не полный. Оплата труда была всегда ничтожна. Теперь эти *сотни тысяч* томов разошлись в дешевых изданиях, а знакомый с антикварными ценами знает, как дороги уже теперь хотя бы так называемые «144 тома» (изд. Г. Пантелеева), в которых помещены многие переводы Е. Г. Бекетовой и ее дочерей. Характерная страница в истории русского просвещения.

Отвлеченное и «утонченное» удавалось бабушке моей меньше, ее язык был слишком лапидарен, в нем было много бытового. Характер на редкость отчетливый соединялся в ней с мыслью ясной, как летние деревенские утра, в которые она до свету садилась работать. Долгие годы я помню смутно, как помнится все детское, ее голос, пяльцы, на которых с необыкновенной быстротой вырастают яркие шерстяные цветы, пестрые лоскутные одеяла, сшитые из никому не нужных и тщательно собираемых лоскутков, – и во всем этом – какое-то невозвратное здоровье и веселье, ушедшее с нею из нашей семьи. Она умела радоваться просто солнцу, просто хорошей погоде, даже в самые последние годы, когда ее мучили болезни и доктора, известные и неизвестные, проделывавшие над ней мучительные и бессмысленные эксперименты. Все это не убивало ее неукротимой жизненности.

Эта жизненность и живучесть проникала и в литературные вкусы; при всей тонкости художественного понимания она

говорила, что «тайный советник Гете написал вторую часть „Фауста“, чтобы удивить глубокомысленных немцев». Также ненавидела она нравственные проповеди Толстого. Все это вязалось с пламенной романтикой, переходящей иногда в старинную сентиментальность. Она любила музыку и поэзию, писала мне полушутливые стихи, в которых звучали, однако, временами грустные ноты:

Так, бодрствуя в часы ночные
И внука юного любя,
Старуха-бабка не впервые
Слагала стансы для тебя.

Она мастерски читала вслух сцены Слепцова и Островского, пестрые рассказы Чехова. Одною из последних ее работ был перевод двух рассказов Чехова на французский язык (для «Revue des deux Mondes»). Чехов прислал ей милую благодарственную записку.

К сожалению, бабушка моя так и не написала своих воспоминаний. У меня хранится только короткий план ее записок; она знала лично многих наших писателей, встречалась с Гоголем, братьями Достоевскими, Ап. Григорьевым, Толстым, Полонским, Майковым. Я берегу тот экземпляр английского романа, который собственноручно дал ей для перевода Ф. М. Достоевский. Перевод этот печатался во «Времени».

Бабушка моя скончалась ровно через три месяца после деда – 1 октября 1902 года.

Сергей Михайлович Соловьев:

‹…› Елизавета Григорьевна, урожденная Карелина, приходилась мне двоюродной бабушкой. Это был сплошной блеск острот. Больная, прикованная к креслу, она не теряла прежней доброты и остроумия. Неустанно работала: переводила с английского Теккерея, Брет Гарта и др. Относилась с отвращением ко всякой метафизике и мистицизму. Терпеть не могла немцев, особенно Гете, и говорила, что он написал вторую часть «Фауста» для того, чтобы никто ничего не понял. Единственным приличным немцем считала Шиллера. В отношении церкви была настоящий Вольтер и называла церковную утварь «бутафорскими принадлежностями».

Анна Ивановна Менделеева:

Хозяйством занималась бабушка Елизавета Григорьевна, в важных случаях вопросы решались семейным советом,

а в крайне важных поручали Андрею Николаевичу выполнить роль главы – пойти «покричать». Андрей Николаевич, в своем кабинете, погруженный в книги, относившийся с полным равнодушием к материальным вопросам вообще и к хозяйственным в частности, не считал себя в праве отказываться от предоставленной ему роли главы, по призыву вставал с своего кресла, закладывая руки в карманы, нахмуривая брови, выходил на крыльцо, место самых важных объяснений, рассеянно оглядываясь, в какую сторону надо «покричать», выполнял более или менее неудачно свою роль и тотчас принимал свое обычное добродушное выражение, самодовольно улыбаясь, явно переоценивая свою заслугу, шагал обратно к своим книгам и гербариям. Насколько был чужд этот добрый человек помещичьих интересов, видно из рассказа местного крестьянина. Гуляя как-то в своем лесу, Андрей Николаевич увидел старого крестьянина, совершившего порубку и уносившего огромное дерево из бекетовского леса к себе домой. Увидев это, Андрей Николаевич очень смутился и, по обыкновению, хотел сделать вид, что ничего не заметил; но, видя, что деду тащить было очень трудно, не выдержал, робко и конфузливо предложил: «Трофим, дай я тебе помогу», на что тот, надо сказать правду, так же конфузливо согласился, и вот знакомому обоим Фоме (от которого услыхали этот рассказ) представилась забавная и трогательная картина, как барин, надсаживаясь и кряхтя, тащил из собственного леса дерево для укравшего его крестьянина.

Мария Андреевна Бекетова:

В нашей семье, где давала тон Сашина бабушка, литературность была, так сказать, в крови. Ею пропитана была вся атмосфера бекетовского дома. Это проявлялось не только в занятиях литературным трудом, но и в повседневной жизни, в частых цитатах стихов и прозы, в манере выражаться и в интересе к новым книгам. Это «новое» было, однако, только до известной степени. Уже Достоевский был не по вкусу нашим родителям, а из поэтов мать наша остановилась на Полонском и Фете. Сестра Александра Андреевна частенько воевала дома из-за излишнего пристрастия к Тургеневу, непонимания Флобера и т. д.

Отец Александр Львович Блок

Софья Николаевна Тутолмина:

Ясно помню его удивительно красивое лицо, немного напоминающее лицо Гейне, всегда грустные, кудато устремленные глаза и тихий, красивый, но однотонный голос. Часто он садился за рояль и играл по памяти Шопена (любимый его композитор), а затем декламировал Мицкевича. По вечерам у него бывали длинные и грустные разговоры с бабушкой, после которых бабушка всегда плакала.

Екатерина Сергеевна Герцог:

‹…› Характер у него был нелегкий, с большими странностями, которые нередко бывают у людей, отдающих большую часть времени науке и труду, или у одиноких людей, не привыкших к заботам других о себе. Но кто знал его близко, прощал ему эти странности.

Евгений Александрович Бобров *(1867–1933), философ, публицист, сослуживец А. Л. Блока по Варшавскому университету:*

Я хорошо знал покойного Александра Львовича Блока. Познакомился я с ним после моего переезда в Варшаву. ‹…› Среди многолюдного и шумного города он жил своеобразным отшельником. ‹…› Я, ввиду трудности проникать к Блоку, часто приглашал его к себе. Мы проводили с ним целые вечера в беседах на самые разнообразные темы. Он познакомил меня как со своей биографией, так и со своими взглядами. Особенно горько он рассказывал о тех притеснениях, какие ему суждено было испытать в Варшавском университете и от начальства, и от студентов, и от товарищей-профессоров. ‹…›

Недоразумения со студентами проистекали из двух источников. С одной стороны, он не сходился с поляками на национальной почве; будучи славянофилом и государственником, он отнюдь не сочувствовал польским революционным стремлениям. С другой стороны, он доводил студентов до исступления своею невозможной манерой экзаменовать, спрашивая каждого не менее получаса, а иногда даже от часа до полутора. Происходили дикие сцены. Студенты в истерике начинали кричать, бросали литографированный курс к ногам экзаменатора. Сам Блок показывал мне ругательные письма с наклеенной раздавленной молью. Текст гласил, что, подобно этой моли, будет раздавлена моль в образе профессора Блока. Эти выходки принимались им с несокрушимым видимым

спокойствием и неуторопленной речью (Блок немного заикался). Начальство, отчасти ввиду постоянных скандалов со студентами, отчасти же в силу его самостоятельности, не давало ему ходу, чуть ли не 20 лет выдерживало без повышения, в звании экстраординарного профессора, в то время, как разные ничтожества, не стоившие и пальца Блока, награждались деньгами, чинами, орденами, играли первые роли. Гордость, нелюдимость Блока, его постоянная погруженность в какие-то думы мешали ему сходиться с большинством товарищей-профессоров.

По наружности он был высокий, очень худощавый, сутуловатый, несомненно еврейского, благородного типа мыслителя и пророка (о чем он мыслил, будет речь дальше), но к особо скорой дружбе ни внешность Блока, ни его манера говорить и относиться к собеседнику – не располагали; невольно чувствовалась огромная самостоятельность мысли и большая гордость.

Мне посчастливилось довольно скоро сблизиться с ним, что, вероятно, отчасти объяснялось философией, которой Блок любил заниматься. Блок чувствовал везде и всегда себя одиноким, но этого одиночества не боялся. Близких отношений с молодежью он не искал, однако у него было некоторое количество верных и чрезвычайно преданных ему учеников ‹…›. Однако ни один из них, питая глубочайшую благодарность к своему учителю за его научное воспитание, не перенял для себя его специфической философии; каждый из них пошел своей особой дорогой. Курс лекций Блока был единственным в России, ибо нигде в русских университетах, кроме Варшавского, не читалось государственное право европейских держав, а преподавалось одно только русское государственное право. Блок же выработал, можно сказать, философию государственного права. Эта философия чрезвычайно трудно давалась студентам; некоторые места вообще среди этих лекций оставались для них непостижимыми, и такие места они называли сфинксами, Блоковскими сфинксами. Правда, нужно сказать, что Блок отдавал в литографию текст окончательно составленный и редактированный им самим, причем каждый год этот текст перерабатывался заново. Вдобавок лекции одновременно выходили в двух изданиях, одно для поляков, другое для русских студентов.

Екатерина Сергеевна Герцог:

В частной жизни А. Л. был глубоко интересным человеком. Для нас – молодежи – он был книгой неисчерпаемого интереса. Мы постоянно закидывали его всякими отвлеченными вопросами

и всегда получали подробное объяснение, историческую справку или филологическое пояснение на всех европейских языках, которые он знал в совершенстве. Я уже не говорю об его знании истории, литературы и музыки.

Когда, случалось, удивлялись его многостороннему образованию, он всегда отшучивался или говорил:

– Если человек способен оценить многостороннее образование другого, то каким же образованным должен быть он сам! У моего отца и у А. Л. была изумительная память. Они часами читали поэтов наизусть, начиная с Державина.

Особенно же часто повторяли «Евгения Онегина» – целиком, наизусть – с любой строфы.

В то время А. Л. жил одиноко (на Кошиковой ул.), весь уходя в книги и работу. С его слов мы знали, что он был женат два раза и имел от первой жены сына, а от второй – дочь. Портрет дочери стоял всегда перед ним среди хаоса книг, газет и вещей, и был большим трогательным контрастом веночек из цветов на портрете.

Евгений Александрович Бобров:

Внешняя скромность Блока, происходившая от чрезвычайной гордости, в конце концов привела к тому, что много новых профессоров, не знавших, что такое Блок, ввиду его молчаливости на собраниях и советах начинали считать его жалким ничтожеством, которому и нечего сказать. Тому же способствовала и крайне жалкая одежда, в которую облекался мыслитель. Вечный черный сюртук и черные брюки насчитывали, конечно, не один десяток лет существования. Все на нем было вытерто, засалено, перештопано. Проистекало это не из материальной нужды, а из чисто плюшкинской жадности и скупости. После смерти его в его квартире найдено было денег в различных видах (медью, серебром, золотом, бумажками, билетами, облигациями) свыше 80 000 руб. Он никогда не позволял убирать своей квартиры, никогда в течение десятков лет ее не отапливал, не выставлял рам, питался в высшей степени экономно и, по заключению врачей, этим недостаточным питанием сам вогнал себя в неизлечимую чахотку и уготовил себе преждевременную смерть на почве истощения. Он даже экономил на освещении квартиры. По вечерам он выходил на общую площадку лестницы, где горел даровой хозяйский газовый рожок, и читал, стоя, при этом свете или шел куда-нибудь в дешевую извозчичью харчевню, брал за пятак стакан чаю и сидел за ним весь вечер в даровом тепле и при даровом свете. Знавшие эти странности и слабости Блока и любившие его за его выдающиеся

способности охотно приглашали его к себе в гости, немного подкармливали, угощая обедом, чаем, ужином. У Блока было все-таки несколько знакомых семейств, которые он посещал, куда он ходил охотно, будучи убежден в добром к нему расположении. Было у него несколько друзей женщин (особенно помнится мне жена суд-инспектора Крылова), которые, приглашая его к себе, угощая его, брали на себя заботу тут же, во время чая, собственноручно шить и штопать знаменитый сюртук, совлекая его с плеч мыслителя.

Екатерина Сергеевна Герцог:

Когда А. Л. случалось хворать, мой отец навещал его и всегда поражался той обстановке, в которой он жил. Прислуги у него не было; никто не топил печей, никто не убирал комнаты. На вещах, на книгах, иногда прикрытых газетами, лежали толстые слои пыли.

Ему бывало холодно зимой писать; руки его замерзали. Чтобы впустить немного тепла, он открывал дверь на лестницу или уходил куда-нибудь отогреваться. Зачастую мой отец заставал его совсем застывшим и увозил к нам греться. Очень часто его обкрадывали в квартире. И случилось так, что зимой у него украли шубу. Он ходил тогда в каком-то коротком ватном пальто с рыжим потертым меховым воротником. Пальто это было похоже на дамский жакет, но А. Л. этим нимало не смущался. Вообще он не много внимания уделял своему туалету. Приходил он к нам или в старом сюртуке, или в сером пиджаке, тоже «ветхом вельми», так же, как и обувь его.

Белье на нем всегда было не свежее, так, что воротнички были уже совсем серые, обтрепанные по краям. Запонки на рубашке всегда отсутствовали, и надето бывало на нем по две и даже по три рубашки. Вероятно, он надевал более чистую на более грязную или зимой ему было холодно. Ко всему этому мы относились не с порицанием или с насмешкой, а с сожалением, так как видели в нем человека с надорванной душой, всецело отдавшего себя науке и труду, обрекшего себя на жизнь аскета со всевозможными лишениями, ради какой-то цели, думали мы. ‹…›

Характерно, что наряду с такой бережливостью А. Л. не были чужды порывы, свойственные широкой натуре. Мне известен случай, когда он сам предложил взаймы без всякой расписки сто рублей знакомому в минуту его острой нужды в деньгах.

Так жил А. Л. в ту пору, когда мы с ним встречались.

Как сейчас помню его красивое, худое лицо со слегка западающими щеками, с темной, чуть седеющей бородой. Его

высокий лоб с откинутыми назад волосами, сосредоточенный взгляд, часто усталый – говорили сразу о том, что это – человек науки. И как это часто бывает у таких отвлеченных людей, далеких от жизни, у него была какая-то детская, искренняя улыбка.

Наука, работа – были его жизнью, глубокие мысли рождались в его мозгу, а наряду с этим его интересовало все в жизни и иногда он упорно останавливал свое внимание на чем-нибудь очень незначительном, простом и житейском. Не оставались без внимания и люди, и прически дам.

Александр Львович любил играть с моей сестрой, прекрасной пианисткой, в четыре руки.

Любил он только Бетховена и Вагнера, и когда играл, увлекался и забывал о времени. Увлекаясь, подпевал, очевидно, уходя от всего окружающего.

У каждого из нас были свои любимые бетховенские сонаты и симфонии, А. Л. особенно любил сонату «Appassionata», а из симфоний – Пятую.

Он очень хорошо знал историю музыки и интересно рассказывал нам о каждом произведении Бетховена.

Иногда рассвет заглядывал в окна нашей гостиной, а они все играли, и часто слушательницей была только я одна. Потом он вдруг сразу обрывал игру и очень поспешно, всегда очень извиняясь, смущенный, уходил.

Его ноты были всегда у нас. Иногда он просил меня петь (я училась пению) итальянские романсы, которые он любил, и сам аккомпанировал мне. ‹…›

Часто у нас собиралась молодежь. Мы всегда приглашали и А. Л. – он нас ничуть не стеснял и даже нередко сам вызывался играть нам штраусовские вальсы. Он живо интересовался нашими шумными «petits jeux» и особенно любил, когда мы устраивали сложные шарады (charades en action). Иногда он сам давал нам темы. Он со вниманием следил за ходом шарады; думал, отгадывал слоги разделенного слова и искренно смеялся финальному заключению шарады. Он отдыхал с нами и отвлекался от своей сложной и трудной работы.

Евгений Александрович Бобров:

Всего курьезней, что несмотря на свою славянофильскую манеру мышления, несмотря на глубокое уважение к исторически сложившейся России, в ее своеобразной государственной форме, – Блок в глазах начальства считался опасным человеком. ‹…›

Можно вообще сказать, что Блока, кроме его прямых учеников по специальности, тех, которых он готовил

к профессуре, никто не ценил, никто не понимал. Только в конце его жизни, уже на моих глазах (я прослужил с ним 6 лет) началось постепенное улучшение его участи. Сначала он получил ординатуру, потом его выбрали в члены библиотечной комиссии, мы в комиссии выбрали его в председатели. Кажется, это было первым его административным повышением, совершившимся благодаря моему настоянию. Потом он стал секретарем факультета, наконец, его выбрали даже в деканы юридического факультета и он стал членом правления университета. В этом звании он и умер.

Умер Блок от чахотки (туберкулеза легких) и сильного истощения. За месяц до смерти, он, наконец, сам понял невозможность оставаться дальше одному на своей одинокой квартире, без отопления, без освещения и еды. Он был уже так слаб, что с трудом мог двигаться; ослабело сердце, опухли ноги, и он добровольно поступил в частную больницу на «Аллее роз», под названием «Дом здоровья». Для него этот дом оказался домом смерти. ‹…›

Я не участвовал в его похоронах, – мне это было чересчур тяжело. Приехали наследники: сын первой жены (урожденной Бекетовой), поэт Ал. Ал. Блок; мать его, сама лично, не приехала, приехала вторая жена – Мария Тимофеевна (урожденная Беляева) со своей дочерью Ангелиной Александровной. И они, и всякого рода посторонние лица, прежде всего полиция, ворвались в неприступную цитадель его квартиры, распотрошили ее и в тюфяке на постели обрели целую калифорнию. Даже по полицейскому счету, как известно, весьма приблизительному, оказалось свыше 80 000 руб. накопленных ценой неимоверных лишений за два с половиной десятка лет. Деньги поделили между собой обе семьи пополам, тело предали погребению, разъехались, разошлись, и на память о Блоке ничего не осталось, кроме нескольких брошюр и газет, совершенно не передающих целиком систему его мышления, которую пытался восстановить, неизвестно с каким успехом и с какой степенью достоверности, его ученик – Спекторский.

Екатерина Сергеевна Герцог:

А. А. задержался после похорон на некоторое время в Варшаве и бывал у нас часто.

Мне сейчас очень трудно вспомнить каждое из этих посещений, и все то, что говорил он, но одно я твердо помню и знаю, что об отце своем он не сказал ни одного недоброго слова и ни одного осуждения или упрека ему, и, хотя, видимо, он не очень был огорчен этой смертью, все же он переживал ее по-

своему.

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета по кафедре государственного права; он скончался 1 декабря 1909 года. Специальная ученость далеко не исчерпывает его деятельности, равно как и его стремлений, может быть менее научных, чем художественных. Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги (не считая литографированных лекций) и последние двадцать лет трудился над сочинением, посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист, – отец мой считал себя учеником Флобера. Последнее и было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил главного труда жизни: свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его.

Мария Андреевна Бекетова:

Ему, впавшему под влиянием второй жены, которая была с одной стороны английского происхождения, чуть не в ханжество, была противна религиозность Александры Андреевны. Он плевал на ее крест, бросал на пол ее Евангелие и, разумеется, злился, когда она молилась. Но какую нужно иметь утонченную жестокость, чтобы бить по лицу, как он это часто делал, нежную, любящую жену, очень молодую, почти ребенка. Между прочим, он бил ее обручальным кольцом. Это кольцо вообще мне памятно. Когда он приходил к жене через несколько лет после разрыва, уже успокоенный, так что не боялись его пускать, он давал о себе знать, стуча в запертую дверь этим кольцом, этот особый звук был для него характерен. Когда я узнала, как обращается Александр Львович с женой, его вид стал внушать мне ужас. Да, в этом человеке было что-то страшное, поистине дьявольское. ‹…›

Он был слишком отвлеченный человек и совсем не знал, как нужно обращаться с детьми, он не умел ни приласкать Сашу, ни позабавить, ни говорить с ним на его детском языке, применяясь к его понятиям, ни подарить ему какую-нибудь игрушку или лакомство. Ребенок, очевидно, чувствовал в нем что-то страшное и глубоко чужое. Дети вообще очень чутки, а маленький Блок был особенно чуток. В этом чужом человеке,

который иногда откуда-то являлся и как будто чего-то ждал от него, не было ничего милого и ничего того, к чему ребенок привык от всех, кто его окружал.

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*
Я встречался с ним мало, но помню его кровно.

Мать Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

Моя мать, Александра Андреевна (по второму мужу – Кублицкая-Пиоттух), переводила и переводит с французского – стихами и прозой (Бальзак, В. Гюго, Флобер, Зола, Мюссе, Эркман-Шатриан, Додэ, Бодлэр, Верлэн, Ришпэн). В молодости писала стихи, но печатала – только детские.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Мать Блока не отличалась красотой. Маленькая, худенькая, с болезненно грустной улыбкой на блеклом лице, она привлекала лишь мягким выражением умных глаз и той нежностью, с которой смотрела на сына.

Андрей Белый:

‹…› Мать Блока – такая какая-то… Какая же? Да такая какая-то – нервная, тонкая, очень скромно одетая (в серенькой кофточке), точно птичка, – живая, подвижная, моложавая: зоркая до… прозорливости, до способности подглядеть человека с двух слов, сохраняющая вид «институтки»; впоследствии понял я: вид «институтки» есть выражение живости Александры Андреевны, ее приближавшей, как равную, к темам общения нашего с Блоком: тот род отношений, которые складывались меж «матерями» и молодым поколением, не мог с ней возникнуть; «отцов и детей» с нею не было, потому что она волновалася с нами, противясь «отцам», не понимая «отцов», – понимая «детей»; скоро мы подружились (позволяю себе так назвать отношения наши: воистину с уважением к А. А. Кублицкой-Пиоттух сочеталась во мне глубочайшая дружба).

Мария Андреевна Бекетова:

Трудно было Александре Андреевне лавировать между противоположными интересами сына и мужа. Оба обращались к ней со своим, и ей приходилось вращаться единовременно в двух разных атмосферах. Эта жизнь на два фронта, как выражалась Александра Андреевна, была очень тяжела; чем дальше, тем труднее становилось ей согласовать свое существование с направлением мужа и сына. Душа ее рвалась к интересам сына. Она была его первым цензором еще в эпоху издания «Вестника». Он доверял ее вкусу, а мать поощряла его

к писанию и делала ему дельные замечания, на которые он всегда обращал внимание. Она сразу почуяла в нем поэта и была настолько близка к новым веяниям в литературе, что могла понимать его стихи, как очень немногие. Если бы не ее поощрение и живой интерес к его творчеству, он был бы очень одинок, так как в то время его поэзия казалась большинству очень странной и непонятной. Его обвиняли, как водится, и в ломанье, и в желании быть во что бы то ни стало оригинальным и т. д. А он никогда не был самоуверен. Как же важно было для него поощрение матери, мнением которой он дорожил, относясь к ней с уважением и доверием! Она же стала показывать его стихи таким ценителям, как семья М. С. Соловьева (брата философа), а через них узнали эти стихи московские мистики с Андреем Белым во главе, и таким образом она была косвенной причиной всех его дальнейших успехов. Впоследствии сын советовался с матерью и при составлении своих сборников. Иногда ей удавалось уговорить его не поддаваться минутному настроению и не выбрасывать те или другие ценные стихи или сохранить какие-нибудь особенно любимые ею строфы, которые он собирался выкинуть или изменить; в других случаях она же браковала его стихи, находя их слабыми или указывая на недостатки отдельных строк и выражений.

Что же сказать еще об их отношениях? Для нее он рано сделался мудрым наставником, который учил ее жизни и произносил иногда беспощадные, но верные приговоры. Она же была его лучшим и первым другом до той поры, когда он женился на сильной и крупной женщине, значение которой в его жизни было громадно. Мать никогда не мешала сыну в его начинаниях. Он поступил на юридический факультет вопреки ее желанию. Она только поддержала его, когда он задумал перейти на филологический факультет, и уговорила кончить университетский курс (в чем тогда он не видел смысла) каким-то простым аргументом. Она никогда не требовала от него блестящих отметок первого ученика и вообще не донимала его излишним материнским самолюбием, а в таком важном деле, как женитьба, была всецело на его стороне.

Надежда Александровна Нолле-Коган *(1888–1966), жена литературоведа профессора П. С. Когана, переводчица:*

Лицо очень болезненное, нервозное, в глазах усталость и печаль, но вместе с тем оно очень одухотворенное, нежное, женственное. Жестоким резцом своим провела жизнь на этом лице скорбные борозды, но высоких душевных, «романтических» движений не угасила, они отражались в глазах, в улыбке.

Евгения Федоровна Книпович:

В этой старой женщине – больной, маленькой, хрупкой – жила какая-то «внеличная» сила. В ней не было ничего «дамского», как в Анне Ивановне Поповой (вдове Д. И. Менделеева, матери Любови Дмитриевны), ни профессорски-светского, как в Александре Дмитриевне Бугаевой – матери Андрея Белого; обе они бывали у меня уже в Москве. В ней ощущалось что-то старинное, дворянское – от 40-х годов, а может быть, и от 30-х, – высокая, наследственная культура, романтизм, изящная насмешливость тех женщин, с которыми дружили Пушкин, Гоголь, Тютчев, Баратынский. ‹…›

Ее коробили даже мои нарочитые «вульгаризмы». Достаточно было сказать, что кто-то «нахлестался» или «просвистался», чтобы она пожаловалась Любови Дмитриевне: «Зачем Женя так говорит! Mais elle n'en a pas le physique!» («Ей это не подходит!»). И если в веселую минуту Блок вспоминал какой-нибудь достаточно невинный эпизод из «жизни богемы», тут же следовала реплика: «Саша, ведь Женя – барышня».

Конечно, в этой щепетильности был и элемент иронической пародии на такую щепетильность, но все-таки реплики не были случайными.

Валентина Петровна Веригина:

Однажды Александра Андреевна была в Мариинском театре. В ту пору перед началом оперных спектаклей исполнялись гимны всех союзных наций. Как раз на другой день я зашла к Кублицким, и Александра Андреевна заговорила об этом. Она сказала, что больше всего по музыке ей нравится русский гимн, а «Марсельеза» возмущает своей внешней эффектностью. Мать Блока не любила французов, находя их поверхностными и легкомысленными, называла часто «французишки». Русскому гению близок гений немецкий, говорила она, «это неестественно, что мы воюем с немцами».

Мария Андреевна Бекетова:

Она сразу приняла в свое сердце его невесту, а потом полюбила его жену, как и всех, кого он любил. Она относилась к Люб‹ови› Дм‹итриевне› совершенно особенно: смотря на нее глазами сына, бесконечно восхищалась ее наружностью, голосом, словечками и была о ней высокого мнения. Несмотря на это, отношения их не имели сердечного характера.

Любовь Дмитриевна Блок:

Всегда Александра Андреевна врывалась в мою жизнь и вызывала на эксцессы. Бестактность ее не имела границ и с первых же шагов общей жизни прямо поставила меня на дыбы от возмущения. Например: я рассказала первый год моего невеселого супружества. И вдруг в комнату ко мне влетает Александра Андреевна:

«Люба, ты беременна!» – «Нет, я не беременна!» – «Зачем ты скрываешь, я отдавала в стирку твое белье, ты беременна!» (Сапогами прямо в душу очень молодой, даже не женщины, а девушки.) Люба, конечно, начинает дерзить: «Ну, что же, это только значит, что женщины в мое время более чистоплотны и не так неряшливы, как в ваше. Но мне кажется, что мое грязное белье вовсе не интересная тема для разговора». Поехало! Обидела, нагрубила и т. д. и т. д.

Или во время нашего злосчастного житья вместе в трудный 1920 год. Я в кухне, готовлю, страшно торопясь, обед, прибежав пешком из Народного дома с репетиции и по дороге захватив паек эдак пуда в полтора-два, который принесла на спине с улицы Халтурина. Чищу селедки – занятие, от которого чуть не плачу, так я ненавижу и запах их, и тошнотворную скользкость. Входит Александра Андреевна. «Люба, я хочу у деточки убрать, где щетка?» – «В углу на месте». – «Да, вот она. Ох, какая грязная, пыльная тряпка, у тебя нет чище?» У Любы уже все кипит от этой «помощи». «Нет, Матреша принесет вечером». – «Ужас, ужас! Ты, Люба, слышишь, как от ведра пахнет?» – «Слышу». – «Надо было его вынести». – «Я не успела». – «Ну, да! Все твои репетиции, все театр, дома тебе некогда». Трах-та-ра-рах! Любино терпенье лопнуло, она грубо выпроваживает свою свекровушку, и в результате – жалобы Саше – «обидела, Люба меня ненавидит…» и т. д.

Самуил Миронович Алянский:

Это было в первых числах апреля 1921 года. Я пришел на Офицерскую, как всегда, вечером. Дверь открыла Александра Андреевна. После приветствий она сказала:

– Сашеньки нет дома, он предупредил, что запоздает, его вызвали на какое-то заседание. Любы тоже нет дома. Посидите у меня, пока Сашенька вернется.

Александра Андреевна заботливо усадила меня, про все расспросила, вспомнила, что последний ее рассказ был об увлечении Блока актерской игрой. Не спеша она продолжала прерванный рассказ о шекспировских спектаклях в Боблове (соседнее с Шахматовом имение Д. И. Менделеева) и о начавшейся дружбе Блока с Любовью Дмитриевной

Менделеевой.

Когда речь зашла о том, как Блок волновался всякий раз, примеряя свой театральный костюм и накладывая грим, голос Александры Андреевны начал вдруг падать, и последние слова она произнесла так тихо, что ее едва было слышно. Я подумал, что ей сделалось дурно, и бросился принести воды, но Александра Андреевна остановила меня:

– Ничего, ничего, мне показалось…

Скоро голос ее опять окреп, и она продолжала рассказ. Но ей все время что-то мешало, она несколько раз останавливалась, к чему-то прислушивалась: видно, что-то ее тревожило.

– Знаете, с Сашенькой что-то случилось, – чуть слышно проговорила она, при этом голова ее поникла, глаза закрылись и пальцы она прижала к вискам.

Я подумал, что Александра Андреевна напрягается, чтобы увидеть или представить себе, что именно случилось с Сашенькой.

В таком положении она оставалась минуту или две, потом вдруг подняла голову, широко раскрыла глаза, повернулась лицом к двери и воскликнула:

– Сашенька, что случилось с тобой?

Машинально вслед за Александрой Андреевной я тоже повернул голову, но дверь по-прежнему была закрыта, и только спустя минуты две я услышал, как хлопнула входная дверь с лестницы, резко раскрылась дверь в комнату, и неожиданно вбежал бледный и крайне взволнованный Александр Александрович.

Мария Андреевна Бекетова (тетка Блока) как-то рассказывала, что Александра Андреевна и ее сын обладают способностью предвидеть какие-то события и на расстоянии чувствуют тревогу и волнение друг друга. Тогда я скептически отнесся к такой способности, хотя и замечал иногда за Александрой Андреевной необычную тревожную впечатлительность.

Сейчас я убедился, что контакт между матерью и сыном на расстоянии действительно существовал.

Валентина Петровна Веригина:

Незадолго до смерти Александра Александровича, будучи не в состоянии выдержать дальше разлуку с больным сыном, мать его приехала в Петербург. Когда она пришла к Блоку, Любовь Дмитриевна не пустила ее в квартиру, стояла с ней на лестнице и упросила отложить свидание с сыном, уверяя, что волнение плохо отразится на его здоровье. Александра Андреевна

подчинилась этому требованию и уехала, но ей не пришлось уже больше увидеться с Александром Александровичем, так как он вскоре умер. Я не заговаривала об этом случае с Любовью Дмитриевной, впоследствии она рассказала мне о нем сама. Между прочим, она говорила, что мать убийственно действовала на Блока во время болезни. После свидания с ней ему становилось значительно хуже. И раньше, всякий раз, когда настроение Александры Андреевны бывало подавленным, когда она нервничала, это отражалось на настроении сына, и обратно. Они неизменно заражали друг друга своей нервозностью. Люба говорила еще, что во время болезни, несмотря на сильную привязанность к матери, Блок не выражал желания видеть ее близ себя. Он хотел присутствия одной Любы, по ее словам, для нее самой было очень тяжело то, что она была вынуждена отговорить Александру Андреевну увидеться с сыном, но я надеялась, говорила Любовь Дмитриевна, что он поправится, а тут мне казалось, что свидание это его окончательно убьет. Сама Александра Андреевна простила ей, это доказывает вышеприведенная запись: «Люба меня любит…», и т. д. Действительно, после смерти Блока Любовь Дмитриевна очень заботилась о его матери, окружала ее вниманием и лаской.

Мария Андреевна Бекетова:

Для тоскующей матери было великой отрадой говорить с невесткой о сыне, тем более что Любовь Дмитриевна имела свойство успокаивать ее нервную тревогу немногими словами, взглядом или улыбкой.

Александра Андреевна пережила сына на полтора года. Жизнь ее после этой потери была так мучительна, что только высоко понятое чувство долга перед памятью сына и покорность высшей воле удержали ее от самоубийства. До начала мая 1922 года сестра моя жила еще сносно, так как она могла работать: она целые дни переписывала своим изящным почерком рукописи сына, предназначенные для печатания в полном собрании его сочинений, а также переписала и проредактировала первую половину моей биографии. Но именно эта усиленная работа и частые хождения на кладбище, иногда пешком (с Пряжки на Смоленское), подорвали ее силы. 6-го мая у нее сделался легкий удар, после которого она стала заметно слабеть. Речь, которую она потеряла в первые дни после удара, не вполне к ней вернулась. Она говорила, но с большим напряжением воли, а главное не могла работать и гораздо реже бывала на кладбище, так что жизнь ее стала еще тяжелее. 22-го февраля у нее сделалась закупорка околосердечной вены, а 25-го февраля

исполнилось ее горячее желание: она ушла из жизни туда же, куда ушел и безмерно любимый сын ее, ее «ребенок», как она часто его называла.

Отчим Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух

Андрей Белый:

Я Франца Феликсовича в это время не знал: он, всегда такой тихий и добрый, всегда благородный, являлся со службы, вступая в пространство оранжево-розовой комнаты с видом, который мог значить одно:

– Я же знаю, что тут вы беседуете о материях деликатных: нет-нет, не помешаю, – пожалуйста, не обращайте внимания.

И тщедушной фигуркою, в невоенно сидящем военном мундире, склонив над тарелкою нос, как у дятла, пощипывал узенькую бородку и ясно поглядывал черными кроткими глазками (чуть – себе на уме!): ну, кого мог убить он? Волнение Александры Андреевны за мужа я понял позднее лишь.

Мария Андреевна Бекетова:

‹…› В нем не было ничего такого, что действует на воображение: ни красоты, ни удали, ни военного шика, ни сильного темперамента. Это был скромный труженик буржуазного склада, всецело преданный служебному долгу, человек серьезный и далеко не глупый, с верным сердцем, способным на глубокие привязанности, но совершенно лишенный воображения и поэзии.

Сергей Михайлович Соловьев:

Худой, поджарый, высокий, с черными усами и кроткими черными глазами, мягкий, деликатный и в то же время убежденный военный, бравый, смелый, обожаемый солдатами. В 1915 году он командовал на южногалицийском фронте и вернулся в Петербург в шинели, забрызганной кровью. При этом он всегда болел туберкулезом легких и кашлял.

Мария Андреевна Бекетова:

Ал. Андр. помирилась бы со всеми недостатками его характера и пробелами его образования и развития, тем более, что в нем были качества, редкие для военного человека: ни малейшего фанфаронства, никакого презрения к «штрюкам» (он даже никогда не произносил этого слова), великое уважение к науке, к которой у него были, между прочим, серьезные склонности, уважение к литературе, в которой он был совершенный профан. Он прекрасно относился к нашей семье,

отличался необыкновенной простотой, отсутствием ложного стыда и излишнего самолюбия, и бывал очень мил в интимном кругу, когда чувствовал вокруг себя благожелательную атмосферу. Прибавлю к этому, что он был далеко не заурядный офицер – честный и очень знающий, к обязанностям своим он относился с редкой добросовестностью, все, что касается службы, устава, военных сведений, изучал досконально, к солдатам относился прекрасно: чрезвычайно заботливо и серьезно; правда, он был не прочь от зуботычин, но таковы уж были традиции тогдашней военной среды, а впрочем от этой привычки быстро отучила его жена, которая вообще имела на него хорошее влияние. Солдаты его любили и уважали, и вообще он был человек, вполне достойный уважения, хотя и неинтересный. Повторяю, что сестра моя простила бы ему и отсутствие поэзии и литературности, и все остальное – если бы он полюбил Сашу. Но этого-то и не было…

Андрей Белый:

В тот день ‹…› разговор все вертелся вокруг происшествий; и раздавались слова, очень прямо клеймящие подлых расстрельщиков ‹…›; мне было неловко; старался быть сдержанней я; но А. А., как нарочно, с приходом тишайшего Франца Феликсовича говорил все решительней; мне казалося: тоном старался его – подковырнуть, уязвить, отпуская крепчайшие выражения по адресу офицерства, солдатчины, солдафонства, не обращая внимания на Ф. Ф., будто не было вовсе его, – будто мы не сидели в Казармах; как-никак, Франц Феликсович, защищавший какой-то там мост, мог быть вынужденным остановить грубой силой толпы (к великому облегчению Александры Андреевны, этого не произошло); но я думаю, что Ф. Ф. не отдал бы приказа стрелять, предпочтя, вероятно, арест; с каким видом вернулся бы он в этот дом, так решительно, революционно настроенный; да и сам он с презрением относился к «солдатчине»; тем не менее: факт стоянья Ф. Ф. у какого-то моста с отрядом все время нервил А. А.; крепко, несдержанно он выражался, бросая салфетку; и – чувствовалась беспощадность к Ф. Ф.

Я заметил в А. А. этот тон беспощадности по отношению к отчиму и в других проявлениях; мне показалось: его недолюбливал он; и – без всякого основанья, как кажется; раз он сказал:

– Франц Феликсович, Боря, – не любит меня.

– Таки очень… – прибавил с улыбкой он.

Но этого – я не видел, не чувствовал даже; наоборот:

постоянно я видел уступчивость, предупредительность, мягкость, хотя Александра Андреевна поговаривала, что Ф. Ф. очень вспыльчив.

– Он может кричать – очень страшно!

Но был он отходчив.

Я думаю, что отчужденность меж отчимом и его неприемлющим пасынком – отчужденность кругов, воспитанья, привычек; А. А. был профессорского, литературного круга; а Ф. Ф. – был военный, *«служака»*; и он, понимая свое положение в доме, – во всем уступал и не вмешивался ни во что.

Владимир Пяст:

Между прочим, скромнейший, болезненный человек, совсем не военного вида и очень мирно настроенный. Блок мне признался, что я верно отгадал, что «Рыцаря-Несчастье» (Бертрана) из «Розы и Креста» он списал главным образом с него, – имея портрет Франца Феликсовича перед своими умственными очами.

Сводная сестра Ангелина Александровна Блок

Екатерина Сергеевна Герцог:

С Ангелиной я сразу подружилась. Это была прелестная, милая девушка, умная, развитая. Внешность ее очень подходила к ее имени. Я звала ее Ангелочком.

Ко мне она почему-то сразу почувствовала симпатию. Мы проводили с ней целые часы в интересных беседах. Об отце она говорила мало, так как мало и знала его, но жалела его искренно.

Возвратившись в Петербург, она писала мне письма на отвлеченные темы красивым слогом и всегда под конец выражала надежду на встречу. Но видеться нам, к сожалению, так и не удалось…

К брату у нее было какое-то благоговейное чувство; она гордилась им, но слишком он был сложная натура, чтобы быть только родственным, только семьянином и братом. Мы все знаем, что прежде всего он был поэтом. Ангелина писала мне, что виделись они редко и что он очень занят.

Между прочим, встреча дочери и сына очень волновала А. Л. (Блок, отец. – *Сост.*) Как ни странно, но он очень часто серьезно говорил о том, что боится этой встречи и возможного увлечения детей друг другом.

– Как это бывает в романах, – говорил он. ‹…›

И случилось так, что Ангелина у нас познакомилась с своим братом, за завтраком. Она очень волновалась, ожидая эту встречу. Поздоровались они сердечно, просто, но было странно подумать: что мешало брату и сестре увидеться гораздо раньше, живя в одном и том же городе?

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Блок. Варшава, 9 декабря 1909 г.:*

Моя сестра и ее мать настолько хороши, что я даже чувствую близость к ним обеим. Ангелина интересна и оригинальна и очень чистая, но совсем ребенок, несмотря на 17 лет.

Жена
Любовь Дмитриевна Блок

Любовь Дмитриевна Блок:

Я была по складу души, по способу ощущения и по устремленности мысли другая, чем соратники Блока эпохи русского символизма. Отставала? В том-то и дело, что теперь мне кажется – нет. Мне кажется, что я буду своя в ней и почувствую своей – следующую, еще не пришедшую эпоху искусства. Может быть, она уже во Франции. Меньше литературщины, больше веры в смысл каждого искусства, взятого само по себе. Может быть, от символизма меня отделяла все же какая-то нарочитость, правда, предрешенная борьбой с предшествующей эпохой тенденциозности, но был он гораздо менее от этой же тенденциозности свободен, чем того хотел бы, чем должно искусству большой эпохи.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Крупная, высокая, с румяным лицом и тяжелым узлом бронзовых волос, жена Блока резко характерными чертами наружности сильно напоминала своего знаменитого отца. У Л. Д. были узкие отцовские «монгольские» глаза, строгий, исподлобья взгляд которых соответствовал ее волевому складу, и «отцовская» сутулая посадка плеч.

Иоганнес фон Гюнтер:

Чуть ниже его, стройная, светловолосая, очень красивая. Но это какая-то несовременная красота, красота восемнадцатого столетия. Держится она уверенно, и несмотря на свою молодость очень женственна. Жизнь принадлежит ей полностью, и она это знает. Она приветливее и веселее и, во всяком случае, куда решительнее, чем Блок. Сразу видно, что она умна, несмотря на свою грациозную привлекательность. Но изящества в ней нет: ее красивые руки чуть-чуть велики и несколько широк ее мягкий спокойный рот.

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

Она несомненно его любит, но ее «вечная женственность», по-видимому, чисто внешняя. Нет ни кротости, ни терпения, ни тишины, ни способности жертвовать. Лень, своенравие, упрямство, неласковость, – Аля прибавляет – скудость и заурядность; я боюсь даже ей сказать: уж не пошлость ли все

эти «хочу», «вот еще» и сладкие пирожки. При всем том она очень умна, хоть совсем не развита, очень способна, хотя ничем не интересуется, очаровательна, хотя почти некрасива, правдива, прямодушна и сознает свои недостатки, его любит, и порою у нее бывают порывы раскаяния и нежности к Але.

Евгения Федоровна Книпович:

Когда я училась в гимназии Э. П. Шаффе (ныне школа имени Е. Д. Стасовой), там еще бытовало предание, как лет десять или двенадцать тому назад ученица Любовь Менделеева во время урока пустила в стену класса чернильницей. Когда еще лет шесть спустя я спросила Любовь Дмитриевну Блок, имел ли место такой лютеровский демарш и что его вызвало, она подтвердила, что она действительно это сделала, «потому что уж очень было скучно».

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Чисто внешне и по крайне своеобразному складу своего характера Л. Д. была, очевидно, тем женским типом, который наиболее отвечал основным требованиям, предъявлявшимся Блоком к «спутнице жизни».

Для Л. Д. были характерны то же внешнее уверенное спокойствие и та же сдержанность, которые составляли свойства и самого Блока. У нее был упрямый, настойчивый характер, и она очень трезво и просто подходила к решению сложных жизненных вопросов. У Л. Д. были устойчивые, определенные взгляды, большая культура и живой интерес к искусству. Попав в полосу утверждения нового театра, с деятелями которого ее связывали узы дружбы, Л. Д. всю последующую жизнь упорно стремилась стать актрисой. Но ее достоинства в жизни – внушительность ее фигуры, размеренные, спокойные движения, яркая характерность облика, – все эта как-то проигрывало на подмостках, и, сыграв две-три удачные роли, она была принуждена затем навсегда покинуть сцену.

Эти постоянные творческие неудачи сильно уязвляли ее, тем более что Л. Д. не хотела быть только «женой знаменитого поэта».

Всю жизнь она судорожно металась от одного дела к другому, чего-то искала и попеременно увлекалась то изучением старинных кружев, то балетом, то цирком, то чем-то еще, на что уходили не только ее силы и средства, но и ее несомненная природная даровитость. Подобная, крайне ненормальная семейная обстановка губительно отзывалась на самом Блоке. Его домашняя жизнь постепенно приобрела холостой и безбытный характер, и Ал. Ал. не раз затем с большой горечью отмечал образовавшуюся вокруг него роковую пустоту.

Евгения Федоровна Книпович:

В «бекетовском» она не принимала попытку спрятаться от жизни, от перемен, властно вторгающихся в жизнь. Она нападала даже на фамильные черты внешности родных мужа, на ту породистую некрасивость, какую с такой точностью показал Блок, набрасывая в статье «Михаил Александрович Бакунин» портрет своего героя. Была тут и ревность, но было и зверушечье и детское чутье реальной опасности.

Бескорыстная и щедрая, под стать мужу, готовая легко и без «нажима» поделиться последним, она вместе с тем вряд ли была доброй.

Я никогда не понимала (и не притворялась, что понимаю) тех мистических переживаний, которые стоят за искусством в «Стихах о Прекрасной Даме». «Божественного» в Любови Дмитриевне я никогда не ощущала. Но человеческий ее масштаб, масштаб личности – был огромен. И особой ее чертой была та детскость, которую неустанно отмечал в дневниках, письмах, разговорах ее муж. Это была именно детскость, а не инфантильность прелестного, беспомощного создания (как в «Ариадне» Чехова – «Жан, твою птичку укачало!»).

Блок много рисовал – все непритязательные, юмористические рисунки. И Любовь Дмитриевна – «маленькая Бу» (ее он рисовал больше всего) – всегда изображена на них как девочка в детском платьице, с детской важностью, но и с суровой настороженностью вступающая в «мир взрослых».

И какой-то «игрой в песочек» было ее коллекционирование старинных кружев и фарфоровых черепков («Би-и-тое, рва-аное», – нараспев комментировал ее находки Блок), и увлечение французским театром, вернее, великолепным французским языком актеров этого театра, так как пьесы – это Любовь Дмитриевна отлично понимала – были третьесортными. Выбор пьес она пыталась даже объяснить. И об этом сохранилась запись в моем дневнике. Блок поддразнивал жену за восхищение премьершей французской труппы – Анриэтт Роджерс. «Вдруг Любовь Дмитриевна: „Саша, что это я вчера такое умное сказала – про то, почему она только дрянь играет? (Хватается за лоб.) Вот забыла! Саша, что же это было? Такое умное!“ Он смеется с бесконечной нежностью, показывая мне на нее глазами. Я тоже смеюсь».

Любовь Дмитриевна не выносила интеллигентского словоблудия на религиозно-философские темы, чувствительной откровенности с «тремоло в голосе». Юмор ее не походил ни на тонкую, старинную насмешливость Александры Андреевны,

ни на внешне холодный, без улыбки, «английский» юмор Блока. Она и здесь «рубила сплеча», не щадя ни правого, ни виноватого.

Александр Александрович Блок. *Из дневника:*

18 февраля ‹1910›. Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей. Люба создала всю эту невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть. Люба выталкивает от себя и от меня всех лучших людей, в том числе – мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же таким дурным человеком, как ее отец, мать и братья. Хуже, чем дурным человеком – страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как весь ее поповский род. Люба на земле – страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но – 1898–1902 ‹годы› сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее.

Путь

Детство

Мария Андреевна Бекетова:

Он был живой, неутомимо резвый, интересный, но очень трудный ребенок: капризный, своевольный, с неистовыми желаниями и непреодолимыми антипатиями. Приучить его к чему-нибудь было трудно, отговорить или остановить почти невозможно. Мать прибегала к наказаниям: сиди на этом стуле, пока не угомонишься. Но он продолжал кричать до тех пор, пока мать не спустит его со стула, не добившись никакого толка.

До трехлетнего возраста у Саши менялись няньки, все были неподходящие, но с трех до семи за ним ходила одна и та же няня Соня, после которой больше никого не нанимали. Кроткий, ясный и ровный характер няни Сони прекрасно действовал на мальчика. Она его не дергала, не приставала к нему с наставлениями. Неизменно внимательная и терпеливая, она не раздражала его суетливой болтливостью. Он не слыхал от нее ни одной пошлости. Она с ним играла, читала ему вслух. Блок любил слушать пушкинские сказки, стихи Жуковского, Полонского, детские рассказы. «Степку-растрепку» и «Говорящих животных» знал наизусть и повторял с забавными и милыми интонациями. Играл он всего охотнее в «кирпичики», в некрашеные деревянные чурочки, из которых дети обыкновенно складывают дома, а в его играх они изображали конки, людей, кондукторов, лошадок. ‹…›

В раннем детстве, так лет до трех, все звали Сашу Бибой. Это название, конечно, придумала его мать.

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

Детство мое прошло в семье матери. Здесь именно любили и понимали слово; в семье господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, по-верлэновски, преобладание имела здесь eloquence[6]; одной только матери моей свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к musique[7] находили поддержку у нее. Впрочем, никто в семье меня никогда не преследовал, все только любили и баловали. Милой же старинной eloquence обязан я до гроба тем, что литература началась для меня не с Верлэна и не с декадентства вообще.

Первым вдохновителем моим был Жуковский. С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем. Запомнилось разве имя Полонского и первое впечатление от его строф:

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен. Мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад.

«Жизненных опытов» не было долго. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками и елками – и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы. Лишь около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, и рядом – приступы отчаянья и иронии, которые нашли себе исход через много лет – в первом моем драматическом опыте («Балаганчик», лирические сцены).

Мария Андреевна Бекетова:

Теперь как раз будет кстати сказать о первом Сашином чтении, но для этого мне придется вернуться немного назад. По более точным справкам оказывается, что Саша выучился читать не в 4 года, как сказано в моей биографии, а годам к пяти. Этому научила его в первый год по возвращении из-за границы наша бабушка, А. Н. Карелина, которая жила с нами и на Ивановской. В те часы, когда Саша оставался один в ее комнате, она по секрету от его матери, с которой была в великой дружбе, стала показывать ему буквы по рассыпной азбуке. Он очень скоро одолел грамоту, и прабабушка с торжеством показала его искусство Сашиной маме. Писать же он выучился сам совершенно незаметно, писал сначала печатными буквами, а потом и писаными.

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

«Сочинять» я стал чуть ли не с пяти лет. Гораздо позже мы с двоюродными и троюродными братьями основали журнал «Вестник», в одном экземпляре; там я был редактором и деятельным сотрудником три года.

Мария Андреевна Бекетова:

С семи лет, еще при няне Соне, Саша начал увлекаться писанием. Он сочинял коротенькие рассказы, стихи, ребусы и т. д. Из этого материала он составлял то альбомы, то журналы, ограничиваясь одним номером, а иногда только его началом. Сохранилось несколько маленьких книжек такого рода. Есть «Мамулин альбом», помеченный рукою матери 23 декабря 1888 года (написано в 8 лет). В нем только одно четверостишие, явно навеянное и Пушкиным, и Кольцовым, и ребус,

придуманный на тот же текст. На последней странице тщательно выведено: «Я очень люблю мамулю». Весь альбом, формата не больше игральной карты, написан печатными буквами. «Кошачий журнал» с кораблем на обложке и кошкой в тексте написан уже писаными буквами по двум линейкам. Здесь помещен только один рассказ «Рыцарь», неконченный. Написан он в сказочном стиле. Упомяну еще об одной книжке, составленной для матери и написанной печатными буквами. На обложке сверху надпись: «Цена 30 коп. Для моей крошечки». Ниже: «Для моей маленькой кроши». Еще ниже – корабль и оглавление. В тексте рассказик «Шалун», картина «Изгородь» и стишки «Объедала»:

Жил был Маленький коток,
Съел порядочный
Пирог.
Заболел тут животок –
Встать с постели
Кот не мог.

Анна Ивановна Менделеева:

Вот идет маленький человек с огромными темными очками, утонувший в длинной шубе, с непомерным меховым воротником. Это «Кот Мурлыка», проф. Николай Петрович Вагнер. В кармане он всегда носит свою любимицу – белую крысу, которая пользуется большой свободой: часто выползает из кармана на воздух, выставляя свою белую мордочку с розовыми ушками, к великому удовольствию ребят, которых в коридоре бывало всегда множество. В толпе их выделяется фигурка в синем пальто белокурого мальчика с огромными светлыми глазами, с приподнятой верхней губкой. Он молча внимательно осмотрел крысу, так же серьезно и внимательно перевел взгляд на стоящую рядом маленькую синеглазую розовую девочку в золотистом плюшевом пальто и шапочке, из-под которой выбивались совсем золотые густые волосики. Девочка с растопыренными, как у куклы, ручками, в крошечных белых варежках, упивалась созерцанием крысы, высматривавшей из-под полы шубы профессора. Оба ребенка были со своими нянями, которые поздоровались и заставили сделать то же самое детей. Белая варежка мальчика потянулась к такой же варежке девочки. Это был маленький Саша Блок и его будущая жена Люба Менделеева.

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух:

В детстве и ранней молодости у Саши не было настоящих

близких товарищей. Сперва участниками его игр были мы, его младшие двоюродные братья, и другие родственники нашего возраста. Товарищ по гимназии Н. В. Гун едва ли мог быть действительно близок Блоку, так как по всем своим привычкам и вкусам был далек от духа и интересов, господствовавших в бекетовской семье. Точно так же случайна и кратковременна была неожиданно возникшая дружба с кадетом, а затем молодым офицером В. В. Греком. Нелюдимость Блока начинала сказываться уже в довольно ранних годах.

Мария Андреевна Бекетова:

Первыми Сашиными товарищами оказались его двоюродные братья Кублицкие, сыновья сестры Софьи Андреевны. Старший, Феликс, известный в семье под именем Фероля (уменьшительное, придуманное Сашей), на три года его моложе, меньшой, Андрюша, – на пять лет.

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух:

В раннем детстве одной из любимых наших игр была игра в поезда. Все скамейки в саду были названы по имени больших буфетных станций б‹ывшей› Николаевской, ныне Октябрьской железной дороги, которую мы хорошо знали и любили. Первая, ближайшая к дому, скамейка под кустом акации называлась «Любань», далее шла «Малая Вишера», две скамейки посреди главной липовой аллеи изображали Бологое, затем шли и другие станции на дальней дорожке, в березовом кругу и т. д. Игра заключалась в том, что, прижав к ребрам локти согнутых рук и выбрасывая их вперед наподобие поршней, мы бежали по дорожкам, останавливались у станций-скамеек, маневрировали, встречаясь друг с другом, гудели дикими голосами.

Одно время очень сильно увлекались крокетом, но потом он всем надоел.

Устроенная на лужайке «гимнастика» привлекала Сашу: он любил проделывать упражнения на кольцах и на трапеции.

Мы часто катались верхом. На деревенских лошадках изъездили мы все окрестности на расстоянии десяти – пятнадцати верст от Шахматова. У каждого было свое английское седло с особым потником, уздечкой и стеком.

Саша всегда старался забраться куда-нибудь подальше, в новые места, на глухие лесные дороги. Он любил открывать новые виды и дали, которыми так богата эта часть Московской губернии. Большей частью эти поездки совершались под вечер, когда спадала жара и лошадей меньше беспокоили мухи

и слепни. Домой возвращались уже почти в темноте. Вставала красная полная луна, туман белой пеленой стлался вдоль реки и подбирался к усадьбе. Приближаясь к дому, мы любили устраивать скачки, не щадя усталых лошадей. Саша, на своем сером, более крупном Мальчике, обычно обгонял нас с братом. Конь этот был с норовом: в молодости его долго держали в темной конюшне и потому зрение его было испорчено; он пугался всего и шарахался в сторону, но Саша привык к его замашкам и справлялся с ним довольно хорошо.

В гимназии

Мария Александровна Грибовская, *жена профессора Санкт-Петербургского университета В. М. Грибовского:*

Пришла пора отдавать «Сашуру» в гимназию, и студент В. М. Грибовский, близко знавший семью Бекетовых, предложил для облегчения зимних занятий теперь же, летом, приступить к латинскому языку. Жадно принялся мальчик за новый предмет, восхищая порой своего учителя меткими сравнениями, блестящей памятью.

Рим с его героической историей, с его походами, с его дивными архитектурными памятниками не давал мальчику покоя. Стали замечать, что Сашура куда-то исчезает. Приехали как-то раз соседи: профессора Фаминцын и Менделеев со своей маленькой дочкой, сделавшейся впоследствии женой поэта. Все разбрелись по саду искать мальчика, а он в выпачканном матросском костюме, весь потный, в овраге, усердно проводит римские дороги и акведуки.

– Мне еще нужно в стороне от терм Каракаллы закончить «Via Appia», сейчас приду, – пояснил будущий поэт.

Мария Андреевна Бекетова:

В августе 1889 года отправились поступать в гимназию. Впоследствии она была переименована в гимназию Петра I, а в то время она носила название Введенской. Помещается она на Большом проспекте Петербургской стороны, и мать выбрала ее потому, что ходить приходилось недалеко и на пути не было мостов, а стало быть, меньше шансов для простуды. Грибовский приготовил мальчика в первый класс. Саша выдержал вступительный экзамен, но гимназия и вся ее обстановка произвели на него тяжелое впечатление: товарищи, учителя, самый класс – все казалось ему диким, чуждым, грубым. Потом он привык, оправился, но мать поняла свою ошибку: нельзя было отдавать его в гимназию в таком нежном, ребячливом возрасте и из такой исключительной обстановки. ‹…›

Учился он неровно. Всего слабее шла арифметика, вообще математика. По русскому языку дело шло гладко, что не помешало одному курьезному случаю: Блок принес матери свой гимназический дневник, как назывались в то время тетрадки с недельными отчетами об успехах и поведении, и в этом дневнике мать прочла следующее замечание: «Блоку нужна помощь по русскому языку». Подписано: «Киприанович». Так звали их учителя русской словесности, ветхого старца

семинарского происхождения. Мать посмеялась и оставила эту заметку без внимания. Что руководило тогда этим Киприановичем – сказать трудно.

Атмосфера Сашиного детства настолько развила его в литературном отношении, что гимназия со своими формальными приемами, разумеется, ничего не могла ему дать. Но древними языками он прямо увлекся. Тут и грамматика была ему мила, а когда он в средних классах начал переводить Овидия, учитель стал щедро осыпать его пятерками, что и помогло ему хорошо окончить курс в 1898 году.

Самуил Миронович Алянский:

Я начал рассказ о себе с того, что первые три класса учился во Введенской гимназии, а с четвертого перешел в гимназию Столбцова.

Вдруг Блок остановил меня вопросом:

– Вы учились во Введенской гимназии? Ведь я тоже там учился, я окончил Введенскую. Скажите, каких преподавателей вы там запомнили?

Я назвал несколько фамилий и среди них преподавателя русского языка Ивана Яковлевича Киприяновича и латиниста, фамилию которого никто из гимназистов не знал, все звали его просто Арноштом; было ли это имя или прозвище, не помню.

Александр Александрович оживился, улыбнулся и сказал:

– Очень интересно. Ведь я тоже учился у Киприяновича и Арноштa очень хорошо помню. Киприянович, должно быть, при вас совсем уже старенький был, при мне уже он был седым. Знаете, я у него по русскому языку никогда больше четверки получить не мог. А у вас какая отметка была по русскому?

И дернуло меня сказать, что у меня была пятерка! Но тут же, спохватившись и поняв всю чудовищную нелепость моей пятерки по русскому рядом с четверкой поэта Блока, я сконфузился и поспешил добавить, что моя пятерка была не за грамоту, а за хороший почерк, который Киприянович высоко ценил.

Мария Андреевна Бекетова:

Приехав в Петербург в августе, Саша написал матери, остававшейся еще некоторое время в Шахматове, обстоятельное письмо с описанием своих гимназических занятий. Письмо от 20 августа 1897 года. Саше было около 17 лет. Начинается с описания неинтересных домашних дел и подробного описания уроков в гимназии. Потом идет более интересная часть:

«…Сегодня на французском языке кричали: Vive la France! Vive Felix Faure![8] Француз был доволен и благодарил. Он знает,

где Наугейм, чего я не ожидал от него; он дурак вообще. На гимнастике нам сказали, что мы основа гимназии, на что мы отвечали мяуканьем (по обыкновению!). Космографии учитель новый, зовут его «Сиамец», говорят, он свинья… это покажет будущее!.. Грек и латинист по-прежнему благоволят ко мне. Кучеров притащил из Финляндии огромный финский нож и подарил его мне. Галкину он подарил такой же. Он очень удобен для роли Ромео (т. е. не Галкин, а нож). Мы было сидели в старом классе, но нас переводят в помещение восьмого. Там мы в своей компании, а именно: направо Кучеров, затем по сторонам Галкин, Лейкин, Фосс, Гун и др. Класс огромный (для восьмого) – 34 человека! Выпуск будет особенно большой… Сегодня я ехал в конке и видел артиста и артистку. Они ехали на Финляндский вокзал и рассуждали о том, как трудна такая-то партия, и о других интересных вещах… Гимназия надоела страшно, особенно с тех пор, как я начал понимать, что она ни к чему не ведет… Ты просила меня писать про настроение: оно было все время хорошее, но теперь скверное, отчасти от погоды, а также от других причин. Гимназия совсем не вяжется с моими мыслями, манерами и чувствами. Впрочем, что ж? Я наблюдаю там типы купцов, хлыщей, забулдыг и пр. А таких типов много, я думаю, больше и разнообразнее, чем в каком-нибудь другом месте (в другой гимназии)…»

Анна Ивановна Менделеева:

Шли годы. Саша стал гимназистом, учился, как я слышала, хорошо. Дома товарищами его игр были двоюродные братья, Фероль и Андрей Кублицкие. Саша был живой; способный мальчик, он был старший и руководил всеми играми и предприятиями. Игры его были играми интеллигентного ребенка. Он очень любил представления; знал уже Шекспира, к которому всегда имел особое влечение. Раз мать его попала на следующую сцену: Саша усадил свою маленькую кузину на шкаф, приставил к шкафу лестницу, а внизу на полу поставил младшего двоюродного братишку; они должны были изображать Ромео и Юлию; говорил за них он сам. Бедной Юлии было очень неловко на шкафу, но ослушаться Сашу она не могла и послушно выполняла, что он ей приказывал. Освобождение явилось в лице матери Саши. Затеял он как-то издавать журнал; все члены семьи, начиная с дедушки, были сотрудниками, а он сам сотрудником и редактором. Журнал издавался несколько лет и хранится в семье. В этот период я мало видела Сашу; один только раз, когда ему было лет тринадцать, Андрей Николаевич привез его к нам в Боблово. Дети мои были еще очень маленькие; они

занимали старшего гостя, как могли: играли в крокет, ходили смотреть «дерево капитана Гранта», забрались в дупло дуба, в котором стоял стул и маленьких могло поместиться несколько человек, словом, осмотрели все достопримечательности. Расстались друзьями, но в Петербурге не виделись.

Мария Андреевна Бекетова:

В последних классах гимназии Блок начал издавать рукописный журнал «Вестник». Редактором был он сам, цензором – мать, сотрудниками – двоюродные братья, мальчики Лозинский, Недзвецкий, Сергей Соловьев, мать, бабушка, я, кое-кто из знакомых. Дедушка участвовал в журнале только как иллюстратор, и то редко. Все номера «Вестника», по одному экземпляру в месяц, писались, склеивались и украшались рукой редактора. Картинки вырезались из «Нивы», из субботних приложений к «Новому Времени», наклеивались на обложку и в тексте; иногда Блок прилагал свои рисунки пером и красками, очень талантливые. В «Вестнике» он писал и стихи, и повести, и нечто во вкусе Майн-Рида, и даже поместил нелепую пьесу «Поездка в Италию». В пьесе было много глупого, но зато никаких претензий. Она свидетельствовала о полном незнании житейских отношений, так как хотела быть реальной, ее действующие лица были какие-то кутилы, но этого реализма и не хватало автору, и всякого, кто присмотрится к «Вестнику», кроме талантливости и остроумия редактора, поразит и то обстоятельство, что в шестнадцать лет уровень его развития в житейском отношении подошел бы скорее мальчику лет двенадцати.

Было тут и шуточное стихотворение, посвященное любимой собаке Дианке, и объявление с восклицательным знаком: «Диана ощенилась 18-го августа!», и множество объявлений о других собаках вроде того, что: «Ни за что не продам собаку без хвоста!». Были переводы с французского, и ребусы, и загадки.

Один из сотрудников «Вестника», муж сестры Екатерины Андреевны, Платон Николаевич Краснов, особенно любил Блока, повторял его словечки. Был он человек серьезный и невеселый, но Блоку было с ним хорошо. По образованию он был математик, но по склонности – литератор. Он печатал критические статьи и переводы стихов. С Блоком сближала его, между прочим, и любовь к древним. В четвертом классе гимназии мальчик болел корью, пропустил много уроков, и Платон Николаевич сам взялся его подогнать. Дело шло у них хорошо, дружно и весело. А в «Вестнике» вскоре появилось шуточное стихотворение «дяди Платона»: «Цезарева тень, бродя по берегам Стикса, кается в написании комментариев к галльской войне». Заключительные

строфы этого стихотворения я приведу:

Я думал, буду славой громок,
Благословит меня потомок
Вотще! Какой-то педагог,
Исполнен тупости немецкой,
Меня соделал казнью детской,
И проклинает меня Блок.
Когда б вперед я это знал,
Я б комментарий не писал.

В одном из номеров «Вестника» в 1894 году помещена милая сказка «Летом». Действующие лица – жуки и муравьи. Стихотворений того времени довольно много, и, между прочим, «Судьба», написанная размером баллады «Замок Смальгольм» Жуковского, в то время любимого поэта Блока. Вот одно из лирических стихотворений этого времени:

Посвящается маме

Серебристыми крылами
Зыбь речную задевая,
Над лазурными водами
Мчится чайка молодая.

На воде букеты лилий,
Солнца луч на них играет,
И из струй реки глубокой
Стая рыбок выплывает.

Облака плывут по небу.
Журавли летят высоко,
Гимн поют хвалебный Фебу,
Чуть колышется осока.

Но лучше всего удавались ему в то время юмористические стихотворения, которых было несколько. Вот одно из них:

Мечты

Пародия на что-то

Мечты, мечты!
Где ваша сладость?

Благодарю всех греческих богов
(Начну от Зевса, кончу Артемидой)
За то, что я опять увижу тень лесов,
Надевши серую и грязную хламиду.
Читатель! Знай: хламидой называю то,
Что попросту есть старое пальто;

Хотя пальто я примешал для смеха,
Ведь летом в нем ходить – ужасная потеха!
Подкладка вся в дегтю, до локтя рукава.
Я в нем теряю все классически права,
Хотя я гимназист, и пятого уж класса,
Но все же на пальто большая грязи масса.

Ну вот, я, кажется, немного заболтался.
(Признаться, этого-то я и опасался!)
Ведь я хотел писать довольно много,
Хотел я лето описать,
И грязь, и пыльную дорогу…
И что ж!? Мне лень писать опять!

Такой уж мой удел проклятый,
Как только рифмою крылатой
Меня наделит Муза, вновь
Под голову подкладываю руку
И на диван ложусь; читаю только «Новь»,
При этом чувствую ужаснейшую скуку…

Читатель! Если ты прочтешь
Сей дивный стих хоть семь раз кряду,
Морали общей не найдешь!!!

Сергей Михайлович Соловьев:

Он издавал журнал «Вестник», при участии своих двоюродных братьев Кублицких. Тогда уж меня поразила и пленила в нем любовь к технике литературного дела и особенная аккуратность. Тетради журнала имели образцовый вид, на страницах были приклеены иллюстрации, вырезанные из «Нивы» и других журналов. Он подарил мне несколько таких картинок. Когда я дал ему в «Вестник» рассказ, он прислал мне

коробку шоколадных сардин, написав, что это – в подарок, а не в виде гонорара, который будет выслан после.

Желая поговорить со мною на интересующую меня тему, он завел речь о богослужении. Предложил отслужить вместе утреннюю литургию в саду и достал откуда-то подобие ораря[9]. Утром жители Шахматова была неожиданно разбужены довольно странными возгласами, доносившимися из сада.

Мария Андреевна Бекетова:

Приведу одну интересную запись, касающуюся описываемого периода Сашиной жизни. Это так называемые «Признания», т. е. анкетный лист с вопросами, ответы на которые написаны Сашиной рукой еще летом 1897 г. Сбоку пометка «Наугейм, 21 июня (3 июля) 1897 г.». После печатной надписи «Признания» идут вопросы и ответы:

Признания

Главная черта моего характера Нерешительность.
Качество, какое я предпочитаю в мужчине Ум.
Качество, какое я предпочитаю в женщине
Красота.
Мое любимое качество Ум и хитрость.
Мой главный недостаток Слабость характера.
Мое любимое занятие Театр.
Мой идеал счастья Непостоянство.
Что было бы для меня величайшим несчастьем
Однообразие во всем.
Чем я хотел бы быть Артистом импер. театров.
Место, где я хотел бы жить Шахматово.
Мой любимый цвет Красный.
Мой любимый цветок Роза.
Мое любимое животное Собака и лошадь.
Моя любимая птица Орел, аист, воробей.
Мои любимые писатели прозаики – иностранные –
Мои любимые писатели прозаики – русские
Гоголь, Пушкин.
Мои любимые поэты – иностранные Шекспир.
Мои любимые поэты – русские
Пушкин, Гоголь, Жуковский.
Мои любимые художники – иностранные –
Мои любимые художники – русские
Шишкин, Волков, Бакалович.

Мои любимые композиторы – иностранные –
Мои любимые композиторы – русские –
Мои любимые герои в художественных произведениях
Гамлет, Петроний, Тарас Бульба.
Мои любимые героини в художественных произведениях
Наташа Ростова.
Мои любимые герои в действительной жизни
Иоанн IV, Нерон, Александр II, Петр I.
Мои любимые героини в действительной жизни
Екатерина Великая.
Мои любимые пища и питье Мороженое и пиво.
Мои любимые имена
Александр, Константин и Татьяна.
Что я больше всего ненавижу Цинизм.
Какие характеры в истории я всего более презираю
Малюта Скуратов, Людовик XVI.
Каким военным подвигом я всего более восхищаюсь
Леонида и 300 спартанцев.
Какую реформу я всего более ценю
Отмена телесных наказаний.
Каким природным свойством я желал бы обладать
Силой воли.
Каким образом я желал бы умереть
На сцене от разрыва сердца.
Теперешнее состояние моего духа
Хорошее и почти спокойное.
Ошибки, к которым я отношусь наиболее снисходительно
Те, которые человек совершает необдуманно.
Мой девиз Пусть чернь
слепая суетится. Не нам бессильной подражать… и т. д.

А. Блок.

1897. Первая любовь. Ксения Михайловна Садовская

Мария Андреевна Бекетова:

1897 год памятен нашей семье и знаменателен для поэта. Ему было шестнадцать с половиною лет, когда он с матерью и со мною отправился в Бад-Наугейм. Сестре был предписан курс лечения ваннами от обострившейся болезни сердца. Путешествие по Германии интересовало Блока. Наугейм ему понравился. Он был весел, смешил нас с сестрой шалостями и остротами, но скоро его равновесие было нарушено многознаменательной встречей с красивой и обаятельной женщиной. Все стихи, означенные буквами К. М. С., посвящаются этой первой любви. Это была высокая, статная, темноволосая дама с тонким профилем и великолепными синими глазами. Была она малороссиянка, и ее красота, щегольские туалеты и смелое, завлекательное кокетство сильно действовали на юношеское воображение. Она первая заговорила со скромным мальчиком, который не смел поднять на нее глаз, но сразу был охвачен любовью. В ту пору он был очень хорош собой уже не детской, а юношеской красотой. Об его наружности того времени дают приблизительное понятие его портреты в костюме Гамлета, снятые в Боблове, у Менделеевых, год спустя.

Красавица всячески старалась завлечь неопытного мальчика, но он любил ее восторженной, идеальной любовью, испытывая все волнения первой страсти. Они виделись ежедневно. Встав рано, Блок бежал покупать ей розы, брать для нее билет на ванну. Они гуляли, катались на лодке. Все это длилось не больше месяца. Она уехала в Петербург, где они встретились снова после большого перерыва.

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

26 июня ‹1897›. Бад Наугейм. Здесь было много тяжких часов и дней. На мне была новая громадная ответственность: Аля – с плохим немецким языком, с моими силами и с ее болезнью.

Потом началось дело с Сашурой. Сначала он просто скучал, ныл и капризничал и мучил свою маму и меня. Но потом мы познакомились с Садовской, и началась новая игра и новые муки. Он ухаживал впервые, пропадал, бросал нас, был неумолим и эгоистичен, она помыкала им, кокетничала, вела себя дрянно, бездушно и недостойно. Мы боялись за его здоровье и за его сердечко. Тут подошло новое теченье: знакомство с А. И. Сент-

Илер. Это все пошло с одного разговора об ее умершем мальчике.

Это ходячее пламенное сердце, доброта, простота. Но форма некрасивая и неискусная. Мы жаловались ей на Садовскую, она нам сочувствовала, побранила как-то Садовскую; та обиделась, разозлилась. Стала допытываться у Сашуры, что про нее говорят. Сашура сдуру свалил все на m-me Сент-Илер. Вышли сплетни, гадости, дрязги. Кончилось все однако тем, что Аля все узнала от скрывавшего Сашуры, и оказалось, что любви у него никакой нет, и она-то завлекала его, на все сама была готова; только его чистота и неопытность спасли его от связи с замужней, плохой, да еще и несвежей женщиной. Теперь Аля с ним проводит весь день; он, как дитя, требует развлечений и забав; Аля и забавляет его; дни идут. Та злится, не уезжает, но, Бог даст, все скоро кончится ничем, и мы останемся одни. Худшее, что будет, – это ссора с ней. Но не все ли равно? Главное же, чтобы он остался цел и не был против матери. Отношения его с Алей были одно время ужасны, пока та все у него выпытывала, закабаляла его и брала с него слово, что он будет молчать. Он наконец не выдержал этого, сказал, что попал в скверное положение, что сам готов бы отвязаться. Тут-то все и пошло в другую сторону. Но вот начало Сашуриного юношества. Первая победа, первые волненья. Тут была и доля поэзии. Она хороша. Он дарил ей цветы. Она ему пела.

Александр Александрович Блок. *Из письма К. М. Садовской. Петербург, 1898 г.:*

Чем больше я вижу Тебя, Оксана (так у Блока. – Сост.), тем больше во мне пробуждается то чувство, которое объяснить одним словом нельзя: в нем есть и радость, и грусть, а больше всего горячей, искренней любви, и любовь эта не имеет границ и, мне кажется, никогда не кончится. Чувство это бурно и не дает мне совсем покоя, я имею потребность видеть Тебя как можно чаще, любоваться Тобой и хоть на минуту утишить ту страшную бурю, которая все время бушует у меня в душе; и мне хочется, чтобы Ты, безмятежный ангел, обвеяла меня своими крылами и разрушила сомненья моей больной души, которая стремится к Тебе только и не находит выхода. Ты скажешь, откуда взялись эти порывы у такого холодного, безнадежного эгоиста, который заботится только о себе?! Неужели же я не знаю, что я действительно эгоист, и сознание этого часто мучает меня… Я не могу ждать дольше пятницы нового свидания: если только можешь, то приходи в четверг, я буду ждать Тебя во 2-й линии против дома; мне нужно только видеть Тебя и знать, что Ты со мной; а в пятницу прийти я не могу, меня заставляют

исповедываться именно вечером. Странное совпадение! Приходи в четверг, ради бога, моя душа только к Тебе стремится, только Тебя и жаждет. Может быть, Твое письмо поможет мне избавиться от эгоизма, и этим Ты спасешь меня от большого горя в жизни; а если Ты думаешь, что экзамены и пр. будут страдать от этого, то знай, что мне прежде всего нужна жизнь, а жизнь для всякого человека самое главное, потому я и стремлюсь к Тебе и беру от Тебя все источники жизни, света и тепла. Не знаю, может быть, это свойственно моей молодости, но на меня благотворно и живительно действует эта роскошно распускающаяся весна и наполняет все мое существо, особенно когда Ты со мной, а мне кажется часто, что Ты близко от меня, и я думаю,

Не здесь ли Ты легкою тенью,
Мой гений, мой ангел, мой друг,
Беседуешь тихо со мною
И тихо летаешь вокруг?

И робким даришь вдохновеньем,
И сладкий врачуешь недуг,
И тихим даришь сновиденьем,
Мой гений, мой ангел, мой друг…[10]

У меня в сердце постоянно звучат эти чудные строки. А мысль о Тебе действует на меня как музыка: то душа полна грусти, то внезапно замрет от бурного веселья, то жадно стремится к свету. Не правда ли, что это любовь? Будешь ли Ты еще сомневаться?

Я жду теперь Твоих писем, как неземного счастья… Жду Тебя, приходи.

Мария Андреевна Бекетова:

До 1900-го года включительно Блок не прерывал связи с К. М. С‹адовской›. Они встречались в Петербурге после встречи в Наугейме. Подробности и фазы этого романа можно проследить по многим стихам, напечатанным в собрании стихотворений Блока и в томиках неизданных и не вошедших в собрание. Они по большей части обозначены инициалами К. М. С. Из них видно, как образ Люб‹ови› Дм‹итриевны› все сильнее и сильнее овладевал всем существом поэта и мало-помалу вытеснил из его сердца образ любовницы. След этого романа остался на всю жизнь, как мы знаем из цикла стихов «Через двенадцать лет», посвященного К. М. С., но чувство поэта угасло.

В Боблово

Александр Александрович Блок:

Весной следующего года на выставке (кажется, передвижной) я встретился с Анной Ивановной Менделеевой, которая пригласила меня бывать у них и приехать к ним летом в Боблово по соседству.

‹…› Я приехал туда на белой моей лошади и в белом кителе со стэком. Меня занимали разговором в березовой роще mademoiselle и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное впечатление. Это было, кажется, в начале июня.

Я был франт, говорил изрядные пошлости. Приехали «Менделеевы». В Боблове жил Н. Э. Сум, вихрастый студент (к которому я ревновал).

Любовь Дмитриевна Блок:

После обеда, который в деревне кончался у нас около двух часов, поднялась я в свою комнатку во втором этаже и только что собралась сесть за письмо, – слышу: рысь верховой лошади, кто-то остановился у ворот, открыл калитку, вводит лошадь и спрашивает у кухни, дома ли Анна Ивановна? Из моего окна ворот и этой части двора не видно; прямо под окном – пологая зеленая железная крыша нижней террасы, справа – разросшийся куст сирени загораживает и ворота и двор. Меж листьев и ветвей только мелькает. Уже зная, подсознательно, что это «Саша Бекетов», как говорила мама, рассказывая о своих визитах в Шахматово, я подхожу к окну. Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню, да невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые, решительные шаги. Сердце бьется тяжело и глухо. Предчувствие? Или что? Но эти удары сердца я слышу и сейчас, и слышу звонкий шаг входившего в мою жизнь.

Автоматически подхожу к зеркалу, автоматически вижу, что надо надеть что-нибудь другое, – мой ситцевый сарафанчик имеет слишком домашний вид. Беру то, что мы так охотно все тогда носили: батистовая английская блузка с туго накрахмаленным стоячим воротничком и манжетами, суконная юбка, кожаный кушак. Моя блузка была розовая, черный маленький галстук, черная юбка, туфли кожаные, коричневые, на низких каблуках. Шляпы в сад я не брала. Входит Муся, моя насмешница – младшая сестра, любимым занятием которой было в то время потешаться над моими заботами о наружности: «Mademoiselle велит тебе идти в Colonie, она туда пошла с шахматовским

Сашей. Нос напудри!» Я не сержусь на этот раз, я сосредоточена.

Colonie – это в конце липовой аллеи наши бывшие детские садики, которые мы разводили во главе с mademoiselle, не меньше нас любившей и деревню и землю. Говорят, липовая аллея цела и посейчас, разросшаяся и тенистая. В те годы липки были молодые, лет десять назад посаженные, еще подстриженные, не затенявшие целиком залитую солнцем дорожку. На полпути к Colonie деревянная скамейка лицом к солнцу и виду на соседние холмы и дали. Дали – краса нашего пейзажа.

Подходя немного сзади через березовую рощицу, вижу, что на этой скамейке mademoiselle «занимает разговорами» сидящего спиной ко мне. Вижу, что он одет в городской темный костюм, на голове – мягкая шляпа. Это сразу меня как-то отчуждает: все молодые, которых я знаю, в форменном платье. Гимназисты, студенты, лицеисты, кадеты, юнкера, офицеры. Штатский? Это что-то не мое, это из другой жизни, или он уже «старый». Да и лицо мне не нравится, когда мы поздоровались. Холодом овеяны светлые глаза с бледными ресницами, не оттененные слабо намеченными бровями. У нас у всех ресницы темные, брови отчетливые, взгляд живой, непосредственный. Тщательно выбритое лицо придавало в то время человеку «актерский» вид, – интересно, но не наше.

Так – как с кем-то далеким – повела я разговор, сейчас же о театре, возможных спектаклях. Блок и держал себя в то время очень «под актера», говорил нескоро и отчетливо, аффектированно курил, смотрел на нас как-то свысока, откидывая голову, опуская веки. Если не говорили о театре, о спектакле, болтал глупости, часто с явным намерением нас смутить чем-то не очень нам понятным, но от чего мы неизбежно краснели. Мы – это мои кузины Менделеевы, Сара и Лида, их подруга Юля Кузьмина и я. Блок очень много цитировал в то время Кузьму Пруткова, целые его анекдоты, которые можно иногда понять и двусмысленно, что я уразумела, конечно, значительно позднее. У него в то время была еще любимая прибаутка, которую он вставлял при всяком случае: «O yes, mein Kind!»[11] А так как это обращалось иногда и прямо к тебе, то и это смущало некорректностью, на которую было неизвестно как реагировать.

В первый же этот день кузины пришли вскоре, проводили время вместе, условились о спектаклях, играли в «хальму» и крокет. Пошли в парк к Смирновым, нашим родным; это была громадная семья – от взрослых барышень и студентов до детей. Играли все вместе в «пятнашки» и горелки. Тут Блок стал другой, вдруг – свой и простой, бегал и хохотал, как и все мы, дети

и взрослые.

В первые два-три приезда выходило так, что Блок больше обращал внимания на Лиду ‹Менделееву› и Юлю Кузьмину. Они умели ловко болтать и легко кокетничать и без труда попали в тон, который он вносил в разговор. Обе очень хорошенькие и веселые, они вызывали мою зависть… Я была очень неумела в болтовне и в ту пору была в отчаянии от своей наружности. С ревности и началось.

Что было мне нужно? Почему мне захотелось внимания человека, который мне вовсе не нравился и был мне далек, которого я в то время считала пустым фатом, стоящим по развитию ниже нас, умных и начитанных девушек? Чувственность моя еще совсем не проснулась; поцелуи, объятия – это было где-то далеко, – далеко и нереально. Что меня не столько тянуло, сколько толкало к Блоку?.. «Но то звезды веленье», – сказала бы Леонор у Кальдерона. Да, эта точка зрения могла бы выдержать самую свирепую критику, потому что в плане «звезды» все пойдет потом как по маслу: такие совпадения, такие удачи в безнаказанности самых смелых встреч среди бела дня, что и не выдумаешь! Но пока допустим, что Блок, хотя и не воплощал моих девчонкиных байроническо-лермонтовских идеалов героя, был все же и наружностью много интереснее всех моих знакомых, был талантливым актером (в то время ни о чем другом, о стихах тем более, еще и речи не было), был фатоватым, но ловким «кавалером» и дразнил какой-то непонятной, своей мужской, неведомой опытностью в жизни, которая не чувствовалась ни в моих бородатых двоюродных братьях, ни в милом и симпатичном, понятном Суме – студенте, репетиторе брата.

Так или иначе, «звезда» или «не звезда», очень скоро я стала ревновать и всеми внутренними своими «флюидами» притягивать внимание Блока к себе. С внешней стороны я, по-видимому, была крайне сдержанна и холодна, – Блок всегда это потом и говорил мне, и писал. Но внутренняя активность моя не пропала даром, и опять-таки очень скоро я стала уже с испугом замечать, что Блок – да, положительно, – перешел ко мне, и уже это он окружает меня кольцом внимания. Но как все это было не только не сказано, как все это было замкнуто, сдержанно, не видно, укрыто. Всегда можно сомневаться – да или нет? Кажется или так и есть?

Чем говорили? Как давали друг другу знак? Ведь в этот период никогда мы не бывали вдвоем, всегда или среди всей нашей многолюдной молодежи, или, по крайней мере, в присутствии mademoiselle, сестры, братьев. Говорить взглядом

мне и в голову не могло прийти; мне казалось бы это даже больше, чем слова, и во много раз страшнее, Я смотрела всегда только внешне-светски и при первой попытке встретить по-другому мой взгляд уклоняла его. Вероятно, это и производило впечатление холодности и равнодушия.

Мария Александровна Рыбникова (1885–1942), *педагог, литературовед:*

Это было летом 1898 года.

В семье профессора Менделеева, в Боблове, барышням хотелось устроить спектакль. Но не было партнера на мужские роли. И вот однажды к дому подъехал всадник, вошел и познакомился.

Юноша в бархатной блузе, с хлыстиком в руках, Александр Александрович Блок. Ему семнадцать лет, он только что кончил гимназию, живет в семи верстах, в Шахматове.

Анна Ивановна Менделеева:

В дни репетиций белый конь со своим всадником поворачивал к бобловскому дому, где его поджидала «царевна» со своими милыми подругами. После обычных приветствий все спешили в сенной сарай – импровизированный театр.

Старый бревенчатый сарай видел настоящее священнодействие – столько вкладывалось вдохновения, чувств и благоговения к искусству. Репетиции и приготовления к спектаклю давали артистам много наслаждения и интереса: костюмы, декорации, устройство сцены, зрительного зала, – все делали сами или под своим надзором. Во все было вложено много любви, находчивости и таланта. Но самые спектакли иногда приносили большие огорчения. Публику, кроме родственников и соседей, составляли крестьяне ближних деревень. Репертуар совершенно не подходил под уровень их развития. Происходило следующее: в патетических местах ролей Гамлета, Чацкого, Ромео начинался хохот, который усиливался по мере развития спектакля. «Представление» в понятии деревни того времени должно было непременно потешать, смешить; так как в стихах вышеупомянутых авторов, произносимых спокойно, не было ничего смешного, то когда наступало волнение, жесты, – они думали, что вот тут-то и начинается, и разряжали свою скуку взрывами хохота, что очень смущало артистов. Чем патетичнее была сцена, тем громче был смех. Другие забывали, что это представление, – видели в артистах знакомые им лица: «Шахматовский барин-то как к нашей барышне-то, только, шалишь, не на таковскую напал», и так далее, и опять смех.

Женская половина зрителей, наоборот, видела все со слезливой стороны. Раз одна из зрительниц на другой день после представления Гамлета делилась своими впечатлениями с другой: «Он, милая моя, говорил-говорил, говорил-говорил, а тут как замахал руками, – вишь, драться хотел, а Маруся-то и утопилась». Офелия превратилась в Марусю. Свежо предание, а верится с трудом.

Любовь Дмитриевна Блок:

Первый и единственный за эти годы мой более смелый шаг навстречу Блоку – был вечер представления «Гамлета». Мы были уже в костюмах Гамлета и Офелии, в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок, сноп полевых цветов, распущенный напоказ всем плащ золотых волос, падающий ниже колен… Блок в черном берете, в колете, со шпагой. Мы сидели за кулисами в полутайне, пока готовили сцену. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял выше, на самом помосте. Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда, а главное, жуткое – я не бежала, я смотрела в глаза, мы были вместе, мы были ближе, чем слова разговора. Этот, может быть, десятиминутный разговор и был нашим «романом» первых лет встречи, поверх «актера», поверх вымуштрованной барышни, в стране черных плащей, шпаг и беретов, в стране безумной Офелии, склоненной над потоком, где ей суждено погибнуть. Этот разговор и остался для меня реальной связью с Блоком, когда мы встречались потом в городе уже совсем в плане «барышни» и «студента». Когда, еще позднее, мы стали отдаляться, когда я стала опять от Блока отчуждаться, считая унизительной свою влюбленность в «холодного фата», я все же говорила себе: «Но ведь было же…»

«Встречи» с Владимиром Соловьевым

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой «новой поэзии» я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал «субъективным» и бережно оберегал от всех.

Александр Александрович Блок. *Из письма Г. И. Чулкову. Никол‹аевская› ж. д. Ст. Подсолнечная, с. Шахматово, 23 июня 1905 г.:*

Помню я это лицо, виденное однажды в жизни на панихиде у родственницы. Длинное тело у притолки, так что целое мгновение я употребил на поднимание глаз, пока не стукнулся глазами о его глаза. Вероятно, на лице моем выразилась душа, потому что Соловьев тоже взглянул долгим сине-серым взором. Никогда не забуду – тогда и воздух был такой. Потом за катафалком я шел позади Соловьева и видел старенький желтый мех на несуразной шубе и стальную гриву. Перелетал легкий снежок (это было в феврале 1900 г., в июле он умер), а он шел без шапки, и один господин рядом со мной сказал: «Экая орясина!» Я чуть не убил его. Соловьев исчез, как появился, незаметно, на вокзале, куда привезли гроб, его уже не было.

Зинаида Николаевна Гиппиус:

Ученик и поклонник Владимира Соловьева – Блок весь был обращен к туманно-зыбкому провидению своего учителя: к его стихам, где появляется «Она», «Дева радужных ворот». Христианство Вл. Соловьева не коснулось Блока. В то время как Вл. Соловьев, для которого христианство и служило истоком его «провидений», мог безбоязненно перепрыгивать из одного порядка в другой, мог в «Трех встречах», – самой «несказанной» из поэм, – вдруг написать, захохотав, строчку: «Володенька, да как же ты глюпа!» – Блок не умел этого. «Она» или сияла ему ровным невечерним светом, или проваливалась, вместе с ним, в бездну, где уж не до невинных улыбок над собой.

Александр Александрович Блок. *Из письма Е. П. Иванову.*

Шахматово, 15 июня 1904 г.:

‹…› Я в этом месяце силился одолеть «Оправдание добра» Вл. Соловьева и не нашел там ничего, кроме некоторых остроумных формул средней глубины и непостижимой скуки. Хочется все делать напротив, назло. Есть Вл. Соловьев и его стихи – единственное в своем роде откровение, а есть «Собр. сочин. В. С. Соловьева» – скука и проза.

Александр Александрович Блок. *Из письма отцу. Петербург, 29 октября 1904 г.:*

Сегодня получил наконец свой первый сборник, который посылаю Вам. Пока не раскаиваюсь в его выходе, тем более что «Гриф» приложил к нему большое старание и, по-моему, вкус. Мне хотелось «благородной скромности», потому я старался избегать посвящений «знаменитостям», если не считать учителя – Вал. Брюсова и нежного близкого друга – Андрея Белого. Что касается Вл. Соловьева, – то он в эпиграфе слишком уместен. Быть может, я стольким обязан его стихам, что лучше было промолчать о «светлой дочери темного хаоса» и не цитировать его… Но – того требует окружающий хаос и «литературная» тупость. Лично же с Вл. Соловьевым мы некогда встретимся – но в просторной и светлой витрине неба скорее, чем в витрине книжных лавок, освещенных всесветными «газами».

Университет

Мария Андреевна Бекетова:

Осенью этого года (1898) Блок поступил на юридический факультет. Он говорил, что в гимназии надоело учение, а тут, на юридическом, можно ничего не делать. Зимой он стал бывать у Менделеевых. Они жили в то время на казенной квартире, в здании Палаты мер и весов на Забалканском проспекте.

Георгий Петрович Блок:

Появление молодого нарядного студента взбудоражило не только нас, детвору. Большое впечатление произвел он, по-видимому, и на взрослых. Им любовались и много говорили об его хороших манерах, об его литературности, в которой с удовлетворением видели наследственную черту. Все находили, что он похож на деда Льва Александровича Блока. С этим соглашалась и Сашина мать. Только отец мой настойчиво твердил, что у Саши большое сходство с актером Нильским. Помню, как один из дядюшек, глядя на Сашину спину, красиво обтянутую серой тужуркой, проговорил с явной фамильной гордостью: «До чего строен!» Он и впрямь был превосходно сложен: сухой, широкий в плечах, узкий в бедрах, с крутой грудью и сильными лопатками, плавно сбегавшими к тонкой, молодецки выгнутой пояснице. Это была совсем не городская статность, а какая-то наездническая, казачья, степная или даже, пожалуй, горская. Но правы были и мой отец, и Нике: Саша держался в то время по-актерски и действительно впадал в картинность. ‹…› Нике заметил, что у Саши всегда немного дрожат руки. Он не без робости спросил, отчего это. Саша ответил многозначительно: «Следы былых страстей!» Это сильно подняло его в наших глазах. Однако «следы страстей» изгладились довольно быстро: руки вскоре перестали дрожать.

Александр Александрович Блок:

В это время происходило «политическое» – 8 февраля и мартовские события у Казанского собора. ‹…› Я был ему вполне чужд, что выразилось в стихах, а также в той нудности, с которой я слушал эти разговоры у дяди Николая Николаевича (Бекетова) и от старого студента Попова, который либеральничал с мамой и был весьма надменен со мной.

Эта «аполитичность» кончилась плачевно. Я стал держать экзамены (я сидел уже второй год на первом курсе), когда «порядочные люди» их не держали. Любовь Дмитриевна,

встретившая меня в Гостином дворе, обошлась со мной за это сурово. На экзамене политической экономии я сидел дрожа, потому что ничего не знал. Вошла группа студентов и, обратясь к профессору Георгиевскому, предложила ему прекратить экзамен. Он отказался, за что получил какое-то (не знаю, какое) выражение, благодаря которому сидел в слезах, закрывшись платком. Какой-то студент спросил меня, собираюсь ли я экзаменоваться, и, когда я ответил, что собираюсь, сказал мне: «Вы подлец». На это я довольно мягко и вяло сказал ему, что могу ответить ему то же самое. Когда я, дрожа от страха, подошел к заплаканному Георгиевскому и вынул билет, Георгиевский спросил меня, что такое «рынок». Я ответил: «Сфера сбыта»; профессор вообще очень ценил такой ответ, не терпя, когда ему отвечали, что рынок есть «место сбыта». Я знал это твердо (или запомнил из лекции, или услышал от кого-то). За это Георгиевский сразу отпустил меня, поставив мне пять.

Мария Андреевна Бекетова:

В том же памятном 1901 году изменилась университетская жизнь Александра Александровича: пройдя два курса и перейдя на третий, он понял, что юридические науки ему глубоко чужды. Мать уговаривала его перейти на филологический факультет. Сначала он не решался, опасаясь, что отец, испугавшись расходов на два лишние курса, прекратит высылку денег. Но Александр Львович в ответ на письмо с извещением о состоявшемся уже переходе выразил, напротив, свое одобрение. Здесь Александр Александрович сразу попал в свою сферу, увлекся лекциями проф. Ф. Ф. Зелинского и некоторых других профессоров, но под конец все-таки сильно устал от университета.

Александр Александрович Громов *(1881 – после 1935), студенческий товарищ А. А. Блока, филолог:*

Блок добросовестно работал у всех профессоров славяно-русского отделения, согласно «Правилам о зачетах», но особое внимание уделял двум: А. И. Соболевскому и И. А. Шляпкину.

Сергей Митрофанович Городецкий:

Я встретился с ним в первый раз и познакомился на лекциях по сербскому языку профессора Лаврова. Я переходил на третий курс, он, должно быть, был на четвертом.

В старинном здании Петербургского университета – Двенадцати коллегий – есть замкнутые, очень солнечные маленькие аудитории, где читают профессора, которых не слушают. Таким и был Лавров, читавший предмет

обязательный, но скучный. Толстый, красный, сонный, он учил нас сербскому языку и читал нам былины. В сербском языке, в прошедшем времени, «л» переходит в «о»: «мойя майко помамио» – получается какой-то голубиный лепет. Блоку это нравилось, мне тоже, и, кажется, на этот именно предмет мы обменялись с ним первой фразой. Он ходил в аккуратном студенческом сюртучке, всегда застегнутом, воротник был светло-синий (мода была на темные), волосы вились, как нимб, вокруг его аполлоновского лба, и весь он был чистый, светлый, я бы сказал, изолированный – от лохмачей, так же как и от модников. Студентов было очень мало. Блок лекций не пропускал и аккуратно записывал все, что говорил Лавров, в синие гимназические тетрадки. Я ходил редко, и Блок мне передал свои записки – несколько тетрадок должны быть в моем архиве в Петербурге, если он цел. Там, ранним его почерком, записана вся сербская премудрость.

Александр Александрович Громов:

Поэт не порвал связи со своими университетскими учителями по окончании курса: одно время он серьезно думал об оставлении при кафедре – на чем настаивал и Шляпкин – и хотел готовиться к магистерским экзаменам.

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

Университет не сыграл в моей жизни особенно важной роли, но высшее образование дало, во всяком случае, некоторую умственную дисциплину и известные навыки, которые очень помогают мне и в историко-литературных, и в собственных моих критических опытах, и даже в художественной работе (материалы для драмы «Роза и Крест»). С годами я оцениваю все более то, что дал мне университет в лице моих уважаемых профессоров – А. И. Соболевского, И. А. Шляпкина, С. Ф. Платонова, А. И. Введенского и Ф. Ф. Зелинского.

«Прекрасная дама» Л. Д. М.

Любовь Дмитриевна Блок:

К разрыву отношений, произошедшему в 1900 году, осенью, я отнеслась очень равнодушно. Я только что окончила VIII класс гимназии, была принята на Высшие курсы, куда поступила очень пассивно, по совету мамы, и в надежде, что звание «курсистки» даст мне большую свободу, чем положение барышни, просто живущей дома и изучающей что-нибудь вроде языков, как тогда было очень принято. ‹…›

Так шла моя зима до марта. О Блоке я вспоминала с досадой. Я помню, что в моем дневнике, погибшем в Шахматове, были очень резкие фразы на его счет, вроде того, что «мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами…». Я считала себя освободившейся.

Мария Андреевна Бекетова:

В том же 1901 году, когда Любовь Дмитриевна поступила на драматические курсы г-жи Читау, Саша тоже посещал их некоторое время, но, охладев к сцене, скоро оставил это занятие.

Александр Александрович Блок. *Из записных книг и книжечек:*

Любовь Дмитриевна ходила на уроки к М. М. Читау, я же ждал ее выхода, следил за ней и иногда провожал ее до Забалканского с Гагаринской – Литейной (конец ноября, начало декабря). Чаще, чем со мной, она встречалась с кем-то – кого не видела и о котором я знал. ‹…›

В январе 1901 г. – концерт Панченки (не к главному для меня). 25 января – гулянье на Монетной к вечеру в совершенно *особом* состоянии. В конце января и начале февраля (еще – синие снега около полковой церкви, – тоже к вечеру) явно является Она. Живая же оказывается Душой Мира (как определилось впоследствии), разлученной, плененной и тоскующей (стихи 11 февраля, особенно – 26 февраля, где указано ясно Ее *стремление* отсюда для *встречи* «с началом близким и чужим» (?) – и Она уже в дне, т. е. за ночью, из которой я на нее гляжу. То есть Она предана какому-то стремлению и «на отлете», мне же дано только смотреть и благословлять отлет).

В таком состоянии я встретил Любовь Дмитриевну на Васильевском острове (куда я ходил покупать таксу, названную скоро Краббом). Она вышла из саней на Андреевской площади и шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту –

до 10-й линии, я же, не замеченный Ею, следовал позади (тут – витрина фотографии близко от Среднего проспекта). Отсюда появились «пять изгибов».

На следующее утро я опять увидал Ее издали, когда пошел за Краббом (и привез в башлыке, будучи в исключительном состоянии, которого не знала мама).

Любовь Дмитриевна Менделеева:

Но в марте ‹…› около Курсов промелькнул где-то его профиль, – он думал, что я не видела его. Эта встреча меня перебудоражила. Почему с приходом солнечной, ясной весны опять (возник) образ Блока? А когда мы оказались рядом на спектакле Сальвини, причем его билет был даже рядом со мной, а не с мамой (мы уже сидели, когда он подошел, поздоровался), до того как были сказаны первые фразы, я с молниеносной быстротой почувствовала, что это уже совсем другой Блок. Проще, мягче, серьезный, благодаря этому – похорошевший (Блоку вовсе не шел задорный тон и бесшабашный вид). В обращении со мной – почти нескрываемая почтительная нежность и покорность, а все фразы, все разговоры – такие серьезные; словом – от того Блока, который уже третий год писал стихи и которого от нас он до сих пор скрывал.

Посещения возобновились сами собой, и тут сложился их тип на два года.

Блок разговаривал с мамой, которая была в молодости очень остроумной и живой собеседницей, любившей поспорить, пусть зачастую и очень парадоксально. Блок говорил о своих чтениях, о взглядах на искусство, о том новом, что зарождалось и в живописи, и в литературе. Мама с азартом спорила. Я сидела и молчала, и знала, что все это говорится для меня, что убеждает он меня, что вводит в этот открывшийся ему и любимый мир – меня. Это за чайным столом, в столовой. Потом уходили в гостиную – и Блок мелодекламировал «В стране лучей» А. Толстого, под «Quasi una fantasia», или еще что-нибудь из того, что было в грудах нот, которые мама всегда покупала.

Мне теперь нравилась его наружность. Отсутствие напряженности, надуманности в лице – приближало черты к статуарности, глаза темнели от сосредоточенности и мысли. Прекрасно сшитый военным портным студенческий сюртук красивым, стройным силуэтом условных жестких линий вырисовывался в свете лампы у рояля, в то время как Блок читал, положив одну руку на золотой стул, заваленный нотами, другую – за борт сюртука. Только, конечно, не так ясно и отчетливо все это было передо мной, как теперь.

Александр Александрович Блок. *Из записных книжек:*

Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился. Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда меня звали погостить уезжавшие туда Кублицкие. Я был так преисполнен высоким, что перестал жалеть о прошедшем.

Любовь Дмитриевна Менделеева:

И вот пришло «мистическое лето» (1901 г. – Сост.). Встречи наши с Блоком сложились так. Он бывал у нас раза два в неделю. Я всегда угадывала день, когда он приедет; это теперь – верхом на белом коне и в белом студенческом кителе. После обеда в два часа я садилась с книгой на нижней тенистой террасе, всегда с цветком красной вербены в руках, тонкий запах которой особенно любила в то лето. Одевалась я теперь уже не в блузы с юбкой, а в легкие батистовые платья, часто розовые. Одно было любимое – желтовато-розовое, с легким белым узором. Вскоре звякала рысь подков по камням, Блок отдавал своего Мальчика около ворот и быстро вбегал на террасу. Так как мы встречались «случайно», я не обязана была никуда уходить, и мы подолгу, часами, разговаривали, пока кто-нибудь не придет.

Блок был переполнен своим знакомством с «ними», как мы называли в этих разговорах всех новых, получивших название «символистов». Знакомство пока еще лишь из книг. Он без конца рассказывал, цитировал так легко запоминаемые им стихи, привозил мне книги, даже первый сборник «Северных цветов», который был чуть ли не заветнейшей книгой. Я читала по его указанию первые два романа Мережковского, «Вечных спутников»; привозил он мне Тютчева, Соловьева, Фета.

Говорил Блок в то время очень трудно, в долгих переплетах фраз ища еще не пойманную мысль. Я следила с напряжением, но уже вошла в этот уклон мысли, уже ощущала, чем «они» берут и меня. Раз как-то я в разгаре разговора спросила: «Но ведь вы же, наверно, пишете? Вы пишете *стихи*?» Блок сейчас же подтвердил это, но читать свои стихи не согласился, а в следующий раз привез мне переписанные на четырех страницах листка почтовой бумаги: «Agrafa DTgmata», «Servus-Reginae», «Новый блеск излило небо…», «Тихо вечерние тени…». Первые стихи Блока, которые я узнала. Читала их уже одна. ‹…›

И вот в июле пришел самый значительный день этого лета. Все наши, все Смирновы собрались ехать пикником в далекий казенный сосновый бор за белыми грибами. Никого не будет, даже и прислуги, останется только папа. Останусь и я, я решила.

И заставлю Блока приехать, хотя еще и рано по ритму его посещений. И должен быть, наконец, разговор. На меня дулись, что я не еду, я отговаривалась вздорными предлогами. Улучила минуту одиночества и, помню, в столовой около часов всеми силами души перенеслась за те семь верст, которые нас разделяли, и сказала ему, чтобы он приехал. В обычный час села на свой стул на террасе, с книгой и вербеной. И он приехал. Я не удивилась. Это было неизбежно.

Мы стали ходить взад и вперед по липовой аллее нашей первой встречи. И разговор был другой. Блок мне начал говорить о том, что его приглашают ехать в Сибирь, к тетке, он не знает, ехать ли ему, и просит меня сказать, что делать; как я скажу, так он и сделает. Это было уже много, я могла уже думать о серьезном желании его дать мне понять об его отношении ко мне. Я отвечала, что сама очень люблю путешествия, люблю узнавать новые места, что ему хорошо поехать, но мне будет жаль, если он уедет, для себя я этого не хотела бы. Ну, значит, он и не поедет. И мы продолжали ходить и дружески разговаривать, чувствуя, что двумя фразами расстояние, разделявшее нас, стремительно сократилось, пали многие преграды. ‹…›

И тем не менее, в январе (29-го) я с Блоком порвала. У меня сохранилось письмо, которое я приготовила и носила с собой, чтобы передать при первой встрече на улице, но передать не решилась, так как все же это была бы я, которая сказала бы первые ясные слова, и моя сдержанность и гордость удержали меня в последнюю минуту. Я просто встретила его с холодным и отчужденным лицом, когда он подошел ко мне на Невском, недалеко от собора, и небрежно, явно показывая, что это предлог, сказала, что боюсь, что нас видели на улице вместе, и что мне это неудобно. Ледяным тоном: «Прощайте!» – и ушла. ‹…›

Но письмо передано не было, никакого объяснения тоже не было, nach wie vor[12], так что «знакомство» благополучно продолжалось в его «официальной» части, и Блок бывал у нас по-прежнему.

Впоследствии Блок отдал три наброска письма, которые и он хотел мне передать после «разрыва» и так же не решился это сделать, оттягивая объяснение, необходимость которого чувствовалась и им.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Петербург, 29 января 1902 г.:*

То что произошло сегодня, должно переменить и переменило многое из того, что недвижно дожидалось случая три с половиной года. Всякая теория перешла непосредственно в практику,

к несчастью, для меня – трагическую. Я должен (мистически и по велению своего ангела) просить Вас выслушать мое письменное покаяние за то, что я посягнул или преждевременно, или прямо вне времени на божество некоторого своего Сверх-бытия; а потому и понес заслуженную кару в простой жизни, простейшим разрешением которой будет смерть по одному Вашему слову или движению. Давно отошло всякое негодующее неповиновение. Теперь передо мной впереди ныне только чистая Вы, и, простите за сумасшедшие термины, – по отношению к Вам, – бестрепетно неподвижное Солнце Завета, я каюсь в глубочайших тайниках, доселе Вам только намеревавшихся открыться – каюсь и умоляю о прощении перед тем, что Вы (и никто другой) несете в Себе. Это – сила моей жизни, что я познал, как величайшую тайну и довременную гармонию самого себя, – ничтожного, озаренного тайным Солнцем Ваших просветлений. Могу просто и безболезненно выразить это так: моя жизнь, т. е. способность жить, немыслима без Исходящего от Вас ко мне некоторого непознанного, а только еще смутно ощущаемого мной Духа. Если разделяемся мы в мысли или разлучаемся в жизни (а последнее было, казалось, сегодня) – моя сила слабеет, остается только страстное всеобъемлющее стремление и тоска. Этой тоске нет исхода в этой жизни, потому что, даже, когда я около Вас, она ослабевает только, но не прекращается; ибо нет между нами единения «должного», да и окончательного не могло бы быть (здесь – ясный переход, прямо здраво логического, не говоря о прочем, свойства: если окончательного единения быть в этой жизни не может, а чистая цель есть окончательное единение, то не оторваться ли от этой жизни? – и т. д.). Но, если Вы так «обильны», как говорит мне о Вас мое «мистическое восприятие», то я, вспоминая Ваши пророчественные речи о конце Вашей жизни, – безумно испытываю Ваше милосердие; ибо нет более мне исхода, и я принужден идти по пути испытаний своего бога, – и Вы – мой бог, при нем же одном мне и все здешние храмы священны. И вот, испытуя и злодействуя, зову я Вас, моя Любовь, на предпоследнее деяние; ибо есть в жизни время, когда нужно это предпоследнее деяние, чтобы не произошло прямо последнее. Зову я Вас моей силой, от Вас исшедшей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей Любовью, которой дышу в Вас, – на решающий поединок, где будет битва предсмертная за соединение духов утверждаемого и отрицаемого. Пройдет три дня. Если они будут напрасны, если молчание ничем не нарушится, наступит последний акт. И одна часть Вашего Света вернется к Вам, ибо покинет оболочку, которой больше нет места живой; а только –

мертвой. Жду. Вы – спасенье и последнее утверждение. Дальше – все отрицаемая гибель. Вы – Любовь.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Шахматово, 29 августа 1902 г.:*

Пишу Вам, как человек, желавший что-то забыть, что-то бросить – и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет. Помните Вы-то эти дни – эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, боже мой, если Вы были! Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы. Показывалась Ваша фигура – Ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бывала, должно быть, полумодная шубка с черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный тяжелый золотой узел волос – ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной перчатке – шерстяной или лайковой. В другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь (от Марьи Михайловны). (Мне все дорого.) Такая высокая, «статная», морозная. Изредка, в сильный мороз, волосы были спрятаны в белый шерстяной платок. Когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением в плечах и шее, смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась (и вообще-то Ваша рука всегда торопится вырваться). Когда я шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные глупости (м. б. пошлости), падал духом; вдруг душа заливалась какой-то душной волной («В эти сны, наяву непробудные»). И вдруг, страшно редко, – но ведь было же и это! – тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, м. б. мимолетная дрожь, – или все это было, лучше думать, одно воображение мое. После этого, опять еще глуше, еще неподвижнее.

Прощались Вы всегда очень холодно, как здоровались (за исключением 7 февраля). До глупости цитировались мной стихи. И первое Ваше слово – всегда легкое, капризное «Кто сказал?», «чьи?». Как будто в этом все дело. Вот что хотел я забыть; о чем хотел перестать думать. А теперь-то что? Прежнее, или еще хуже?

P. S. Все, что здесь описано, было на самом деле. Больше это едва ли повторится. Прошу впоследствии иметь это в виду. Записал же, как столь важное, какое редко и было, даже, можно

сказать, просто в моей жизни такого и не бывало, – да и будет ли? Все вопросы, вопросы – озабоченные, полузлобные… Когда же это кончится, Господи?

Один только раз мы ходили очень долго. – Сначала пошли в Каз‹анский› собор (там бывали и еще), а потом – по Казанской и Новому переулку – в Исаакиевский. Ветер был сильный и холодный, морозило, было солнце яркое, холодное. Собор обошли вокруг, потом вошли во внутрь. Тихонько пошептались у дверей монашки (это всегда – они собирают в кружки) – и замерли. В соборе почти никого не было. Вас поразила высота, громада, торжество, сумрак. Голос понизили даже. Прошли глубже, встали у колонны, смотрели наверх, где были тонкие нити лестничных перил. Лестница ведет в купол. Там кружилась, наверное, голова. Вы стали говорить о самоубийстве, о том, как трудно решиться броситься оттуда вниз, что отравиться – легче. Есть яд, быстродействующий. Потом ходили по диагонали. Солнце лучилось косо. Отчего Вам тогда хотелось сумрака, пугал Вас рассеянный свет из окон? Он портил собор, портил мысли, что же еще? – …Потом мы сидели на дубовой скамье в противоположной от алтаря части, ближе к Почтамтской. А перед тем ходили *весь день*. Стало поздно, вышли, опять пошептались монашки. Пошли по Новому и Демидову переулкам, вышли на Сенную. Мне показалось ужасно близко. Вы показали трактир, где сидел Свидригайлов. Вышли к Обуховскому мосту, дошли до самой Палаты (на Забалканском пр. – *Сост.*). Еще с моста смотрели закат, но Вам уже не хотелось остановиться. Это было *в последний раз*. Кто-то видел нас. Следующий раз были уже на Моховой, на углу Симеоновского переулка и набер‹ежной› Фонтанки и на Невском около Глазунова, близ Каз‹анского› собора. Это уже лучше и не вспоминать и не напоминать. Это было 29 января, – а уж 7 февраля – полегче. Это было необыкновенно, кажется, очень важно, разумеется, для меня. Для Вас – мимолетность.

Александр Александрович Блок. *Из неоконченного письма Л. Д. Менделеевой. Петербург, 31 октября 1902 г.:*

‹Перед ночью.› Мне было бы страшно остаться с Вами. На всю жизнь тем более. Я и так иногда боюсь и дрожу при Вас, незримый. Могу или лишиться рассудка, или самой жизни. Это бывает больше по вечерам и по ночам. Неужели же Вы каким-нибудь образом не ощущаете этого? Не верю этому, скорее думаю наоборот. Иногда мне чувствуется близость полного и головокружительного полета. Это случается по вечерам

и по ночам – на улице. Тогда мое внешнее спокойствие и доблесть не имеют границ, настойчивость и упорство – тоже. Так уже давно и все больше дрожу, дрогну. Где же кризис – близко или еще долго взбираться? Но остаться с Вами, с Вами, с Вами…

Любовь Дмитриевна Блок:

Подходило 7-е ноября, день нашего курсового вечера в Дворянском собрании. И мне вдруг стало ясно: объяснение будет в этот вечер. Не волнение, а любопытство и нетерпение меня одолевали.

Дальше все было очень странно, если не допускать какого-то предопределения и моей абсолютной несвободы в поступках. Я действовала совершенно точно и знала, что и как будет.

Я была на вечере с моими курсовыми подругами – Шурой Никитиной и Верой Макоцковой. На мне было мое парижское суконное голубое платье. Мы сидели на хорах в последних рядах, на уже сбитых в беспорядке стульях, невдалеке от винтовой лестницы, ведущей вниз влево от входа, если стоять лицом к эстраде. Я повернулась к этой лестнице, смотрела неотступно и знала: сейчас покажется на ней Блок.

Блок подымался, ища меня глазами, и прямо подошел к нашей группе. Потом он говорил, что, придя в Дворянское собрание, сразу же направился сюда, хотя прежде на хорах я и мои подруги никогда не бывали. Дальше я уже не сопротивлялась судьбе; по лицу Блока я видела, что сегодня все решится, и затуманило меня какое-то странное чувство: что меня уже больше не спрашивают ни о чем, пойдет все само, вне моей воли, помимо моей воли.

Вечер проводили как всегда, только фразы, которыми мы обменивались с Блоком, были какие-то в полтона, не то как несущественное, не то как у уже договорившихся людей. Так, часа в два он спросил, не устала ли я и не хочу ли идти домой. Я сейчас же согласилась. Когда я надевала свою красную ротонду, меня била лихорадка, как перед всяким надвигающимся событием. Блок был взволнован не менее меня.

Мы вышли молча, и молча, не сговариваясь, пошли вправо по Итальянской, к Моховой, к Литейной – нашим местам. Была очень морозная, снежная ночь. Взвивались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый. Блок начал говорить. Как начал – не помню, но когда мы подходили к Фонтанке, к Семеновскому мосту, он говорил, что любит, что его судьба – в моем ответе. Помню, я отвечала, что теперь уже поздно об этом говорить, что я уже не люблю, что долго ждала его слов и что

если и прощу его молчание, вряд ли это чему-нибудь поможет. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала. Я отдавалась привычному вниманию, привычной вере в его слова. Он говорил, что для него вопрос жизни в том, как я приму его слова, и еще долго, долго. Это не запомнилось, но письма, дневники того времени говорят тем же языком. Помню, что я в душе не оттаивала, но действовала как-то помимо воли этой минуты, каким-то нашим прошлым, несколько автоматически. В каких словах я приняла его любовь, что сказала – не помню, но только Блок вынул из кармана сложенный листок, отдал мне, говоря, что если б не мой ответ, утром его уже не было бы в живых. Этот листок я скомкала, и он хранится весь пожелтевший, со следами снега.

Мой адрес: Петербургская сторона, Казармы Л. Гв. Гренадерского полка, кв. полковника Кублицкого, № 13.

7 ноября 1902 года

Город Петербург.

В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне «отвлеченны» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют. Верую во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Чаю Воскресения мертвых и Жизни Будущего Века. Аминь.

Поэт Александр Блок.

Потом он отвозил меня домой на санях. Блок склонялся ко мне и что-то спрашивал. Литературно, зная, что так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни. ‹…›

Мы условились встретиться 9-го в Казанском соборе. ‹…› Из Казанского собора мы пошли в Исаакиевский. Исаакиевский собор, громадный, высокий и пустой, тонул во мраке зимнего вечера. Кой-где, на далеких расстояниях, горели перед образами лампады или свечи. Мы так затерялись на боковой угловой скамье, в полном мраке, что были более отделены от мира, чем где-нибудь. Ни сторожей, ни молящихся. Мне не трудно было отдаться волнению и «жару» этой «встречи», а неведомая тайна долгих поцелуев стремительно пробуждала к жизни, подчиняла, превращала властно гордую девичью независимость в рабскую женскую покорность.

Вся обстановка, все слова – это были обстановка и слова наших прошлогодних встреч, мир, живший тогда только в словах, теперь воплощался. Как и для Блока, вся реальность была мне преображенной, таинственной, запевающей, полной

значительности. Воздух, окружавший нас, звенел теми ритмами, теми тонкими напевами, которые Блок потом улавливал и заключал в стихи. Если и раньше я научилась понимать его, жить его мыслью, тут прибавилось еще то «десятое чувство», которым влюбленная женщина понимает любимого. ‹…›

На другой день мы опять встретились у Исаакиевского собора, но лишь мимолетно. Блок сказал, что пришел только предупредить меня, чтобы я не волновалась, что ему запрещено выходить, надо даже лежать, у него жар. Он только умолял меня не беспокоиться, но ничего больше сказать не мог. Мы условились писать друг другу каждый день, он – ко мне на курсы.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Петербург, 10 ноября 1902 г.:*

Ты – мое Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без Тебя жить ни здесь, ни там. Ты Первая Моя Тайна и Последняя Моя Надежда. Моя жизнь вся без изъятий принадлежит Тебе с начала и до конца. Играй ей, если это может быть Тебе Забавой. Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе. Твое Имя здешнее – великолепное, широкое, непостижимое. Но Тебе нет имени. Ты – Звенящая, Великая, Полная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного. Мне дано видеть Тебя неизреченную. Не принимай это как отвлечение, как теорию, потому что моей любви нет границ, преград, пределов ни здесь ни там. И Ты везде бесконечно Совершенная, Первая и Последняя. И я везде для Тебя блаженный и без сомнений, в конечном безумии, в последнем сумасшествии совершу все, что Ты велишь – все великое, как убийство, все малое, все ничтожное, серое, – и оно уже не будет серым и малым, потому что сойдет от Тебя, в Твоем тайном и сладостном велении. Мои мысли все бессильны, все громадны, все блаженны, все о Тебе, как от века, как большие, белые цветы, как озарения тех лампад, какие я возжигал Тебе. Если Тебя посетит уныние, здешняя, земная, неразгаданная скорбь, тайна земная и темная, я возвеличу Тебя, возликую близ Тебя, окружу Тебя цветами великой пышности, обниму Тебя и буду шептать Тебе все очарования, и шопот мой, и голос мой будет, как шум водный, и я найду для Тебя слова и звуки священные, царственные, пророческие. Я найду все и вскрою все тайное, ибо я недаром ждал Тебя, звал и тосковал о Тебе и провидел смутно, но наяву, близко и далеко вместе – Твои откровения, которых я и до сей поры не могу постичь и измерить, – то, что Ты назвала мое имя и сошла ко мне.

Напиши мне только слово, только черту от Твоей руки, как вздох и память, символ и знак. Я не могу видеть Тебя, потому что болен и жар, но я знаю Тебя и чувствую Тебя. Все проникнуто Тобой, и моему счастью нет границы и меры, как у меня нет слов и нет логики, один оглушающий звон, благовест, звуки Любви, «сны, наяву непробудные». Я не знаю, в чем мне клясться Тебе, и клянусь Тобой, моя Любовь. Вот Тебе стихи, глупая, сонная сказка, недосказанная и недостойная Твоей Неизреченной Красоты. Я – Твой раб, слуга, пророк и глашатай. Зови меня рабом. И прости за бессилие этих слов.

* * *

Безмолвный призрак в терему,
Я черный раб проклятой крови.
Я соблюдаю полутьму
В Ее нетронутом алькове.

Я стерегу Ее ключи
И с Ней присутствую незримо,
Когда скрещаются мечи
За красоту Недостижимой.
Мой голос глух, мой волос сед.
Черты до ужаса недвижны.
Со мной всю жизнь – один Завет:
Завет Служенья Непостижной.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Петербург, 12 ноября 1902 г.:*

Мой Ангел, моя Возлюбленная, ради Себя Самой прости меня за то, что я не писал вчера. Верь мне, что минута забвения о Тебе – мне все равно, что последняя минута, смерть без исхода. Верь мне, что я с Тобой вечно, неизменно, во всех обстоятельствах, во все часы, глубоко и страстно торжествую, праздную последний сон свидания, жажду Тебя бесконечно. Мне препятствует теперь проклятое благоразумие, и я подчинюсь ему только для будущего, для неизмеримо-радостного. Я не знаю, когда это, наконец, возможно, клянусь Тебе, что сделаю все, что в моих силах. Я хочу быть перед Тобой полным бодрости и духовной силы, а Любовь не измерится и не погаснет ни теперь, ни после, никогда. Я клянусь Тебе, что Любовь к Тебе больше моей жизни и моей смерти, больше всего во вселенной, звенящая,

ликующая, что мне мало трех жизней, мало вечности, мало человеческой силы, чтобы выразить Тебе, высказать хоть ближе к Вечной Неподвижной Правде все, чем Ты была, есть и будешь для меня. И песен моих мне мало, и часто я жалею о них, о их бледности, о самой невозможности языка человеческого сказать все, что бессильно вырывается и не может прорваться. Нужны церковные возгласы, новые храмы, небывало целомудренные, девственные одежды, неслыханные, нездешние голоса и такие своды, которым и конца нет. И звук уйдет и не вернется больше, – тогда я узнаю и поверю, что он был истинно великолепен и истинно непомерен, что Ты приняла его достойного, не одетого в эти жалкие, хоть и царские, лохмотья земной поэзии. Чтобы оттуда в наш поэтический сумрак просился новый и «беззакатный день». Ты – Заря моя, Ты взглянула на всю мою ночь, на все бесчисленные обломки моей души, на дымный красный костер, бог знает как, откуда, что шепнуло Тебе, что все это истинно Твое, хоть такое разбитое, разнокалиберное, неединое? Я перед Тобой, коленопреклоненный, клянусь Тебе, что это так, что мне без Тебя – смерть, а с Тобой – Любовь.

Твой, пока живу, пока дышу, до конца.

Пиши мне еще, ради бога, что Ты пишешь – несказанно.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Петербург, 17 ноября 1902 г.:*

Что писать, когда мое сердце страстнее и звонче всех слов? Я с Тобой и больше ничего не вижу. Ты – здесь, шепчущий голос, певучая мысль. Весна моей души, Лель приветный и сладостный, до свиданья! Мне ничего не нужно больше, чем видеть Тебя. «Людские так грубы слова – их даже нашептывать стыдно», и мне невозможно сказать Тебе, что я чувствую теперь, в эту минуту.

Прекрасней Тебя – нет. Желанней Тебя – нет. Обольстительней Тебя – нет. Ты – вся женственность, не оставившая женщины, и женщина, не возмущающая женственности. Верь мне, что этого таинственного и редкого в мире сочетания почти никогда нельзя встретить. Это граничит с невозможностью, для этого нужно то, чего нет у других, такую силу прелести и всех совершенств, которые почти не сочетаемы в одном. Но я люблю тебя не за это. Я люблю Тебя так, ни за что, зная все и понимая по крайней мере неизмеримость Твоей Величайшей Красоты! И эта любовь верная и неисходная. Ни за что, не «за муки» и не «за состраданье к ним», а без причины, без цели, по велению Ангела моего, сохраняющего меня во всех путях. *Потому что Ты встретилась со мной,* потому что это единственная настоящая встреча. *И Ты пожелала.* Ты –

Святая, Великая, Недостижимая, о Которой я не мог мыслить без страха; Ты, у которой «волна кудрей» светла, «как колос спелый». Ты, о Которой после каждой, даже мимолетной, встречи я думал без конца, так что все сердце обливалось горячими и страстными волнами. Ты – Красавица, лучше Которой я не знал и не видел.

Ты вечером (или ночью) 7 ноября слушала мои бессмысленные, сбивчивые слова просто и без гнева. Я не знаю, что это было. Лучше пока не вспоминать об этом. Что же все остальное после этого, все, что окружает меня, как не пустота и не бессилие?

Боже мой, дай мне скорее возможность еще раз узнать, что это – сон или явь?

Твой, очарованный, овеянный Твоими Великими Снами.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Петербург, 20 ноября 1902 г.:*

У меня нет холодных слов в сердце. Если они на бумаге, это ужаснее всего. У меня громадное, раздуваемое пламя в душе, я дышу и живу Тобой, Тобой, Солнце моего Мира. Мне невозможно сказать всего, но Ты поймешь, Ты поняла и понимаешь, чем я живу, для чего я живу, откуда моя жизнь. Если бы теперь этого не было, – меня бы не было. Если этого не будет – меня не будет. Глаза мои ослеплены Тобой, сердце так наполнено и так смеется, что страшно, и больно, и таинственно, и недалеко до слез. Еще несколько дней я не могу, говорят, Тебя видеть, т. е. выходить. Это ужасно. Ты знаешь, что это так надо, но мне странно. И еще страннее, что я подчиняюсь нелепому благоразумию. К великому счастью, я только подчиняюсь ему, но оно вне. Во мне его нет. Пока я знаю, что дело идет о нескольких днях (сколько – несколько?) и что от этого зависит будущее, я терплю еще. Но если бы это были недели или месяцы и болезнь была бы непрерывна и мучительна, я бежал бы ночью, как вор, по первому Твоему слову, по первому намеку. Теперь, когда пройдут эти дни и я увижу Тебя, знай, что я сделаю все.

Будет говорить страсть, не будет преград. Вели – и я выдумаю скалу, чтобы броситься с нее в пропасть. Вели – и я убью первого и второго и тысячного человека из толпы *и не из толпы.* Вся жизнь в одних твоих глазах, в одном движении. Ты не увидишь перемены, кроме внешней, кроме ежечасно, ежедневно меняющихся т. н. «настроений». Во всех будет лежать печать рабства Тебе – от скептицизма мирового до печальной мудрости, от экстаза до неподвижности. Здесь в мире, в России, среди нас теперь делаются странные вещи и в Москве, и в Петербурге.

Бегают бледные, старые и молодые люди, предчувствуют перевороты и волочат за собой по торжищам и по утонченным базарам, и по салонам, и по альковам красивых женщин, и по уютам лучших мира сего – знамена из тряпок и из шелка, и из неведомых и прекрасных тканей Востока и Запада. И волочат умы людей – и мой тоже. Но сердце, сердце незабвенное и все проникающее, знает Тебя. И покоряет ум и волю, и властвует над ними, и приказывает им. Там – мне нет числа. Здесь – я с Тобой и один. Мое тамошнее треплется в странностях века. И все оно собирается здесь, у Твоих ног, как непокорная змея, желавшая познать и заслушавшаяся лучшей и неслыханной Музыки. Твоя воля открыть мне все бездны, и я безвольно и безмысленно исчезну в них.

Любовь Дмитриевна Блок. *Из письма А. А. Блоку. 20 ноября 1902 г:*

Твои письма кружат мне голову, все мои чувства спутались, выросли, рвут душу на части, я не могу писать, я только жду, жду, жду нашей встречи, мой дорогой, мое счастье, мой бесконечно любимый!

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Блок. Петербург, 22 ноября 1902 г.:*

Я ни о чем не думаю теперь, мне кажется все, что Солнце всходит; я вижу день, когда встречу Тебя. Это будет полно света и блаженства для меня и для всего мира! Теперь я ничего не понимаю, меня дергают со всех сторон и тащат, а я овеян и очарован, и ослеплен, и очень даже глуп снаружи, потому что довольно бессмысленно улыбаюсь не тогда, когда этого требует тема. Если бы мне сказали, что мой знакомый повесился, я бы в восторге обнял говорящего и нашел бы это обстоятельство приятным. Ты – лучше всех, важнее всех, глубже всего, все скрываешь за Собой от меня, Тебе нет равных, я люблю, люблю Тебя, моя Светлая, моя Дивная, Чудесная, Великолепная, Святая. Люблю Тебя страстно, звонко, восторженно, весело, без мысли, без сомнений, без дум, в снах, непробудных наяву, блаженных, как Ты. Тебе, Тебе и только Тебе вся моя жизнь, счастье и горе, все повергаю к Твоим ногам.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Петербург, 23 декабря 1902 г.:*

Если бы только увидеть Тебя скорее, остальное все прекрасно. Ты знаешь, что я молодею около Тебя. С тех пор, как Ты изменила внезапно всю мою жизнь, я чувствую с каждым днем все больший

подъем духа. У меня никогда не бывало зим без долгих и бесплодных часов апатии. Теперь нет давно уже ничего подобного, у меня столько энергии, сколько никогда не было. Твоя близость действует незримо и таинственно, дает сознание какой-то «породы», очищающейся и расцветающей. Сегодня я уходил днем в город, был на Забалканском и у нас. Когда я вошел, я увидел свет над дверью (там была поднята штора) и стал открывать ее и шевелить без ключа, и мне казалось, что я опять услышу за дверью шорох Твоего платья, и Ты откроешь мне. Почему-то мне казалось так, хотя я и не надеялся. И был немного разочарован. Но это будет, скоро и вместе как долго! Завтра, 25-е и потом только вечером 26-го – и Ты будешь не одна. Тогда нам лучше стараться не делать ни малейших намеков, это и легче даже, потому что от намеков разгорается сердце. Я читал Твое письмо, которое Ты дала мне, и подумал, что если бы я получил его тогда же, в прошлом году (т. е. после 29 янв‹аря›), я и тогда же разубедил бы Тебя во всем. Я бы понял тогда сразу, что разом с отвлеченных намеков нужно перейти к реальному и страстному до сумасшествия признанию во всем. Может быть, Ты до сих пор думаешь, что было когда-нибудь время, когда я только думал о Тебе, и не чувствовал Тебя, живую, источник моей жизни, а не моей фантазии. Этого никогда не было. Было только время, когда Твоя холодность принимала такие размеры, что мне оставалось только ждать загробных свиданий. Но не было дня, когда бы я на первое слово, движение, улыбку в мою сторону не ответил бы Тебе со всей земной страстью; и Ты напрасно думаешь и теперь, что бывают у меня дни отвлеченные и реальные. Бывают более отвлеченные, когда я надышусь метафизикой из книг или от людей, которые все говорят, в сущности, об одном. Тогда я только чувствую еще и будущие миры. Но никогда, раз навсегда клянусь Тебе, я не в силах уйти в полную отвлеченность. Я никогда не забуду, что Ты живая и молодая, такая, как Ты есть перед глазами, в простом человеческом сердце моего существа. Ты принимаешь за отвлеченное, м. б., иногда образы и фантазии в рифмах. Но ведь стихи и образы не рассудочны. Только форма их гранится рассудком (окончательная), а содержание и, главное, «субстанция» всегда выпевается из сердца прямо, непосредственно. Воля, которая выражается в стихах, есть страстная, а не разумная воля. Я люблю Тебя так, как наверно никогда и никого не любил и не полюблю. Ты – вся моя молодость, моя живая надежда, мое земное бытие. Ты – мой идеал не только «там», но и «здесь». И это было так всегда с тех пор, как я Тебя встретил. И всегда я сказал бы Тебе о моей

страсти, если бы Ты позволила мне в прежние года говорить не только о бесстрастном. Но Ты никогда не позволяла мне этого, и это было так надо. Я писал бы Тебе сейчас всю ночь. Я полон Тобой весь день. Я хочу обнять Тебя, гладить Твои волосы, смотреть в Твои глаза. ‹…› А Ты поверь мне до конца, что я люблю Тебя земной любовью, что больше этой любви нет пока, а потом только настанут иные времена. Но мне не надо их теперь, потому что в Тебе такой, как Ты есть, – мое все, моя вера, мой бог.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Петербург, 25 декабря 1902 г.:*

Пишу Тебе, очертя голову, не зная, как Ты получаешь письма. Беспокоюсь об этом. Сегодня – два твоих письма, боже мой, какие небывалые, несказанные слова! Я совершенно окружен излучинами Твоего сердца, думаю о том, когда мы увидимся, упрекаю себя за вчерашнее. Кажется, у меня до сих пор жар – придется ждать. Наконец-то у Тебя озарены глубины Твоей души. Я думал, что туда, в загадочную для меня область, в мое несбыточное, не проникнут мои лучи при всем их пылании. Но здесь, очевидно, судьба, дело какого-то светозарного бога, ангела, благосклонного ко мне. Здесь завязываются узлы каких-то заранее предначертанных целей, как у Ап. Григорьева:

Да, я знаю, что с Тобою
Связан я душой.
Между вечностью и мною
Встанет образ Твой.

«Знаю только одно, что безумно люблю». Это и есть моя вечность, моя углубленная стихия, последняя цель, с которой издавна связывалось все происшедшее в моей жизни. Сегодня у меня нет слов, я предпочел бы петь. Написал хорошие стихи, но теперь не пошлю их Тебе. Они совсем другого типа – из Достоевского, и такие христианские, какие я только мог написать под Твоим влиянием. Часто я хочу теперь всех простить. То, что в прошлом году воспринималось с болью и ожесточением, теперь чище и светлее. Из сердца поднимаются такие упругие и сильные стебли, что часто кажется, будто я стою на пороге всерадостного познания – и хочу говорить: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии – и Аз упокою вы. Ибо бремя Мое легко». Жизнь светлая, легкая, прекрасная. К счастью, мы переходим из эпохи чеховских отчаяний в другую, более положительную: «мы отдохнем». И это правда, потому что есть от чего отдыхать: перешли же весь сумрак, близимся к утру. Чего

только не было – и романтизм, и скептицизм, и декаденты, и «две бездны». Я ведь не декадент, это напрасно думают. Я позже декадентов. Но, чтобы мне выйти из декадентства современного мне, затягивавшего меня бесформенностью и беспринципностью, нужно было волею Божиею встретить то пленительное, сладостное и великое, что заключено в Тебе. И открылось дремавшее сердце. В Тебе – все спасение, от отчаянья, потому что непрестанно можно черпать из живого родника, неиссякающего, неутомимого. Ты нужна мне, как религия. Чувствую, что все что будет еще когда-нибудь нужно, я найду в Тебе. «Сияй же, указывай путь, веди к недоступному счастью того, кто надежды не знал». Прости, что все цитирую чужих. Но мне надо песен, когда около нет Тебя, воплощенной песни моего духа.

Твой.

Мария Андреевна Бекетова:

В январе 1903 года Александр Александрович сделал предложение и получил согласие Любови Дмитриевны Менделеевой.

Сергей Михайлович Соловьев:

В марте 1903 года я получил от Блока радостное письмо. Оно звучало как вариант к его стихам:

Вот они – белые звуки
Девственно-горних селений…
Девушки бледные руки,
Белые сказки забвений…

Блок писал: «Тебе одному из немногих и под непременной тайной я решаюсь сообщить самую важную вещь в моей жизни. Я женюсь. Имя моей невесты – Любовь Дмитриевна Менделеева. Срок еще не определен, и не менее *года*».

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Петербург, 8 апреля 1903 г.:*

Если я и посылаю это письмо, то не знаю зачем? Могу ли я что-нибудь новое прибавить; думаю, что страстно желаю музыки Твоей души, оттого и пишу. Пока пишу, слушаю. И пока слушаю, могу расслышать то, чего нет здесь. ‹…› До такой степени жизнь переполнена, точно чаша до краев и наверху медленно и верно вскипает. Что это – оно? (оно – вскипающее). Я не знаю. Я никогда этого не встречал. Пока я любил Тебя отдаленно, были звезды, были цветы и было все прекрасное, что есть в мире, было

здесь – при мне. Верные прислужники метафизических прихотей – цветы и звезды. Они исполняли меня и они выводили в равнину, где ближе, чем думалось, и дальше, чем хотелось, – где-то – вне времен, воли, жизни даже – билось Твое Сердце. И оно билось – этого я до сих пор не пойму. И вот еще: этому я никогда в жизни окончательно не поверю. Не испугайся. Это все – к Тебе. Я только хочу сказать, что я никогда не постигну моего собственного «достоинства», т. е. той моей лучшей части, которая прикликала Тебя. И вот что вышло. Ты стоишь около и видишь меня – такого, как я есть на самом деле! Ты – такая, как Ты есть, видишь и хочешь видеть. Ты – белее стен Нового Иерусалима, Невесты Христовой и краше цветов, распускающихся ночью в тех странах, куда никогда никто не придет, которых никто никогда не увидит, которых – нет. Такой белизны Твоего внутреннего Света никогда не будет. Таких цветов, каких Ты краше, никогда не было. Но Ты – есть – теперь – в настоящем – и живая. И отчего это – для меня? Что я могу? Что мне может присниться о Тебе? Где во мне То, к чему Ты пришла? Я не знаю Его – и не встречу. Это – Знак – благодать Божия, «данная бедным в дар и слабым без труда». Когда я узнаю Это, я узнаю в то же мгновенье, что Ты – вдвоем со мной. Раньше я не буду видеть, не буду знать, буду слеп, как Савл, у которого очи в чешуе. Но будет время, когда я стану Твоим Апостолом.

Вот, когда я любил Тебя отдаленно, я знал, что вся природа мне служит Символом Твоим. Я часто был верен и дерзок, как верна дерзкая рука, пишущая Тебе эти строки. Я знал тогда, что Ты *не сойдешь,* – и ошибался. Так же и только обратно ошибался черный невольник, которого отталкивала Царица. И он умирал тогда – его жизнь сгорала. Но я ошибся не так, Ты пришла и повеяла. И значит, я не должен умереть. Или правда, что я «не умру, *но изменюсь* скоро, во мгновение ока, по Последней Трубе»? (ап. Павла послание к Коринфянам). Прости, прости и прости меня – я вечно буду *требовать* Твоего прощения. За что Ты (или Ты не одна, и Тебя ведут в сумерках по белым ступеням Невидимые Руки Той, с кем у Тебя завет?) – за что Ты *воскрешаешь* меня? Отчего Ты избираешь меня из толпы, которая до сих пор нестройно и безразлично для Тебя колыхалась перед Твоими голубыми окнами?

Великий «грех» и великая ересь молиться женщине. Но Бог видит, какова моя молитва, и, может быть, простит мне не только это, но и все, что было и что будет, даже смерть от счастья быть с Тобой и угадывать Тебя. Сердце как будто хочет раздаться в своей напряженности. Если в нем тот драгоценный камень, который привлек Тебя и которого искали в сумерки у ворот

своего города люди с неподвижными глазами в длинных струящихся сединах, люди страны забытой и несуществовавшей (это – мой миф, прости, что я его сейчас придумал), если Этот Камень – в моем сердце, то он треснет и по нему побегут бесчисленными линиями, разбегаясь и скрещиваясь, как тонкие паутинки, струи Откровения. Но – все равно:

Как тогда – с безгласной улыбкой
Ты прочтешь на моем челе –
О Любви, неверной и зыбкой,
О Любви, что цвела на земле.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Петербург, 15 мая 1903 г.:*

Моя Дорогая, моя Милая, моя Несказанная, до чего я опять хочу сегодня быть с Тобой вдвоем только и больше ни с кем никогда. Отделиться от всего стенами, не слышать ни одного звука других голосов, не видеть ни одного лица. И, точно так же, не знать и не верить ни одному событию, ни великому, ни малому из посторонних нашему Счастью. Знаешь, что это такое? То, что я давно почти ничему не удивляюсь, очень глубоко все знаю и потому не осуждаю уже никого и никогда просто. Давно известно то, что еще удивляет и пугает многих, многое из этого уже скучно и ненужно. Ты знаешь, что это не апатия, и ничего подобного. Но устаю от обычного и не всегда хочу совсем необычного. Теперь вот это так. И потому, вот в эту минуту, чувствую, что мне нужно особенно того, что Ты, кроме совсем необычного и Одной Тебе свойственного, можешь дать мне – одна во всем мире: женской любви – женской. Это и есть то наше отдельное и наше будущее, о чем я сейчас думаю: одни стены, одна комната, одна обстановка, одни мысли, одно и то же чувство, одна душа, полное «сочувствие» – то, что дается только одним условием – брака; не страсти, не маскарад, не маски, не цыганские песни, не искры в глазах среди пестрой толпы. Все это будет еще, как было, никуда не ушло, и Тебе и мне дорого и необходимо. Брак НЕ исключает этого, я знаю. Но то, о чем я говорю в эту минуту, возможно только тогда, когда мы будем связаны неразлучно. Чувствуешь ли Ты, как я вот сейчас, что беззаконность и мятежность совсем не исчезают в браке, они вечно доступны, потому что мы, как птицы, свободны и можем, как птицы, замирать и биться высоко в воздухе, с тем же криком, с тем же клекотом и призывностью молодой свободы. И знаешь ли Ты еще, что законность и безмятежность также необходимы в другие минуты, доступны только знающим о неразрывности

своих связей, проникшим глубоко в тайну своего, отделенного от всех других, круга, имеющим право не впустить в него никого, ибо «что бог соединил, человек не разлучает». И Ты думаешь еще, что я «жалею» чего-то. Ты не жалей, а я то уж никогда не буду. Что же для меня все остальное (если хочешь, даже все остальные женщины, ибо это единственное, о чем мне, Ты думаешь, можно жалеть?), когда я так твердо и так неоспоримо знаю, что мне, кроме Тебя, никого не нужно? И может ли быть иначе, когда я все время чувствую, день ото дня сильнее, всевозможную связь с Тобой? Если бы Ты теперь вдруг, почему-нибудь, отошла от меня, я совсем не мог бы остаться. Что уж говорить о грехе, когда самоубийство стало бы глубоко законным для меня и ни одна струна не шевельнулась бы во мне против него. И ты думаешь, что я жалею!

Александр Александрович Блок. *Из дневника:*

В конце мая (по-русски) уезжаем в N‹auhei›m. Скряжническое и нищенское житье там, записывается каждый пфенниг. Покупка плохих и дешевых подарков. В середине европейского июля возвращаемся в Россию (через С.-Петербург в Шахматово). Немедленные мысли о том, какие бумаги нужны для свадьбы, оглашение, букет, церковь, причт, певчие, ямщики и т. п. – В Bad Nauheim'е я большей частью томился, меня пробовали лечить, это принесло мне вред. Переписка с невестой – ее обязательно-ежедневный характер, раздувание всяких ощущений – ненужное и не в ту сторону, надрыв, надрыв…

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Бад-Наугейм, 31 мая (13 июня н. ст.) 1903 г.:*

Настал вечер, и я нашел себя. Нашел великую, бьющую волнами любовь, сердце, как факел, все дрожащее и бьющееся. Нашел Твою песню в воздухе. Лица людей слились с ночью, их не различить, и они не мешают. Жадно и сильно вспоминаю; ночь сырая и звездная. Ты, Ангел Светлый, Ангел Величавый, Ты – Богиня моих земных желаний. Я без конца буду влюбленный, буду страстный, буду Твой поклонник и раб. Если иногда будут времена упадка и слабостей – ничего. Я впился в Твою жизнь и пью ее. Вся тебе знакомая сложность, может быть вычурность, моих рассудочных комбинаций временами, как теперь, бросается в сердце, там плавится и пылает, и все это, как огромный бушующий огонь, я чувствую и знаю, будет по-земному, по-здешнему – Твое до конца, без разделений. Будет время, которое оглушит меня самого. Я ни о чем не буду думать, буду только весь в одном чувстве. Так бывает, поверь, поверь! То, что Ты

называешь не непосредственностью, вдруг будет непосредственным. Знаешь ли Ты, что меня страстно влечет к такой жизни, к такому вихрю. Пусть «роман»– он прекрасен. Пусть все, что угодно, не нужно ни слов, ни названий, ни дум, ни сомнений, ни рассудка. Я точно усну на то время, буду совсем другой. Не будет того «смеха», который давил Тебя, помнишь? Я уж говорю прямо. Будет, как служение, как молитва, как ураган – без тишины, без успокоенности. Знаешь ли – без «тихого угла», без «семейности», будешь Ты и буду я – одно. Об этом вихре, об этих мгновениях сладких и безумных, о которых мы всю жизнь не забудем, теперь мне говорит память о Тебе. В Твоих глазах, в Твоих движениях, в очертаниях Твоих, в Твоих дрожащих руках я видел и узнал это – то, что будет. Я никогда не знал истинной влюбленной страсти – этого поразительного сочетания. Как же можешь Ты отрицать во мне возможность почувствовать ее? Я говорю Тебе, что я все забуду. Я уже теперь забываю все. Я влюблен, знаешь ли Ты это? Влюблен до глубины, весь проникнут любовью. Я понимаю, я знаю любовь, знаю, что «ума» не будет, я не хочу его, бросаю его, забрасываю грязью, топчу ногами. Есть выше, есть больше его. Ты одна дашь мне то, что больше, от этого и свято все наше прошедшее. Оно передо мной, как громадная, бесконечная, сложная, красивая, движущаяся змея. Всей этой истиной последних 5-ти лет, сплошь заполнившей жизнь, наводнившей ее, я живу и буду жить. Лучшего не было. Но все это лучшее покрывает один зовущий звук Твоего голоса. Знаешь ли Ты, что мне не нужно «тонкостей», извращенно-утонченных, «декадентско-мистических излияний», «мужских» умствований. Мне нужно скачку, захватывающую дух, чувство Твоей влажной руки в моей, ночь, лес, поле, луны красные и серебряные; то, о чем «мечтают» девушки и юноши отвлеченно, то мне нужно наяву. Опьяненности и самозабвения какими угодно средствами – пусть опера, пусть самая элементарная музыка, самые романтические бредни итальянских любовников, романсы со словами «розы – слезы», «мечта – красота», «вновь – любовь» и т. д. Только пусть голос поющего призывающий, пусть Ты около, Ты, гибкая, как стебель, влюбленная, зовущая в ночь – и знать, что замолчит голос, потушат огни – и мы уйдем, и будет ночь, и будем вдвоем, и никакие силы не разделят, и будет упоение и все – забвение, сила сплетающихся рук, Твои поцелуи, Твои белые зубы, Твои плечи, Твое благоуханное дыхание, замирающие движения, красота, страсть и безумья долгих мгновений. Чтобы знали оба, что принадлежат друг другу во всем, и был ответ на вопрос без слов и без мыслей. О, я знаю, что это может быть! Я не напрасно полюбил Тебя, не напрасно

вызвал Тебя из Твоего отрочества я, а не другой, мы не напрасно подали друг другу руки. Мы влюблены и верим друг другу. И многих, и многих слов уже не нужно.

Ты не хочешь верить, как я чувствую, а не только понимаю то, что Ты говоришь иногда, как будто раскаиваясь, что сказала. Я с Тобой единодушен, одушевлен одним и тем же, отзываюсь не всегда оттого только, что разные впечатления предшествовали или сопутствуют этому. Но отзовусь и запою одним голосом какой Ты хочешь страсти, до бешенства и безумия пойму и приму все, отдамся весь Тебе и Ты мне. Эти времена будут повторяться и будут прерываться, так нужно и так, Ты знаешь сама, неизбежно, но еще мы оба знаем, что это ничего, что у Тебя самой будут перерывы. Так будет волнующаяся жизнь, и мы будем опьяненные высоко, на гребнях волн, и будем стремительно, в вихре и пене нырять до самых глубоких и тайных проникновений в жизни друг друга. Оттого мы совсем узнаем и поймем друг друга только тогда – и во все остальные мгновения будет памятно это стремительное и бурное познание друг друга без мыслей и разговоров, без слов и рассуждений. Так Ты хочешь, я знаю, но знай, что и я хочу именно так, не иначе. Я хочу быть без конца влюбленным в Тебя и Твою духовную и телесную красоту (прости!) и сердцем, сердцем, сердцем узнавать и любить. Поэт же, как бы он ни глубоко погрузился в отвлеченность, остается в самой глубине поэтом, значит любовником и безумцем. Когда дело дойдет до самого важного, он откроет сердце, а не ум и возьмет в руки меч, а не перо, и будет рваться к окну, разбросав все свинки стихов и дум, положит жизнь на любовь, а *не* на идею. Корень творчества лежит в Той, которая вдохновляет, и она вдохновляет уже на все, даже на теорию, но, если она потребует и захочет, теории отпадут, и останется один этот живой и гибкий корень. Так и я теперь, верно, опять приближаюсь к т. н. «эротической» области поэзии, в стихах, которые скоро будут, мелодия уже поет иначе. Пока все еще поет одна мелодия, слов нет. Но я уже открываю глаза, понимаю небо и землю, восстаю из праха, исполняюсь гордостью о Тебе. Содержания и слов еще почти нет, но уже знакомое чувство близко. Так бывает перед стихами. ‹…› Наверное, будет песня рыцарского склада, там прислушаюсь я к цветению роз красных, розовых и белых на Твоей груди и на Твоем окне. Руки Твои белые, изваянные, дрожащие, горячие, прижимаю к губам, мое Откровение, мой Свет, моя Любовь.

Твой. Напиши.

Александр Александрович Блок. *Из письма*

Л. Д. Менделеевой. Бад-Наугейм, 4(17) июня 1903 г.:

Милая, Милая, Единственная, Ненаглядная, Святая, Несравненная, Любимая, Солнце мое, Свет мой, Сокровище мое, Жизнь моя – или лучше без имен. Я ничего, ничего не могу выговорить. Верь мне, я с Тобой, я всю жизнь буду у Твоих ног, я мучительно люблю, торжественно люблю, звездно люблю, люблю всемирной любовью Тебя, Тебя, Тебя Одну, Единственную, Жемчужину, Единственное Святое, Великое, Могущественное Существо, Все, Все, Все. Это и стихи написано не в одно время. Теперь ночь, и я не могу молчать, как в этих стихах. Ведь я вечно молчу, томительно молчу, убийственно молчу, проклинаю себя за то, что молчу перед Тобой, зачем я молчу, зачем я мало высказал Тебе, зачем я не умел и до сих пор не умею ничего, ровно ничего выразить и зачем нет слов ни на каком языке для того, чтобы небо и землю расшатать словами любви и страсти. Я в прахе перед Тобой, обнимаю Твои колени, я не смею и не дерзаю большего и все это пишу, пишу Тебе на проклятой, бездушной бумаге проклятыми бездарными словами, бессильно, за тысячи верст от Тебя, не знаю, что Ты в эту минуту, где Ты, как Ты, что Ты думаешь и делаешь. Чувствую свое убожество перед Тобой, целую Твои ноги, недостойный и страстный, страстный, измученный тем, что столько не видел Тебя. Больше ничего, все, больше не нужно, подол Твоего платья целую горящими недостойными его губами, я, пыльный человек, Ангелу Света, былинка у ног Твоих, Розовая, Крылатая, Светлая, Дивная, Чудесная.

Любочка, Любочка, если бы Ты знала, сколько молитвы! Ты знаешь все, все видишь; Любочка Ненаглядная!

Если только Она подойдет –
Буду ждать, буду ждать…
Голубой, голубой небосвод…
Голубая, спокойная гладь.

Кто прикликал моих лебедей?
Кто над озером бродит, смеясь?
Неужели средь этих людей
Незаметно Заря занялась?

Все равно – буду ждать, буду ждать…
Я – один, я в толпе, я, как все…
Окунусь в безмятежную гладь –
И всплыву в лебединой красе.

3 (16) июня

Ненужные бездарные стихи.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Менделеевой. Бад-Наугейм, 16(29) июня 1903 г.:*

Я не знаю, как я буду говорить с Тобой, когда приеду. Еще ни разу с 7 ноября мы не расставались на месяц. Мои дни здесь – жаркие, утомительные и сонные. Когда наступает вечер, у меня начинается смятенье в душе, а к ночи, когда кричат коростели и шумят поезда, поднимается целая буря, и мне хочется медленно красться и прятаться в тени белых вилл и старых деревьев, точно Ты назначила мне тайное свидание где-то и близко и далеко, в тени, у воды. Тут будто вся ночь только для того, чтобы незаметно и тайно от всех сильно и страстно сжать Тебя в объятиях в шепчущей тишине, прижаться к Твоим губам, увести Тебя на край города, будто на край земли, слушать Твой долгий медленный шопот. Мне нужно, чтобы Ты зажала мне губы поцелуями без конца и заставила все забыть, чтобы предаться Тебе страстно и надолго, без единой мысли. Я пишу все это, точно одурманенный сонной грезой Твоего Присутствия, отдельной от всех, сознавая, что я законно ничего не понимаю больше в эту минуту и ровно никому не обязан признаваться столь томительно страстными словами, кроме Тебя. Кроме Тебя, нет ничего, и все слилось в Тебе, все мое прошлое и будущее, и настоящее, и ночь, и тихие росы, и знойные мысли. Я дерзок и свободен сказать Тебе, что красивее нас вдвоем нет ничего. Никогда не было у меня прежде этих забвений, этого праздника сердца, чтобы я мог так целиком свернуть шею уму и погасить все огни, кроме ночных поцелуев. Там в парке кружится теперь целый рой летучих светляков, и вода поет, башня задумалась, внизу и на горе – молчание, город задремал; все эти хромые, убогие, больные и нищие силой, если мучаются, то у себя, так что не видно, и не слышно, и не нужно. Осталась задумчивость розовых кустов, и шопот в полях, и гибкость в травах, и ниспадающая роса, и эта летучая гибкость в руках, стремящихся обвиться кругом Твоей талии, и непомерная, небывалая ласковая дерзость сердца.

Довольно. Прости.

Твой.

Сергей Михайлович Соловьев:

Свадьба была назначена на 17 августа. Я писал, что по некоторым обстоятельствам не могу быть. Блок прислал мне огорченное и ласковое письмо. В последние дни дела сложились так, что я поехал.

Вечером 15 августа я неожиданно вошел в гостиную шахматовского дома, где Блок сидел с матерью и другими родными. На пальце его уже блестело золотое кольцо. На другой день мы вдвоем с ним поехали в соседнее имение Менделеевых Боблово, где жила невеста Блока. Любовь Дмитриевна встретила нас на крыльце и показалась мне олицетворением стихов:

Месяц и звезды в косах,
Выходи, мой царевич приветный.

Ее кузины убирали балкон зеленью. В крепко строенном доме Дмитрия Ивановича Менделеева мы обедали. Я сидел недалеко от великого химика, и мне как-то странно было видеть в натуре лицо, столь известное по картинкам в журналах. Рядом со мною сел шафер невесты, молодой польский граф Развадовский, которого Блок называл «петербургским мистиком». ‹…›

Уже стемнело, когда подали лошадей. Блок, низко поклонившись, поцеловал руку своей невесте, и мы отъехали. Еще раз, в эту знаменательную для него ночь, ехал он через тот лес, через который привык проезжать верхом, глухою ночью. Ведь его роман начался очень давно, в лето после окончания им гимназии.

На другой день я приехал с розовым букетом к невесте, чтобы везти ее в церковь. «Я готова», – сказала Любовь Дмитриевна и поднялась с места. Я ждал у дверей. Начался обряд благословения. Старик Менделеев быстро крестил дочь дряхлой, дрожащей рукой и только повторял: «Христос с тобой! Христос с тобой!»

Наш поезд двинулся.

Священник церкви села Тараканова был, по выражению Блока, «не иерей, а поп», и у него бывали постоянные неприятности с шахматовскими господами. Это был старичок резкий и порывистый. «Извольте креститься», – покрикивал он на Блока, растерянно бравшего в пальцы золотой венец, вместо того чтобы приложиться к нему губами. Но после венчания Блок сказал мне, что все было превосходно и священник особенно хорош.

1902–1903. В начале пути

Зинаида Николаевна Гиппиус:

В тот яркий осенний день, с которого начинается мой рассказ, из письма Ольги Соловьевой выпало несколько отдельных листков. Стихи. Но прочтем сначала письмо.

В нем post scriptum: «…а вы ничего не знаете о новоявленном, вашем же, петербургском, поэте? Это юный студент, – нигде, конечно, не печатался. Но, может быть, вы с ним случайно знакомы? Его фамилия Блок. От его стихов Боря (Бугаев) в таком восторге, что буквально катается по полу. Я… право, не знаю, что сказать. Переписываю Вам несколько. Напишите, что Вы думаете».

Вошли ли эти первые робкие песни в какой-нибудь том Блока? Вероятно, нет. Они были так смутны, хотя уже и самое косноязычие их – было блоковское, которое не оставляло его и после, и давало ему своеобразную прелесть.

И тема, помню, была блоковская: первые видения Прекрасной Дамы.

Петр Петрович Перцов *(1868–1947), поэт, публицист, издатель журнала «Новый путь»:*

Помню как сейчас широкую серую террасу старого барского дома, эту осеннюю теплынь – и Зинаиду Николаевну Гиппиус с пачкой чьих-то стихов в руках. «Прислали (не помню, от кого)… какой-то петербургский студент… Александр Блок… посмотрите… Дмитрий Сергеевич забраковал, а по-моему, как будто недурно…» Что Дмитрий Сергеевич забраковал новичка – это было настолько в порядке вещей, что само по себе еще ничего не говорило ни за, ни против. Забраковать сперва он, конечно, должен был во всяком случае, что не могло помешать ему дня через два, может быть, шумно «признать». Одобрение Зинаиды Николаевны значило уже многое, но все-таки оно было еще очень сдержанным. Поэтому я взял стихи без недоверия, но и без особого ожидания. Я прочел их…

Это были стихи из цикла «Прекрасной Дамы».

Зинаида Николаевна Гиппиус:

Ранней весной, – еще холодновато было, камин топился, значит, в начале или середине марта, – кто-то позвонил к нам. Иду в переднюю, отворяю дверь.

День светлый, но в передней темновато. Вижу только, что студент, незнакомый. Пятно светло-серой тужурки.

– Я пришел… нельзя ли мне записаться на билет… в пятницу, в Соляном Городке Мережковский читает лекцию…

– А как ваша фамилия?

– Блок…

– Вы – Блок? Так идите же ко мне, познакомимся. С билетом потом, это пустяки…

И вот Блок сидит в моей комнате, по другую сторону камина, прямо против высоких окон. За окнами, – они выходят на соборную площадь Спаса Преображения, – стоит зеленый, стеклянный свет предвесенний, уже немеркнущее небо.

Блок не кажется мне красивым. Над узким высоким лбом (все в лице и в нем самом – узкое и высокое, хотя он среднего роста) – густая шапка коричневых волос. Лицо прямое, неподвижное, такое спокойное, точно оно из дерева или из камня. Очень интересное лицо.

Движений мало, и голос под стать: он мне кажется тоже «узким», но он при этом низкий и такой глухой, как будто идет из глубокого-глубокого колодца. Каждое слово Блок произносит медленно и с усилием, точно отрываясь от какого-то раздумья.

Но странно. В этих медленных отрывочных словах, с усилием выжимаемых, в глухом голосе, в деревянности прямого лица, в спокойствии серых невнимательных глаз, – во всем облике этого студента – есть что-то милое. Да, милое, детское, – «не страшное». Ведь «по какому-то» (как сказал бы юный Боря Бугаев) всякий новый взрослый человек – страшный. В Блоке именно этой «странности» не было ни на капельку, потому, должно быть, что, несмотря на неподвижность, серьезность, деревянность даже, – не было в нем «взрослости», той безнадежной ее стороны, которая и дает «страшность».

Ничего этого, конечно, тогда не думалось, а просто чувствовалось.

Не помню, о чем мы в первое это свидание говорили. Но говорили так, что уж ясно было: еще увидимся, непременно.

Кажется, к концу визита Блока пришел Мережковский.

Петр Петрович Перцов:

Блок держался как «начинающий», – он был застенчив перед Мережковским, иногда огорчался его небрежностью, пасовал перед таким авторитетом. З. Н. Гиппиус была для него гораздо ближе, и юношеская робость таяла в ее сотовариществе, – он скоро стал носить ей свои стихи и литературно беседовать. Влияние Мережковских надолго сказалось на Блоке: еще в самом конце девятисотых годов он выступал не раз в религиозно-философских кружках с докладами на темы и в духе этого

влияния; к счастью, его поэзия осталась, кажется, совсем свободной от него.

Мария Андреевна Бекетова:

Без всяких усилий с его стороны пришла к нему сначала известность, а потом и слава. В первый раз стихи его должны были появиться в 1902 году, в студенческом сборнике под редакцией Б. Никольского и Репина, но «Сборник» запоздал чуть не на год. И в 1903 году, опередив «Сборник», стихи напечатал журнал «Новый путь» и почти одновременно московский альманах «Северные цветы».

Петр Петрович Перцов:

В «Новом пути» после первого, дебютного номера (январь 1903 года) было решено применять систему печатания стихов по авторам: то есть в каждой книжке помещать одного какого-либо поэта в ряде пьес, напечатанных вместе, взамен традиционной системы – рассыпать разнохарактерные «вещицы» различных авторов по всей книжке журнала, «на затычку». Нехитрая реформа, но тогда и это было новшеством. Так, февральская книжка была отдана Сологубу, а март предназначался для З. Н. Гиппиус. Но она сама пожелала уступить этот месяц Блоку; март казался самым естественным, даже необходимым месяцем для его дебюта: март – месяц Благовещенья. Со стороны молодого журнала была некоторая отвага в таком решении: выдвигать уже в третьей книжке дебютанта, о котором заранее можно было сказать, что «широкая публика» (публика 1903 года!) не примет его как своего певца. В «портфеле» редакции, то есть в ящиках письменного стола, лежали стихи Минского, Мережковского и такого общеприемлемого для всех времен (хотя прекрасного) поэта, как Фофанов. Но хотелось «пустить» Блока – и именно в марте… «Букет» его стихов составился легко и был подобран самим автором. ‹…›

«Новый путь», как журнал религиозно-светский, был подчинен целым двум цензурам – светской и духовной, в которую направлялись корректуры религиозного или «похожего» на то (по мнению светского цензора) содержания. Большие буквы стихов Блока подчеркнуто говорили о некоей Прекрасной Даме – о чем-то, о ком-то, – как понять о ком?

Белая Ты, в глубинах не смутима,
В жизни – строга и гневна.
Тайно тревожна и тайно любима,

Дева, Заря, Купина.

……
Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета.
Вижу очи Твои.

От таких стихов не только наш старомодный и угрюмо подозрительный «черносотенец» Савенков (светский цензор журнала, очень к нему придиравшийся) мог впасть в раздумье… Стихи с большими буквами могли легко угодить в духовную цензуру, и хотя она в общем была мягче светской, но в данном случае и она могла смутиться: менестрелей Прекрасной Дамы не знают русские требники. И без того, отправляя стихи в цензуру, мы трепетали вероятного – минутами казалось: неизбежного – запрещения. Большие буквы… ах, эти большие буквы! – именно они-то и выдавали, как казалось, автора с головой. «Не пропустят»… И тут вдруг кому-то в редакции мелькнула гениальная мысль: по цензурным правилам, нельзя менять текста после «пропуска» и подписи цензора, но ничего не сказано о чисто корректурных, почти орфографических поправках, как, например, перемена маленьких букв на большие. Итак – почему бы не послать стихи Блока в цензуру в наборе, где не будет ни одной большой буквы, а по возвращении из чистилища, когда разрешительная подпись будет уже на своем месте, почему бы не восстановить все большие буквы на тех местах, где им полагается быть по рукописи? Так и было сделано – и, вероятно, эта уловка спасла дебют Блока: цензор вернул стихи без единой помарки и не заикнулся о духовной цензуре, хотя при встрече выразил мне недоумение: «Странные стихи…» Но ведь странными должны были они показаться далеко не одному благонамеренному старцу Савенкову.

Александр Александрович Блок. *Из письма С. М. Соловьеву. Петербург, 20 декабря 1903 г.:*

Скоро для поэзии наступят средние века. Поэты будут прекрасны и горды, вернутся к самому обаятельному источнику чистой поэзии, снижут нити из всех жемчугов – морского дна, и города, и ожерелья девушек каждой страны. Мне кажется возможным такое возрождение стиха, что все старые жанры от народного до придворного, от фабричной песни до серенады, – воскреснут. Но при этом повторится и кочевая жизнь с оружием

в руках и под руками, стилеты под бархатными плащиками, целая жизнь пажа, или трубадура, или крестового рыцаря, или дуэньи, или «дамы сердца» – всех в целости и полной индивидуальности – на всю жизнь. Это как реакция на место богословия, с одной стороны, вздыхающей усталости – с другой. Сологуб и сквозь усталость увидал звезду Маир, реку Лигой, землю Ойле. Что же мы-то, желающие жизни? Я лично хочу, сойдя с астрологической башни, выйти потом из розового куста и спуститься в ров непременно в лунную, голубую траву, пока не появился в зеркале кто-нибудь сквозь простыню. Трудно будет с моими «восковыми чертами», но тем не менее попробую.

1904. Московские знакомства и встречи

Александр Александрович Блок. *Из письма А. Л. Блоку. Петербург, 29 ноября 1902 г.:*

Скорпион Брюсов, который со мной еще не познакомился, имел на меня какие-то виды. Из Москвы вообще много благоприятных веяний.

Александр Александрович Блок. *Из письма В. Я. Брюсову. Петербург, 23 ноября 1903 г.:*

Многоуважаемый Валерий Яковлевич.

Ваше предложение участвовать в журнале «Весы» для меня необыкновенно лестно и приятно. Благодарю вас от всей души и постараюсь оправдать Ваши ожидания.

Александр Александрович Блок. *Из письма В. Я. Брюсову. Петербург, 26 ноября 1903 г.:*

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Каждый вечер я читаю «Urbi et orbi»[13]. Так как в эту минуту одно из таких навечерий, я, несмотря на всю мою *сдержанность*, не могу вовсе умолкнуть.

Что же Вы еще сделаете после *этого*? Ничего или – ? У меня в голове груды стихов, но *этих* я *никогда* не *предполагал возможными*. Все, что я могу сделать (а *делать* что-нибудь необходимо), – это отказать себе в *чести* печататься в Вашем Альманахе, хотя бы Вы и позволили мне это. Быть *рядом* с Вами я не надеюсь никогда. То, что *Вам* известно, не знаю, доступно ли кому-нибудь еще и *скоро ли* будет доступно. Несмотря на всю излишность этого письма, я умолкаю только теперь.

Александр Александрович Блок. *Из письма С. М. Соловьеву. Петербург, 1–6 декабря 1903 г.:*

Я получил от Брюсова очень лестное письмо по поводу моего письма о его книге. Вижусь со здешними поэтами, от которых, в противоположность московским, веет молчанием и холодом. До сих пор не могу оценить этого качества, иногда мне кажется, что это залог будущих действий, а не разговоров. Настроение самое лучшее (у меня), очень деятельное, подвижное, даже без молчания. Хотим непременно ехать в Москву, если будут деньги.

Сергей Михайлович Соловьев:

Успех Блока и Любови Дмитриевны в Москве был большой.

Молчаливость, скромность, простота и изящество Любови Дмитриевны всех очаровали. Бальмонт сразу написал ей восторженное стихотворение, которое начиналось:

Я сидел с тобою рядом,
Ты была вся в белом.

Андрей Белый:

Я помню А. А. на одном из собраний книгоиздательства «Скорпион»; помню Брюсова очень сухого, с монгольскими скулами и с тычком заостренной бородки, с движеньями рук, разлетавшихся, снова слагавшихся на груди, очень плоской (совсем как дощечка); и – помню я Блока, стоявшего рядом, моргающего голубыми глазами, внимающего объяснению Брюсова, почему вот такая-то строчка стихов никуда не годится и почему вот такая-то строчка годится.

Я помню А. А. на моем воскресенье, его ожидали друзья – «*аргонавты*»; из лиц, бывших тут, мне запомнились: Эллис (Л. Л. Кобылинский), С. Л. Кобылинский, брат Эллиса, очень болтливый философ, умеющий заговаривать собеседника до смерти; М. А. Эртель, историк, ценитель поэзии Блока, одно время ставший во мнении теософов чуть-чуть не Учителем; говорили, что он одолел философские произведения Индии в подлиннике; и перевел – Гариваншу (правда ль это – не знаю); были: К. Д. Бальмонт, С. М. Соловьев, В. В. Владимиров, С. А. Соколов, редактор книгоиздательства «Гриф», теософ П. Н. Батюшков (внук поэта), А. С. Челищев, покойный Поярков, А. С. Петровский, писательница Нина Петровская, К. П. Христофорова, кажется, Д. И. Янчин, случайно зашедший профессор И. А. Каблуков, И. Я. Кистяковский с женою; и были поэты из «Грифа» (кто именно, не помню); всего собралось человек 25.

В эти годы, здесь, в маленькой белой столовой, раскладывался стол от стены до стены; за столом происходили шумнейшие споры; порой появлялись ко мне на воскресенья неизвестные и полуизвестные люди, поэты ли, интересующиеся ли искусством, – не ведаю. Однажды совсем неожиданно появился у нас композитор Танеев, которому мы казались совсем чудаками: но потому-то он именно стал посещать нас, перезнакомился с нами; и «аргонавты» естественно оказались очень скоро потом постоянными посетителями танеевских вторников, на которых С. И. угощал великолепнейшим исполнением Баха (впоследствии С. И. Танеев дал мне ценнейшие указания в моих занятиях над ритмом).

Запомнилось: в то воскресенье вкруг Блока толпилися «*аргонавты*»; и обдавали его своим пылом, стараясь поскорее устроить на Арго, считая Орфеем А. А., чтобы плыть за Руном; было очень нестройно: А. А. был любезным со всеми, но – несколько изумлялся куда он попал – к молодым символистам, к Станкевичу, в сороковые годы иль… просто в комедию Грибоедова: Виссарион Белинский, Бакунин встречалися на моих воскресеньях с неумирающим Репетиловым и с героем Гюисманса; был тут – Манилов; «грифята» старалися быть «гюисмансистами»; а С. А. Кобылинский, конечно же, на воскресенья свалился со всеми своими манерами и культом Лотце из доброго, старого времени; был Репетилов представлен, но… – Nomina sunt odiosa! Ужасающий был кавардак; мне казалось: стихотворение Блока воскресло:

Все кричали у круглых столов,
Беспокойно меняя место…

Вскакивали, уходили и приходили; гремели летавшие стулья, врываясь в гам голосов, в перекрики, в смех, в споры; с А. А. я был мало в тот вечер, предоставляя А. А. его старым московским поклонникам; их старался узнать он, вникая во все, что ему говорили, не успевая с ответами; появлялася в нем мешковатость, переходила в растерянность; и живая улыбка нервически напрягалась; и – застывала; у глаз появились мешки; он темнел.

Зачитали стихи: Бальмонт, я, еще кто-то, он; Бальмонт вынул свою неизменную книжку: выбрасывать строчки свои, как перчатки, – с надменством; потом читал Блок; поразила манера, с которой читал он; сперва не понравилась (после ее оценил); мне казалось: – не музыкально звучали анапесты; голосом точно стирал он певучую музыку собственных строчек, – деловитым, придушенным несколько, трезвым, невыразительным голосом; несколько в нос он читал и порою проглатывал окончание слова (я думаю: для А. А. характерны нечеткие рифмы «*границ*» и «*царицу*», в произношеньи А. А. окончания «ый», просто «ы» прозвучали бы ровно одинаково; а созвучья «*обманом – туманные*» – сошли бы за рифму); не чувствовалось повышения и понижения голоса, разница в паузах; будто тяжелый, закованный в латы, ступал по стопам; и лицо становилося у А. А., как голос, тяжелым, застылым; острился теперь большой нос, изгибалися губы из брошенной тени; глаза помутнели, как будто бы в них проливалося олово; тяжким металлом окованный, точно броней, так он выглядел в чтении.

К. Д. Бальмонт произносил стихи с пренебрежительным

вызовом: «Вот вам – дарю: принимайте, ругайте, хвалите, мне все безразлично: я – солнце!» В. Брюсов же чтением подает хорошо испеченные строчки на стол, точно блюдо – в великолепнейшей сервировке: «Пожалуйста-с!» Он декламирует горько надтреснутым голосом, хрипло-гортанным, переходящим то в клекот, а то в клокотанье, подобное воркованью, не выговаривая раздельно «к», «т» (например, «математ *ити*» – не «математ *ики*»). Я в годы те пел стихи, очень часто сбивался на цыганский мотив и меняя естественность ударения: «*Над нами* воздушно безмирный»… А. Блок претяжелою поступью медленно шел по строке: «Да, да, это – так; это – есть; это – было; и – будет!»

А. А. в этот вечер общался по преимуществу с Эллисом, В. В. Владимировым и А. С. Петровским; меж Эллисом и А. А. возникли очень скоро потом непонимания; с К. Д. Бальмонтом А. А. не общался почти; в этот вечер Бальмонту А. А. не понравился.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Москва, 14–15 января 1904 г.:*

11-е, воскресенье. ‹…› Выхожу к менделеевскому обеду из дому Бугаева: за спиной – красная заря, остающаяся на встречных куполах. С крыш течет радостно. На лестнице Менделеевых сонная Сара говорит: «Какая ужасная погода!» (первое впечатление). Скука – среднее впечатление. Присутствие трех чужих лиц за обедом: ‹…› Последнее впечатление: Дм. Ив. Вы куда? Люба. К Андрею Белому. Дм. Ив. Отчего не к черному? – С тех пор мы еще не показывались у Менделеевых. ‹…› Возвратясь домой – едем к А. Белому на собрание: Бальмонт, Брюсов, Батюшков, художник Владимиров, М. А. Эртель (мой самый яростный поклонник – брат петербургского офицера!), Петровский, m-me Соколова. Бальмонт приходит с Ниной Ивановной. Мой разговор с Брюсовым. Бальмонт читает стихотворение «Вода». Я читаю стихотворение «Фабрика» и «Три лучика». Брюсов без дам читает два стихотворения – «Белый всадник» и «Приходи путем знакомым». Еще важнее «Urbi et orbi»! После ухода Бальмонта, Брюсова, Соколовой – мы с Андреем Белым читаем массу стихов (за вторым ужином). Ночь. Андрей Белый неподражаем (!). Я читаю «Встала в сияньи». Кучка людей в черных сюртуках ахают, вскакивают со стульев. Кричат, что я первый в России поэт. Мы уходим в третьем часу ночи. Все благодарят, трясут руку.

12-е, понедельник. Утром приходит Сережа (Соловьев. – *Сост.*). Мы втроем едем на конке в Новодевичий монастырь. Сережа кричит на всю конку, скандалит, говоря о воскресении

нескольких мертвых на днях, о том, что антихрист двинул войска из Бельгии. Говорим по-гречески. Все с удивлением смотрят. Яркое солнце. В Новодевичьем – на всех могилах всех Соловьевых, Марконетов и Коваленских. Купола главного собора, золото в глубоко синей лазури сквозь ветки тополя. «Кувыркающиеся» (Сережа) фигурки святых на стенных образах. Из монастыря бродим по полю за Москвой, у Воробьевых гор. Возвращаемся не без прежних скандалов в город. Входим в Кремль (все втроем). Проходим мимо всех соборов в яркой вечерней заре. Опьянение и усталость. Входим в квартиру Рачинских. Поразительность хозяев и квартиры. Григорий Алексеевич говорит со мной о Бальмонте и Волошине. Именины его жены, Лопатин, гости, крошечные художественно-уютные комнатки (у Иверской), конфеты, чай, варенье. Рачинский целует руку у Любы (всегда). Выходим, спускаемся от Иверской. Смятение, веселье внутри и на улице. Полнеба страшное – лиловое. Зеленая звезда, рогатый месяц. Сережа едет обливаться (ежедневно), мы – обедать к нему. ‹…› Запираемся вчетвером (Бугаев, Сережа, мы). Пьем церковное вино, чокаемся. Знаменательный разговор – тяжеловажный и прекрасный. Возвращаемся домой. Тетя Соня, Бугаев. Читаем стихи. Ночь.

13-е, вторник. Утром Сережа, Владимир Федорович (Марконет. – *Сост.*) и мы (вчетвером) едем: в Сокольники на другой конец Москвы с весельем и скандалами Сережи в конках в больницу к Саше Марконет. Сидим с ней около часу. ‹…› Обедаем у Сережи ‹…›. Уходим. Сталкиваемся в дверях с Рачинскими, Мишей Ковалевским. Мчусь на извозчике к Бугаеву, чтобы ехать в «Скорпион». Не застаю, приезжаю один. Редакция: портрет Ницше. Брюсов, Поляков, Балтрушайтис. Разговариваю со всеми, особенно с Брюсовым. Рецензия на Метерлинка не принята, потому что не хотят бранить Метерлинка. Уходим с Бугаевым, идем пешком. Захожу за Любой. После чаю едем на собрание «Грифов»; заключаемся в объятия с Соколовым (его не было дома раньше); собрание: Соколовы, Кобылинский, Батюшков, Бугаевы (и мать), Койранский, Курсинский. Отчего нет Бальмонта? «Он – в своем полосе». Читаю стихи – иные в восторге. Ужин. Звонок. Входит пьяный Бальмонт (последующее не распространяй особенно). Грустный, ребячливый, красноглазый. Разговаривает с Любой, со мной. Кобылинский, разругавшись с ним, уходит (очень неприятная сцена). Бальмонт просит меня читать. Читаю. Бальмонт в восторге, говорит, что «не любит больше своих стихов»… «Вы выросли в деревне» и мн. др. Читает свои стихи – полупьяно, но хорошо. Соколов показывает корректуры альманаха (выйдет

1 февраля). Моих стихотворений – семнадцать (кроме посланных – «Фабрика», «Лучики»). Уходим в третьем часу. Бальмонт умоляет нас обоих остаться. Тяжеловато и странновато.

14-е, среда. Утром: мы, Бугаев, Петровский и Соколова едем в Донской монастырь к Антонию. Сидим у него, говорит много и хорошо. Любе – очень хорошо, многое – и мне. О Мережковских и «Новом пути». Обещал приехать к нам в Петербурге. Прекрасный, иногда грозный, худой, с горящими глазами, но без «прозорливости», с оттенком иронии. О схиме, о браке. Идем: из монастыря пешком (пятеро). Расходимся. Мы с Любой обедаем у Тестова (два расстегая и уха – очень вкусно). Играет мерзкая музыка. Проходим Тверскую, возвращаемся, пьем чай с тетей Соней, пишу письмо. Все прекрасно – впечатление от пьяного Константина Дмитриевича изглаживается.

‹…› Масса подробностей, конечно, пропущена. День отъезда еще не назначен, конечно. Очень полна жизнь. Москва поражает богатством всего. Вспомнить, например, Кублицких и Петербург, не готовый к нашему приезду из Москвы с требованиями *действительной* жизни – страшновато. Мы и здешних-то родных сторонимся. Впрочем, это я пишу не с чувством озлобления, потому что здесь слишком хорошо. ‹…›

Ночь того же дня. Сейчас вернулся от Сережи. Разговор наш с ним вдвоем был необычайно важен, отраден, светел и радостен. Много говорили о Любе. Скоро будем обедать в «Славянском Базаре» (с ним), где происходил роман Владимира Сергеевича и Софьи Петровны и где *Соловьевы* (братья и Ольга) собирались в важных разговорах. Я надеюсь на *особенную* бодрость и *знание* после нынешней Москвы.

Александр Александрович Блок. Из письма матери. Москва, 19 января 1904 г.:

15-е, четверг. Утром пришли: Сережа, Маруся, Владимир Федорович. Пили чай. Вечером было религиозное собрание университетского кружка на частной квартире у студента. Бугаев прочел большой реферат «Символизм как миропонимание» по корректуре из «Мира искусства», в котором, конечно, опять цитирует нас с Лермонтовым. (Кант – Шопенгауэр – Ницше, современный религиозный дух – стихи). ‹…›

16-е. В начале 11-го часа мы приехали в Новодевичий. После немноголюдной заупокойной обедни (монахини очень хорошо пели) отслужили панихиды на могилах дяди Миши и тети Оли, Владимира Сергеевича и Сергея Михайловича (Соловьевых. – *Сост.*). Пошли пить чай к Поповым – мы, Сережа, Бугаев, Кобылинский. Ели блины, была масса тостов. Мы перешли

с Бугаевым на ты. Вернувшись домой, после визита Соколова пошли обедать с Сережей в «Славянский Базар». Сидели долго, все платил Сережа. Люба перешла с ним на ты. Из «Славянского Базара» пошли к Соколовым, куда я привел Бугаева и Эртеля (не слишком глубокого, но милого человека). Нина Ивановна (Петровская. – *Сост.*) была в ужасном настроении, Соколов произвел дурное впечатление, фальшивое, вечер был неудачен. Я получил корректуру стихов, их шестнадцать. «Фабрику» Венкштерн (цензор) вычеркнул целиком. «Гриф» выйдет около 1 февраля.

17-е, суббота. С утра пришел Бугаев, и мы долго пили чай втроем. После его ухода пришел Сережа, и мы вместе поехали обедать к Рачинским. Все было необыкновенно. Григорий Алекс, производит впечатление небывалое, равно как и вся обстановка их дома, обед и пр. После обеда читал им массу стихов, Рачинский сказал в восторге, что он не ожидал, что я выше Брюсова (а Бальмонта он не выносит – подробности лично!). Ушли только в первом часу после многих разговоров, смотрели у Иверской, как в 12 часов ночи повезли икону Божьей Матери в карете на шестерке при большом стечении народа.

‹…› *19-е, понедельник, сегодня.* ‹…› Мы втроем пошли к *Сытину.* Я говорил с ним. Он был деловит и сух и сказал, что *дело будет кончено к Пасхе или даже раньше,* а теперь кончить его не могут, потому что есть свои дела. Когда я спросил его, приедет ли он для этого в Петербург, он сказал, что «будет устроено», и не ответил прямо относительно себя. По-видимому, он поручит все Жигареву. Во всяком случае – «обнадежил». От Сытина мы пошли в Кремль и осмотрели Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы – образа, гробницы патриархов и царей, мощи. Вернувшись, обедали у Владимира Федоровича (с Сережей же). Сейчас идем на собрание к Сереже: Батюшков будет читать реферат, будут тетя Саша. Рачинские.

Ночь. Вернулись от Сережи. Батюшков читал (были, кроме упомянутых, – Рачинские). Мы устали вообще. Приедем в пятницу. Можно сделать нам две ванны днем и вечером в пятницу? – Мы избаловались, я думаю с ужасом о том, как в большинстве петербургских квартир никто ничего не знает. ‹…›

Я думаю с удовольствием только о *нашей* квартире в Петербурге. Видеть Мережковских слишком не хочу. Тоже – всех петербургских «мистиков»-студентов. Все это – в стороне. Тоже с Любой – относительно этих «мистиков». Пьяный Бальмонт отвратил от себя, *личность* Брюсова тоже для меня не очень желательна. Хочется святого, тихого и белого. Хочу *к книгам,*

от *людей* в Петербурге ничего не жду, кроме «литературных» разговоров в лучшем случае и пошлых издевательств или «подмигиваний о другом» – в худшем. Но будет так много хорошего в воспоминании о Москве, что я долго этим проживу. ‹…› Но я твердо знаю, что мы тысячу раз правы, не видя в Петербурге *людей,* ибо *они есть в Москве.* Нельзя упускать из виду никогда существования Москвы, всего, что здесь лучшее и самое чистое.

Александр Александрович Блок. *Из письма А. В. Гиппиусу. Петербург, 23 февраля 1904 г.:*

Около 10 января, поехали в Москву, где вполне расцвели. Прожили пятнадцать дней, ежедневно сновали по знакомым и мало по родным (что обыкновенно украшает жизнь). Виделись особенно много с Сергеем Соловьевым и Борисом Николаевичем Бугаевым (А. Белым). Брюсова я видел несколько раз, также и Бальмонта. В последнем разочаровался, в первом – наоборот. По моему убеждению, Брюсов теперь первый в России поэт, особенно после последней книги («Urbi et orbi» – читали ли Вы? Может быть – нет?), которая, по-моему, крупнейшее литературное явление в последние годы. Прочтите, милый Александр Васильевич, это совсем необыкновенно, старого декадентства, по-моему, нет и следа. Есть преемничество от Пушкина – и по прямой линии. Иные стихи лягут алмазами в коронах царей. Но кующему и смотрящему вверх, увы, редко удается «насладиться природой» (как и камергеру). Потому Брюсов (как maximum брожений, кипений, сгораний) кажется диковинной сказкой, страшной, машущей красными рукавами, застигающей на распутьях, пылящей снегами в глаза. Но не «человеком» (кавычки! ибо здесь глубина! помирите-ка творца с жизнью человечества!). Он громоздит комнату и мозги празднолюбцев, людей без девизов и наковален. В глазах его бродит хаос. Сюртук его никому не впору. Голова его стрижена чуть-чуть необычно. Но на затылке (однажды он наклонился) в одном месте есть отсутствие загара, почти детское, и в одной манере его пронзительной речи есть нечто почти детское. Но сколько надо усилий, чтобы открыть пятнышко на затылке, белизну в речи! Это – о Брюсове.

Право, я не напрасно занят им. Он много знает. Он много скажет, но в стихах. А в прозе – только спустит с шестого этажа. Бывают и такие – и пусть. Если бы были *одни* такие, жить было бы нельзя. Но в Москве есть еще готовый к весне тополь, пестрая собака, розовая колокольня, водовозная бочка, пушистый снег, лавка с вкусной колбасой.

Бальмонт был пьян (не от вдохновения, увы! – а от спиртных напитков). Его воротнички туги. Веки и нос припухли и покраснели. Из-под сюртука торчит тоненькая шпажонка («Эй, доктор, эй! Рази шпажонкою своей!»). Он достал ее из *книги* Кальдерона, которую перевел в числе 1000 других. Но он способен нанять извозчика на зеленую планету и заплатить только полтинник.

Те, кто не распирает комнат (положительные ли, отрицательные ли) – увы! бездарны. Они выпустили альманах. Его бумага блестит, как полированный стол. Шрифт его никогда не будет представлен ко двору. Участники его (большинство, автор письма исключается) всегда носят камзолы великих Бальмонтов и подобных, но сшитые у дурных портных. Они гнусят на креслах дурные стихи. Их наковальни – игрушечные. Вдохновение их всегда в катаральном состоянии. Они имеют поярковые шляпы и нечистые руки, – а лацкана сюртуков их – неведомых цветов.

Но мы видели и *людей, не только* поэтов и писателей. Московские люди более разымчивы, чем петербургские. Они умеют смеяться, умеют не пугаться. Они добрые, милые, толстые, не требовательные. Не скучают.

Сергей Михайлович Соловьев:

В январе Блок вернулся в Петербург завзятым москвичом. Петербург и Москва стали для него символами двух непримиримых начал. Все в Москве ему нравилось: и Белый, и Брюсов, и Рачинский[14], а Петербург продолжал олицетворяться «астартическими» Мережковским и Гиппиус. Но если раньше он писал о Москве «белая, древняя», то теперь из Петербурга она представлялась ему «розовой». Вообще белые краски исчезали с его палитры, заменялись розовыми, чтобы скоро погаснуть в черно-фиолетовых сплавах, в диком врубелевском колорите. Вскоре после возвращения в Петербург Блок написал длинное стихотворение, где изображалась борьба Петербурга с Москвой, антихриста Петра с патроном Московской Руси св. Георгием Победоносцем, кончающаяся победой «светлого мужа» и явлением «Девы алых вечеров». Блок остался недоволен этим стихотворением, находил его искусственным и наивным.

Александр Александрович Блок. *Из письма С. М. Соловьеву. Петербург, 8 марта 1904 г.:*

Прежде всего, приехав из Москвы, мы с Любой совершенно пришли в отчаяние от Петербурга. Въезд наш был при резком безнадежном ветре – без снега, так что порошинки неслись

по мостовой взад и вперед без толку, и весь город как будто забыл число и направление своих улиц. Через несколько дней впечатление было еще пострашнее. Мы встретились в конке с чертом, и, что всего ужаснее, – не лицом к лицу. В погоду, подобную вышеописанной, сидела в конке против нас «симфоническая» (А. Белый) фигура женщины (или – нет), по-видимому на подложенном круге (какой кладут больным от геморроя и т. п.), в бесформенной шубе, с лицом, закрытым белой вуалью, под которой вместо глаз и носа виднелись черные впадины. Она говорила вульгарно сипловатым дамским баском с несчастной и преждевременно состарившейся (!) женщиной-поводильщицей. По-видимому, последняя от рождения раба. Всего ужаснее, что мы с Любой до сих пор не знаем, клевета ли это на больную старушку (впрочем, исполинского роста) или правдивый рассказ о «нем». Но «он» был близко, ибо в тот же день мы не узнали одной из самых примечательных для нас улиц.

Еще через несколько дней стали приходить «петербургские мистики». Один целый вечер хихикал истошным голосом. Другой не знал, что ему предпринять, ввиду важности своего положения, и говорил строгим и уклончиво дипломатическим тоном. Третьего (и самого замечательного – *Иванова Евгения)* «коряжило» от Медного Всадника всю зиму, – представь, что с ним к весне! Он вполне и безраздельно пылает Розановым и Мережковским. В тот вечер получил я впервые в этом году приглашение в «Новый путь» от Зинаиды – крайне любезное, с подписью «душевно ваша». После долгих разговоров, в которых Люба была против «Нового пути», я внезапно решился и написал сдержанно и вежливо, что я не приду, потому что «пока молчу и пишу стихи», а потому не имею права *молча* присутствовать на собрании, с которым не согласен. Опускал письмо сам, ночью, причем внезапно (и единственный раз) на лестнице потухло все электричество, и было страшно идти с напряженными нервами. Но я принял это за диавольское препятствие и прошел до ящика ощупью.

Все это описываю тебе так подробно, потому что чувствую, что тут наступает что-то важное для меня, и именно после наших мистических встреч в Москве. Во всяком случае, могу формулировать (донельзя осторожно) так: во мне что-то обрывается и наступает новое в положительном смысле, причем для меня это *желательно,* как никогда прежде. Я чувствую неразрывную связь с Мережковским только как с *прошлым* и в смысле *отучения* от *пошлости* и пр. Теперь меня пугает и тревожит Брюсов, в котором я вижу, однако, неизмеримо больше света, чем в Мережковских. Вспоминаю, что апокалипсизм

Брюсова (т. е. его стихотворные приближения к откровению) не освещены исключительно багрянцем, или исключительно рациональной белизной, как у Мережковских. Что он *смятеннее* их *(истинный* безумец), что у него есть *детское* в выражениях лица, в неуловимом. Что он может быть *положительно добр.* Наконец, что он, без сомнения, носит в себе *возможности* многого, которых Мережковский совсем не носит, ибо *большего* уже не скажет. Притом мне кажется теперь, что Брюсов всех крупнее – и Мережковского. Ах, да! Отношение Брюсова к Вл. Соловьеву – *положительное,* а Мережковского – вполне отрицательное. Как-то Мережковский сказал: «Начитались Соловьева, что же – *умный* человек» (!?!). Вообще я могу припомнить много словечек Дм. Сергеича, не говорящих в его пользу. Но он важен, и считаться с ним надо.

1904. Мережковские и рядом с ними

Георгий Иванович Чулков:

В какой среде жил в это время Блок? 1904 год был весь под знаком Мережковского – Гиппиус. Дом Мурузи на Литейном проспекте был своего рода психологическим магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы.

«Дом Мурузи» играл ту же роль, какую впоследствии играла «Башня» Вяч. Ив. Иванова.

Новейшее поколение того времени искало и находило в Мережковском связь с ушедшим поколением. Каждый из нас, встретив Мережковского в Летнем саду на утренней ежедневной прогулке, думал, глядя на его маленькую фигурку, узенькие плечи и неровную походку, что этот человек связан какими-то незримыми нитями с Владимиром Соловьевым, значит, и с Достоевским – и далее с Гоголем и Пушкиным. Пусть Соловьев относился к Мережковскому недружелюбно, но у них, однако, была общая тема, казавшаяся нам пророческой и гениальной. Блок так это чувствовал. Правда, он то и дело «уходил» от Мережковских, но потом опять неизбежно к ним тянулся.

Андрей Белый:

А. А. нежно любил в Мережковских – интимных субъективистов, неповторяемых, оранжерейных цветов, заболевших «общественностью» и потерявших от этого свою ценность; так редкие пальмы, заболевающие в теплицах, роняют прекрасные листья; и видишь лишь волосатые корни, да выпирающий безлистный торчок; «религиозно-философское общество», движимое Д. С., для А. А. было только «торчком» Мережковского.

– Ну, а какой же по-твоему «Дима»?

– Какой?

– Он, по-моему: темно-лазурный…

Георгий Иванович Чулков:

Кружок Мережковских, где бывал и Блок постоянно, состоял из людей двух поколений – старшее было представлено В. В. Розановым, Н. М. Минским, П. С. Соловьевой и др., младшее – А. В. Карташевым, В. В. Успенским, Д. В. Философовым, А. А. Смирновым, Е. П. Ивановым, Д. Н. Фридбергом, Леонидом Семеновым, В. А. Пестовским (Пястом) и мн. др. Не все в равной мере находились

под влиянием Зинаиды Николаевны Гиппиус и Дмитрия Сергеевича, но почти все были в них немного «влюблены».

Полулежа на мягком диване и покуривая изящно тоненькую душистую папироску, З. Н. Гиппиус чаровала своих юных друзей философическими и психологическими парадоксами, маня их воображение загадками и намеками. Несмотря на соблазнительность салонного стиля, в этих беседах была значительность и глубина, и нет ничего удивительного, что Блок был в сетях Мережковских – ускользал из этих сетей и вновь в них попадал.

Зинаида Николаевна Гиппиус:

В эти годы Блока я помню почти постоянно. На религиозно-философских собраниях он как будто не бывал, или случайно, может быть (там все бывали). Но он был с самого зарождения журнала «Новый путь». В этом журнале была впервые напечатана целая серия его стихов о Прекрасной Даме. Очень помогал он мне и в критической части журнала. Чуть не в каждую книжку давал какую-нибудь рецензию или статейку: о Вячеславе Иванове, о новом издании Вл. Соловьева…

Александр Александрович Блок. *Из письма А. Л. Блоку. Петербург, 28 марта 1905 г.:*

Встречи с разнообразными людьми учащаются. Кружок Мережковских стал менее самодовлеющим. Много приехало в последнее время и из России (в противоположность Петербургу). И все-таки ближайшими людьми остаются Сергей Соловьев, Борис Ник. Бугаев (Андрей Белый) и Евг. Пав. Иванов (из «Нового пути»). Роль «фона» близости играют до сих пор в большой степени Мережковские, злостно ненавидимые почти всеми за то или за другое. Правда, в этом они часто виноваты сами (особенно З. Н. Гиппиус), но замены их я не предвижу, и долго не дождаться других, которые так же прошумят, как они (в своей сфере – теорий великолепных, часто почти нелепых, всегда талантливых, всегда мозолящих глаза светским и духовным лицам).

Георгий Иванович Чулков:

Был в это время – я говорю про 1904 год – еще один дом, который посещал нередко А. А. Блок. Это – дом Федора Кузьмича Тетерникова (Федора Сологуба). Федор Кузьмич жил на Васильевском острове в доме городского училища, где он служил в качестве инспектора. Собрания у Сологуба были иного характера. Преобладали не чаяния нового откровения, а поэзия

по преимуществу. В доме с холодноватою полуказенною обстановкою жил Федор Кузьмич с своею сестрою Ольгою Кузьминичною, тихою, гостеприимною, уже не молодою девушкою. Гостей сажали за длинный стол, уставленный яствами, угощали радушно вкусными соленьями и какими-то настойками. А после угощенья поэты переходили в кабинет хозяина, где по требованию мэтра покорно читали свои стихи, выслушивая почтительно его замечания, чаще всего формальные, а иногда и по существу, сдобренные иронией. Все было с внешней стороны по-провинциальному чопорно, но поэты понимали, что за этим условным бытом и за маскою инспектора городского училища таится великий чародей утонченнейшей поэзии.

Андрей Белый:

Совершенно иными встречали гостей очень строгие «воскресенья» у Федора Кузьмича Сологуба ‹…› вся квартира Ф. К. поражала своим неуютом, какою-то пустотой, переходами, потолками, углами, лампадками; помнилось тусклое, зеленоватое освещение – от цвета ли абажуров, от цвета ли стен; в нем вставала фигура Ф. К., зеленоватая, строгая; и – сестры его, как две капли воды похожей на Федора Кузьмича; тоже бледная, строгая, тихая, с гладко зачесанными волосами; совсем как Ф. К. – но в юбке, без бороды; ‹…› сам хозяин подчеркнуто занимал приходящих своими, особенными, сологубовскими разговорами, напоминающими порою ответственный, строгий экзамен; здесь много читалось стихов; и приходили поэты, по преимуществу здесь встречался с Семеновым, с В. В. Гиппиус, ветераном и зачинателем декадентства; ходили сюда мы с почтением, не без боязни; и получали порой нагоняй от Ф. К.; а порой и награду; Ф. К. был приветлив к поэтам, но скуп; философия, религиозные пререкания не допускались тоном холодной и строгой квартиры; З. Н. говорила бывало:

– К Ф. К. – вы пойдите!

– Ф. К. – человек настоящий!

Д. С. и З. Н. почитали талант Сологуба; и в своих отзывах высказывали maximum объективности, что было редко для них; а Ф. К. выражался порой очень остро о деятельности Мережковских; мне кажется, – более признавал он поэзию Блока; о Блоке тогда еще он выражался решительно:

– Блок – поэт: настоящий поэт!

Раз сказал:

– Блок умен, когда пишет стихи; не умен, когда пробует писать прозой. ‹…›

И вообще к молодежи тогдашнего времени относился Ф. К.

снисходительно, с пониманием. Мережковские – не понимали, а Розанову уже не было дела до нас; он, встречался с нами, совсем неожиданно начинал говорить комплименты, которым не верил я вовсе; ведь знаешь, бывало: сегодня, поймавши и под руку взявши – похваливает; гляди – выругает в «Новом Времени» завтра.

Раз выругал он Блока, на чем свет стоит; а на другой день встречается с ним; А. А. ласково первый подходит к В. В., как ни в чем не бывало; такая незлобивость поразила В. В.; он рассказывал после:

– Ведь вот, обругал я его, а он… сам подошел, как ни в чем не бывало.

Блок и Белый: на заре отношений

Зинаида Николаевна Гиппиус:

Трудно представить себе два существа более противоположные, нежели Боря Бугаев и Блок. Их различие было до грубости ярко, кидалось в глаза. Тайное сходство, нить, связывающая их, не так легко угадывалась и не очень поддавалась определению. ‹…›

Если Борю иначе, как Борей, трудно было назвать, Блока и в голову бы не пришло звать «Сашей».

Серьезный, особенно неподвижный, Блок – и весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые, тяжелые, глухие слова Блока – и бесконечно льющиеся водопадные речи Бори, с жестами, с лицом вечно меняющимся, – почти до гримас. Он то улыбается, то презабавно и премило хмурит брови и скашивает глаза. Блок долго молчит, если его спросишь. Потом скажет «да». Или «нет». Боря на все ответит непременно: «Да-да-да»… и тотчас унесется в пространство на крыльях тысячи слов. Блок весь твердый, точно деревянный или каменный. Боря весь мягкий, сладкий, ласковый. У Блока и волосы были темные, пышные, лежат, однако, тяжело. У Бори – они легче пуха, и желтенькие, точно у едва вылупившегося цыпленка.

Это внешность. А вот чуть-чуть поглубже. Блок, – в нем чувствовали это и друзья, и недруги, – был необыкновенно, исключительно правдив. Может быть, фактически он и лгал кому-нибудь, не знаю: знаю только, что вся его материя была правдивая, от него, так сказать, несло правдой. (Кажется, мы даже раз говорили с ним об этом.) Может быть, и косноязычие его, тяжелословие, происходило отчасти благодаря этой природной правдивости. Ведь Блока, я думаю, никогда не покидало сознание или ощущение, – очень прозрачное для собеседника, – что он *ничего не понимает.* Смотрит, видит, – и во всем для него, и в нем для всего, – недосказанность, неконченность, темность. Очень трудно передать это мучительное чувство. Смотрит и не видит, потому что вот того не понимает, чего, кажется, не понимать и значит *ничего не понимать.*

Когда это постоянное состояние Блока выступало особенно резко, мне думалось: а вдруг и все «ничего не понимают», и редкостность Блока лишь в том, что он с непрерывностью чувствует, что «ничего не понимает», а все другие – не чувствуют?

Во всяком случае, с Борей такие мысли в голову не приходили. Он говорил слишком много, слишком остро, оригинально, глубоко, – затейно, – подчас прямо блестяще. О,

не только понимает, – он даже пере-перепонял… все. Говорю это без малейшей улыбки. Я не отказываюсь от одной своей заметки в «Речи», – она называлась, кажется, «Белая стрела». Б. Бугаев не гений, гением быть и не мог, а какие-то искры гениальности в нем зажигались, стрелы гениальности, неизвестно откуда летящие, куда уходящие, в него попадали. Но он всегда оставался их пассивным объектом.

Это не мешало ему самому быть, в противоположность правдивому Блоку, исключительно неправдивым. И что всего удивительнее – он оставался при том искренним. Но опять чувствовалась иная материя, разная природа. Блок по существу был *верен.* «Ты, Петр, камень»… А уж если не верен – так срывается с грохотом в такие тартарары, что и костей не соберешь. Срываться, однако, должен – ведь «ничего не понимает»…

Боря Бугаев – весь легкий, легкий, как пух собственных волос в юности, – он танцуя перелетит, кажется, всякие «тара-ры». Ему точно предназначено их перелетать, над ними танцевать, – туда, сюда… направо, налево… вверх, вниз…

Боря Бугаев – воплощенная неверность. Такова его природа. ‹…›

Что же связывало эти два, столь различные, существа? Какая была между ними схожесть?

Она была. Опять не коснусь «искусства», того, что оба они – поэты, писатели. Я говорю не о литературе, только о людях и о их душах, еще вернее – об их образах.

Прежде всего, они, Блок и Бугаев, люди одного и того же поколения (может быть, «полупоколения»), оба неисцелимо «невзрослые». В человеке зрелом, если он человек не безнадежно плоский, остается, конечно, что-то от ребенка. Но Блок и Бугаев – это совсем не то. Они оба не имели зрелости, и чем больше времени проходило, тем яснее было, что они ее и не достигнут. Не разрушали впечатления невзрослости ни серьезность Блока, ни громадная эрудиция Бугаева. Это было все *вместо* зрелости, но отнюдь не она сама.

Стороны *чисто* детские у них были у обоих, но разные: из Блока смотрел ребенок задумчивый, упрямый, испуганный, очутившийся один в незнакомом месте. В Боре – сидел баловень, фантаст, капризник, беззаконник, то наивный, то наивничающий.

Блок мало знал свою детскость. Боря знал отлично и подчеркивал ее, играл ею.

Оба они, хотя несколько по-разному, были безвольны. Над обоими властвовал рок. Но если в Блоке чувствовался трагизм – Боря был драматичен и, в худшем случае,

мелодраматичен.

На взгляд грубый, сторонний, и Блок, и Бугаев казались, – скажем прямо, – людьми «ненормальными». И с той же грубостью толпа извиняла им «ненормальность» за их «талант», за то, что они «поэты». Тут все, конечно, с начала до конца – оскорбительно. И признание «ненормальности», и прощение за «поэзию».

Андрей Белый:

Всякое письмо А. А. Блока к С. М. Соловьеву (в начале 1900-х. – Сост.) прочитывалось, комментировалось и служило темой бесед; отрывки писем показывались и мне; казалось, что с А. А. мы знакомы, – тем более, что он знал «Симфонию», вышедшую весной 1902 года ‹…›.

Помнится: в первых же числах января 1903 года я написал А. А. витиеватейшее письмо, напоминающее статью философского содержания, начав с извинения, что адресуюсь к нему; письмо написано было, как говорят, «в застегнутом виде»: предполагая, что в будущем мы подробно коснемся деталей сближавших нас тем, поступил я, как поступают в «порядочном» обществе, отправляясь с визитом, надел на себя мировоззрительный официальный сюртук, окаймленный весь ссылками на философов. К своему изумлению, на другой уже день получаю я синий, для Блока такой характерный конверт с адресом, написанным четкой рукой Блока, и со штемпелем: «Петербург». Оказалось впоследствии: А. А. Блок так же, как я, возымел вдруг желание вступить в переписку; письмо, как мое, начиналось с расшаркиванья: не будучи лично знаком он имеет желание ко мне обратиться, без уговора друг с другом обоих нас потянуло друг к другу: мы письмами перекликнулись. Письма, по всей вероятности, встретясь в Бологом, перекрестились; крестный знак писем стал символом перекрещенности наших путей ‹…›.

Мне помнится: в январе 1904 года за несколько дней до поминовения годовщины смерти М. С. и О. М. Соловьевых, в морозный, пылающий день раздается звонок. Меня спрашивают в переднюю; – вижу: стоит молодой человек и снимает студенческое пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная дама за ним раздевается; это был Александр Александрович Блок, посетивший меня с Любовью Дмитриевной. ‹…›

Скажу: впечатление реального Блока, восставшего посредине передней арбатской квартиры (мне Блок рисовался на фоне заневских закатов, на фоне лесов, у горы) – впечатление застало врасплох; что-то вовсе подобное разочарованию подымалось;

от этого пуще сконфузился; бросился торопливо приветствовать гостя, супругу его, проявляя стремительность большую, чем подобало; не по себе мне было; и мое состояние, я чувствовал, передается А. А.: он становится и любезным, светским, смущаясь смущеньем моим и выдавая смущение тем, что он мешкается в передней; вот что я почувствовал; происходила заминка, – у вешалки; я старался повесить пальто; а А. А. в это время старался запрятать в карманы свои рукавицы. Одна Любовь Дмитриевна не поддавалась смущенью; нарядная, в меховой своей шапочке, ожидала она окончания церемонии встречи.

Сергей Михайлович Соловьев:

И теперь еще в начале Спиридоновки, недалеко от Большого Вознесения, можно увидеть большой двухэтажный дом, принадлежавший братьям Марконет. Когда-то в уютной квартире первого этажа собиралось большое и веселое общество у моего дяди А. Ф. Марконета. Теперь хозяина уже не было в живых, вдова его была больна и временно находилась в лечебнице. В квартире жила только старая кухарка Марья. За неимением места у меня, я предложил Блоку остановиться в квартире Марконет. Прямо с вокзала Блок приехал ко мне и поспел к утреннему чаю. Здесь произошла первая встреча Блока с Белым – начало знакомства, имевшего такие важные последствия для них обоих. Они не видались раньше, но излишне было их знакомить. «Здравствуйте, Борис Николаевич», – твердо сказал Блок, пожимая руку Белому. Сели. Блок закурил и начал внешний разговор о Петербургском университете, о поэте Леониде Семенове, который ораторствует на митингах «в консервативном духе».

В тот же день Блок переехал на Спиридоновку, и в течение нескольких недель почти каждый вечер мы собирались в пустой квартире Марконет и просиживали с Блоком до глубокой ночи.

Андрей Белый:

Запомнился ясный морозный денек: и запомнился розовый луч преклоненного солнца; и – розово-золотая сеточка атмосферы, сквозь шторы залившая рыжевато-кудрявую голову Блока, склоненную набок, недоуменные голубые глаза, и застывшую принужденную улыбку, и локоть дрожавшей руки, упиравшейся неподвижно о полустертую ручку старофасонного кресла, – руки, развивавшей дымки папиросы в зарю: слов, которыми мы обменялись, – не помню, но помню, что мы говорили об очень простых, обыкновенных вещах: о А. А., о Москве, о знакомых, о «Скорпионе», о «Грифе», о Брюсове, все

убеждавшего нас, чтобы мы не писали у «Грифа»: и помнится, говорили о том, что нам следует говорить основательно: вспомнили даже слегка о погоде: и улыбнулись втроем тут визитности тона – тому, что еще не умеем друг с другом мы быть; лед затаял ‹…›.

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Петербург, 7 апреля 1904 г.:*

Милый дорогой друг Борис Николаевич.

Твое письмо меня поразило сразу же. Ты знаешь обо мне то, чего я сам не сознавал, и вдруг сознал… и утешился. «Лик безумия, сошедший в мир», – и притом *нынешнего* нашего безумия – грозил и прежде. Но знаешь ли? Он разрешит грозу и освежит. Я *спал* и видел холодные сны (в буквальном смысле). Не далее как сегодня во сне мне явился наконец Брюсов в ужасающей простоте его внутренних «потемок» и в физической красоте – нежный, как мальчик, с черной бородкой. Тут был и твой «Одинокий» и вчерашний рассказ, слышанный мной у Мережковских (.!.) о пьяном Брюсове в «Грифе». Среди бела дня снился мне кошмар об «опрокинутых кадках» и девушке с карликом. Но вдруг я слушаю, смотрю: кругом гам, шум, трескотня, лучшие гаснут или тлеют, по многим квартирам прошла тень дряхлости, погас огонек, бежавший по шнурку, готовый, казалось, зажечь тысячи свечей. И темно. Прежних лиц я уже не вижу, страх перед *ними* отошел в милую память о собственной юности. *Больше некого бояться.* И люди уже не страшны. *ЗАТО* («в предвестие, иль в помощь, иль в награду») возвращается древняя и бурно-юная боязнь *стихий* – изнутри и извне. Пойдем опять из города на войну исчезнувшей и возвращающейся юности:

Моля зовет к безвестным высям
В горах поющая весна,
А эта груда женских писем
И не жива и холодна!

Мы поняли слишком много – и потому *перестали понимать.* Я не добросил молота – но небесный свод *сам* раскололся. ‹…› И так везде – расколотость, фальшивая для себя самого двуличность, за которую я бы отомстил, если б был титаном, а теперь только *заглажу* ее. – Как видишь, я пишу несвязно. Я окончательно потерял последнюю веру в возможность точности в окончательном. Не знаю ничего, *НО* часто ясно вижу розовую пену и голубой ласковый гребень волны, которая меня несет.

Потому – пронесет, а что дальше – опять не знаю. Но хорошо бывает на волне, в певучей пене.

Мне кажется, я могу сказать *ТЕБЕ* окончательно о Тебе самом. Ты не умрешь. Представь себе, я, должно быть, знал это всегда. Есть на Тебе такая печать чудесного, что лик безумия с Тобой не сольется. Иногда я вдруг сознаю в *Твоем* существовании большую поддержку. Письмами, подобными Твоему последнему, Ты схватываешь меня за локоть и кричишь: «Не попади под извозчика!» А извозчик – В. В. Розанов – едет, едет – день и ночь – с трясущейся рыженькой бороденкой, с *ямой* на лбу (как у Розанова). Выйдя вчера ночью от Мережковских, я подумал: «Мы с Борисом Николаевичем…»

‹…› В Мережковских больше нет огня.

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Шахматово, 5 июня 1904 г.:*

Дорогой, милый Борис Николаевич.

Спасибо Тебе за нежные слова. Я ценю, понимаю и принимаю их. В прошедшие года изредка мелькал в горах Кто-то, Кому я был *склонен минутами* сказать: здравствуй. Чаще всего – это был *всадник в голубом.* Иногда хотелось *принять* его за Христа, но он был так *близок* мне, что я ни разу *не решился* сделать этого: оттого, что Христос, я знаю это, никогда не был у меня, не ласкал и не пугал, никогда не дарил мне ни одной игрушки, а я всегда капризничал и требовал игрушек.

Теперь всадник ездит мимо. Но я наверное знаю, что это – не Христос, а милый, близкий, домашний для души, иногда страшный. А Христа не было никогда и теперь нет, он ходит где-то очень далеко. Пускай даже в *этих* странах. Но меня это не касается, потому что я живу и жил главным образом в *тех* странах, а из *этих* – «убежал с королевой». Страна, в которой я теперь живу, – «голубая тюрьма» и «зеленая планета» (то и другое явственно в хорошую погоду), где я могу рыть землю и делать забор. От этого у меня исчез даже «почерк», и руки дрожат от топора и лопаты. Я надеюсь на еще большее забвение и тишину.

Что восстанут за вопросы,
Опьянят что за слова,
В час, когда под наши косы
Ляжет влажная трава?

Мне очень хочется развивать мускульную силу, как каждый год, восстановляя утраченное зимой. От этого в буквальном

смысле часы становятся *неведомыми* и день за днем тонет – голубой, зеленый, белый, золотой. Знаешь ли, в хорошее, глубокое лето мне удавалось иногда найти в себе хорошую простоту и научиться не щадить красок спокойных и равномерных. Здесь никто не щадит красок. Деревья и кусты, небо, земля, глина, серые стены изб и оранжевые клювы гусей.

Позволь мне счесть установленным, что Ты приедешь в конце июня или начале июля.

Андрей Белый:

В конце мая 1904 года я получаю от Блока настойчивое приглашение в Шахматово; С. М. Соловьев в Москве должен присоединиться ко мне ‹…›. Лишь в последние числа июня, а может, в начале июля, решаюсь я ехать к А. А.; присоединяется ко мне А. С. Петровский, совсем неожиданно; я не помню, как он решился ехать со мною, но помню, что, сидя в вагоне, мы оба перепугались, почувствовали конфуз: я – от сознания, что еду впервые к А. А. и везу с собой спутника, которого не приглашали хозяева; А. С. – от того, что он сам «напросился». ‹…›

А. А. издали нас увидал, остановился и, приложив к глазам руку, разглядывал; нас узнавши, оставив Л. Д., побежал крупным бегом по полю; остановился он, запыхавшись пред нами; и со спокойною, важной какой-то улыбкой без удивления подал нам руку:

– Ну вот и приехали!

Тут повернувшись к А. С, он добавил все с тем же внушительным юмором:

– Вот хорошо. ‹…›

Л. Д. подошла, улыбаясь, как к старым приятелям; повернули; пошли назад к дому; и удивлялись причинам молчания С. М. Соловьева; и тому, что не едет он; мы говорили об общих московских знакомых, о Соколовых, об Эллисе, – о разных уютнейших пустяках, смысл которых меняется от настроения собеседников, и то кажется совершенно пустым, то – наполненным содержанием; помнится: весь разговор был лишь формою ласкового молчания всех нас, довольством друг другом; так шли мы согретые солнышком, – точно оно обвевало ветерочками, визгами ласточек, стебельками и мотыльками; казалось: мы – дома; нашли мы – наш дом ‹…›.

А. С. Петровский и я просыпались часам к 9-ти; перекидывались словами и шутками, медленно мы поднимались; часам к 10-ти опускались мы вниз, к Александре Андреевне, – пить кофе; за кофе завязывались разговоры, всегда интересные; Александра Андреевна – великолепная собеседница; выяснилось,

что, с одной стороны, понимала она нашу «мистику»; более принимала она наши «зори»; с другой стороны: в ней был скепсис; испытующе она нас проверяла; не раз наблюдал острый, меня наблюдающий взор; и скептически заостренный вопрос ее часто смущал меня; напоминала она мне покойную Соловьеву.

А. А. и Л. Д. появлялись позднее; они приходили из домика, заплетенного в розы, в пурпурный шиповник (в двух комнатках жили они); бывало, послышатся шаги на террасе: и с солнца, веселые, – входят они; А. А. своей белой рубашке с пурпурными лебедями; Л. Д. в широчайшем капоте, мечтательно розовом; линия разговора ломается; определенных вопросов, которые мы подымали за утренним кофе с А. А., – уже нет: и расплываются эти вопросы ‹…›.

После обеда – засиживались до вечернего чаю; и после чаю – засиживались; водворялось молчание; виделась издали освещенная комната с белым букетом кувшинок; собрали их с пруда, который – под церковью; помню: А. С. был охвачен усердием раздобыть для Л. Д. попышнее кувшинку; она же *«прекрасною дамой»* стояла у пруда, склонивши головку и положив на плечо белый зонт кружевной; А. С., рыцарь, под взглядами *«дамы»* залез по колено в студеную воду; букет вышел пышный; А. С. – совершенно промок; но – удостоился благоволения «*Королевы».* Л. Д., так умевшей казаться торжественной когда надо, и неприступной; умевшей быть ясной, сердечной, простою сестрой; и умевшей – надуться, не замечать, наказать за какой-нибудь жест, перетомить; и – помиловать; жесты карания, милости были присущи Л. Д. И она ими тонко и мило играла, как будто мы были детьми; *вот*, бывало, – нахмурится: а Александра Андреевна показывает глазами на хмурую *«даму»:* и шепчет нам:

– Люба-то, строгая!

А. А. подглядывает, точно хочет сказать:

– Что – попались: вот видите Люба какая… Всех вас забрала? Бойтесь, бойтесь ее…

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Шахматово, 15–17 августа 1907 г.:*

Наше письменное знакомство завязалось, когда Вы сообщили через Ольгу Михайловну Соловьеву, что хотите писать мне. Я сейчас же написал Вам, и первые наши письма сошлись. С первых же писем, как я сейчас думаю, стараясь определить суть дела, сказалось различие наших темпераментов и странное несоответствие между нами – роковое, сказал бы я. Вот как это выражалось у меня: я заранее глубоко любил и уважал Вас и Ваши

стихи. Ваши мысли были необыкновенно важны для меня, и, сверх всего (это самое главное), я чувствовал между нами таинственную близость, имени которой никогда не знал и не искал. В то время я жил очень неуравновешенно, так что в моей жизни преобладало одно из двух: или страшное напряжение мистических переживаний (всегда высоких), или страшная мозговая лень, усталость, забвение обо всем. Кстати, – я думаю, что в моей жизни все так и шло и долго еще будет идти тем же путем. Теперь вся разница только в том, что надо мною – «холодный белый день», а тогда я был «в тумане утреннем». Благодаря холоду белого дня, я нахожу в себе трезвость и бóльшую работоспособность, чем прежде, но и только. По-прежнему, как в пору нашего письменного знакомства, когда Вы любили меня и верили мне, во мне – всё те же огненные переживания (правда, «поднимающиеся с ледяных полей души», как написал недавно – по поводу «Снежной маски» – В. Я. Брюсов; за эти слова я глубоко благодарен ему, так как, почти не зная меня лично, он так тонко определил то, чего я сам бы не сумел), сменяющиеся мозговой ленью + трезвость белого дня (желанье слушать, учиться, определиться). ‹…› В ту пору моей жизни, когда мы встретились с Вами, я узнал и драматическую симфонию (не помню, до или после знакомства), и вся наша переписка, сплетаясь с моей жизнью, образовала для меня симфонию необычайной и роковой сложности. Я не разбирался в этой сложности. Знаю одно: мне было трудно понимать Вас и трудно писать Вам. Я объяснял это – ленью. Ровно через год мы встретились. Мне было трудно говорить с Вами, и я опять объяснял это своей ленью. Но это было НЕ единственной причиной. Причина, вероятно главная, сказалась при следующих обстоятельствах: Вы помните, что в то же лето Вы приехали в Шахматово с Петровским. Помню резко и ясно, как мы гуляли в первую ночь нашего знакомства при луне, и Вы много говорили, а я, по обыкновению, молчал. Когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я почувствовал к Вам мистический страх. Насколько помню, об этом реальнейшем для меня факте нашего знакомства я никогда Вам не говорил. В этом – может быть – моя большая мистическая вина. В ту ночь я почувствовал и пережил напряженно то, что мы – «разного духа», что мы – духовные враги. Но я – очень скептик, тогда был мучительно скептик, – и следующее утро разогнало мой страх. Мне было по-прежнему только трудно с Вами. Думаю, что Вы тогда почувствовали, что происходило во мне, как вообще непостижимо (для меня и до сих пор) тонко чувствовали многое, как чувствовали и затрудненность нашего с Вами личного и письменного общения.

Потом – пошли опять наши письма и наши встречи ‹…›. Я решительно думаю: я не старался узнать Вас, как не стараюсь никогда узнавать никого, это – не мой прием. Я – принимаю или не принимаю, верю или не верю, но не узнаю, не умею. Вы, наоборот, хотите узнавать всегда, Вы, по темпераменту, пытливый, торопливый, быстро зажигающийся человек. Мы с Вами и письменно и устно объяснялись в любви друг другу, но делали это по-разному – и даже в этом не понимали друг друга.

1905. Первые сполохи русской революции

Георгий Иванович Чулков:

Блок принял революцию, но как? Он принял ее не в положительных ее чаяниях, а в ее разрушительной стихии, – прежде всего из ненависти к буржуазии.

Мария Андреевна Бекетова:

Фабричный район, где жили Кублицкие и молодые Блоки, а также условия полковой жизни дали нам всем возможность видеть то, что не могли знать многие в Петербурге. Задолго до 9 января уже чувствовалась в воздухе тревога. Александр Александрович пришел в возбужденное состояние и зорко присматривался к тому, что происходило вокруг. Когда начались забастовки, по улицам подле казарм стали ходить выборные от рабочих. Из окон квартиры можно было наблюдать, как один из группы выборных махнет рукой, проходя мимо светящихся окон фабрики, и по одному мановению этой руки все огни фабричного корпуса мгновенно гаснут. Это зрелище произвело на Александра Александровича сильное впечатление. Он с матерью волновался и ждал событий.

В ночь на 9 января, в очень морозную ночь, когда полный месяц стоял на небе, денщик разбудил Франца Феликсовича, сказав, что «командир полка требует г-д офицеров в собрание».

Когда Франц Феликсович ушел, Александра Андреевна оделась и вышла из дому. На улице подле казарм весь полк уже оказался в сборе, и она слышала, как заведующий хозяйством полковник крикнул старшему фельдшеру: «Алексей Иванович, санитарные повозки взяли?»

Поняв, что готовится нечто серьезное, Ал. Андр. вернулась домой, постучалась к сыну и в двух словах сообщила о случившемся. Он тотчас же встал. Сын и мать вышли на улицу. В это время уже рассветало. На набережной у Сампсониевского моста, у всех переходов через Неву стояли вызванные из окрестностей Петербурга кавалерийские посты. Тот отряд гренадер, которым командовал Франц Феликсович, занимал позицию возле часовни Спасителя. Тут же стояли уланы, которые спешились, разожгли костры и вокруг этих костров устроили танцы, вероятно, чтобы согреться. Возле моста рабочий дружески уговаривал конного солдата сойти с поста, объясняя ему, что «все мы, что рабочий, что солдат – одинаковые люди». В ответ на увещания бедный солдат отмалчивался, но видимо томился. Празднично одетый рабочий вышел из квартиры и долго

крестился на церковь, но переходы на ту сторону оказались в руках неприятеля, и видно было, как рабочий тычется и тщетно ищет свободного прохода, мелькая издали нарядным розовым шарфом. Вскоре началась стрельба. От Петровского парка прокатился ружейный залп, за ним второй, Ал. Андр. зашла за мною. Мы еще долго ходили по улицам. Александр Александрович ушел несколько раньше. Вернувшись в свою квартиру, Александра Андреевна нашла у себя Андрея Белого.

Андрей Белый:

Но А. А. в этот день волновался другим: значит был факт расстрела. Я никогда не видел его в таком виде; он быстро вставал; и – расхаживал, выделяясь рубашкой из черной, свисающей шерсти и каменной гордо закинутой головою на фоне обой; и контраст силуэта (темнейшего) с фоном (оранжевым) напоминал мне цветные контрасты портретов Гольбейна (лазурное, светлое – в темно-зеленом); покуривая, на ходу, он протягивал синий дымок папиросы и подходил то и дело к окошку, впиваясь глазами в простор сиротливого льда, точно – он – развивал неукротимость какую-то; а за чаем знали: расстрелы, действительно, были.

Сергей Митрофанович Городецкий:

Тревожный, ищущий, обворожительно кроткий, встретил Блок Пятый год. Помню, как Любовь Дмитриевна с гордостью сказала мне: «Саша нес красное знамя» – в одной из первых демонстраций рабочих. Помню, как значительно читал он стихотворение, только что написанное, где говорится о рыцаре на крыше Зимнего дворца, склонившем свой меч.

У Вячеслава Иванова

Сергей Митрофанович Городецкий:

Осенью начались «среды» Вячеслава Иванова, на Таврической, над Государственной Думой. Я там не бывал. Блок бережно меня от них отстранял. По-прежнему мы встречались только у него. Подвел Пяст. В конце года он привел меня на «Башню», как назывались чердачные «чертоги» Вячеслава. Ввиду того, что в период «Снежной маски» «среды» сыграли для Блока большую роль, нужно на них, немного забегая вперед, остановиться. Большая мансарда с узким окном прямо в звезды. Свечи в канделябрах. Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал в хитоне. И вся литература, сгруппировавшаяся около «Нового пути», переходившего в «Вопросы жизни». Бывали: мистики – троица: Мережковский, Гиппиус, Философов; Бердяев; профессура и доцентура: Зелинский, Ростовцев, Евгений Аничков; Георгий Чулков, творивший тогда свой «мистический анархизм» и «Факелы», Валерий Брюсов, Блок, Андрей Белый, Бальмонт, Сологуб, Ремизов, Эрберг; критики только что нарождавшихся понедельничных газет – Чуковский и Пильский; писатели из «Знания» – Леонид Андреев, Семен Юшкевич; затем эстеты – Рафалович, Осип Дымов, Сергей Маковский, Макс Волошин; был представлен и марксизм – Столпнером и, кажется, один раз Луначарским; художники – Сомов, Бакст, Добужинский, Бенуа и, наконец, молодежь: Кузмин, Пяст, Рославлев, Яков Годин, Модест Гофман. Собирались поздно. После двенадцати Вячеслав, или Аничков, или еще кто-нибудь делали сообщение на темы мистического анархизма, соборного индивидуализма, страдающего бога эллинской религии, соборного театра, Христа и Антихриста и т. д. Спорили бурно и долго. Блестящий подбор сил гарантировал каждой теме многоцветное освещение – но лучами все одного и того же волшебного фонаря мистики. ‹…› После диспута, к утру, начиналось чтение стихов. Это проходило превосходно. Возбужденность мозга, хотя своеобразный, но все же исключительно высокий интеллект аудитории создавали нужное настроение. Много прекрасных вещей, вошедших в литературу, прозвучали там впервые.

Валентина Петровна Веригина:

У Иванова собиралось всегда очень много народу, Вячеслав Иванов пользовался большим авторитетом. На его средах поэты читали свои новые стихи, пьесы (Блок читал «Незнакомку» и «Снежную маску»), делали доклады. Тему вечера давал сам

Вячеслав Иванович. Например, был вечер, посвященный Эросу, затем помню вечер, на котором М. А. Волошин читал доклад на тему о Вечной Женственности, Премудрости-Софии.

Тут произошел некий потешный инцидент. Сначала все шло благополучно, было серьезно и торжественно. Правда, мы явились, как всегда, в веселом настроении. С Блоком встретились еще у подъезда, и я вошла с ним вместе. Я заявила, что сяду от него подальше, чтобы не впасть в легкомысленное настроение. Он посмотрел на меня с победоносным видом, сделал едва заметное движение подбородком, как бы желая сказать: «Берегитесь!» Я села на край сундука у самой двери рядом с Мунт и принялась с интересом слушать. Мое внимание довольно долго было занято докладом, но в какое-то мгновение я вспомнила о Блоке. Мне неудержимо захотелось взглянуть в его сторону. Внутренний голос говорил, как Хоме Бруту: «Не гляди!», а я все-таки посмотрела. Ужас! Блок сидел у стены с торжественным лицом, нелепо держа перед собой указательный палец. Глаза его смотрели на меня с безмятежным спокойствием. Я не выдержала этого испытания и, чтобы скрыть душивший меня смех, спряталась за Мунт.

По докладу первый выступал Вячеслав Иванов, который говорил всегда совершенно замечательно. Все слушали его с большим вниманием, но после его речи произошло нечто неожиданное (инцидент, о котором я упоминала). Поднялся некий думский депутат из Одессы (неизвестно, кто привел этого человека, потом, кажется, так никто и не сознался). В его манере не было заметно ни тени смущения, наоборот, – вид у него был самый решительный. Депутат с необыкновенным темпераментом обрушился на докладчика и самого Вячеслава Иванова. Он наивно издевался над ними, как над сумасшедшими. Восхваления вечной женственности, рассуждения о Премудрости-Софии привели его в полнейшее негодование; женщина – существо второстепенное, в синагоге она не имеет права даже молиться вместе с мужчинами, и какая у нее может быть мудрость, когда она нелогична.

Все были озадачены этим выступлением. Мне показалось, что Вячеслав Иванович смущен: как любезному хозяину, ему неудобно было осадить оратора, который, в сущности, сорвал настроение вечера. Мы с Е. М. Мунт содрогались от сдерживаемого смеха. Было очевидно, что депутат с Премудростью-Софией отождествлял каких-то известных ему женщин.

Спасла положение жена Вячеслава Иванова – Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал. Она заявила: «Женщина

нелогична потому, что гениальна». Все зааплодировали, расхохотались, и смелому оратору пришлось стушеваться. Во время его замечательной речи я не решалась взглянуть на Блока. Только когда явилась возможность открыто смеяться, я посмотрела в его сторону. У него были веселые глаза, он искал ими оратора. Рот по-мальчишески был полуоткрыт. По-видимому, депутат вызвал в нем интерес, смешанный с жалостью и некоторым отвращением к его чрезмерной смелости. Когда через несколько минут мы оказались рядом, Блок сказал по его адресу:

– Да уж…

Это все, что заслужил от него злополучный провинциал.

Самуил Миронович Алянский:

‹…› Много позднее я узнал, что Иванов любил Блока – человека и поэта и, приезжая из Москвы в Петербург, с вокзала шел в цветочный магазин, посылал Александру Александровичу букет цветов, как первый привет.

1906–1907. Страсти вокруг Прекрасной Дамы

Любовь Дмитриевна Блок:

Моя жизнь с «мужем» (!) весной 1906 года была уже совсем расшатанной. Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца погасла, не успев вырвать меня из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез. ‹…› Той весной, вижу, когда теперь оглядываюсь, – я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать. Если бы я теперь рассудком отстранилась от прошлого, чужого, то против Бори я почти ничего не мог‹ла› противупоставить: все мы ему верили, глубоко его уважали, и считались с ним, он был свой. Я же, повторяю, до идиотизма не знала жизнь и ребячливо верила в свою непогрешимость.

Да, по правде сказать, и была же я в то время и семьей Саши, и московскими «блоковцами» захвачена, превознесена без толку и на все лады, мимо моей простой человеческой сущности. Моя молодость таила в себе какое-то покоряющее очарование, я это видела, это чуяла; и у более умудренной опытом голова могла закружиться. Если я пожимала плечами в ответ на теоретизирования о значении воплощенной во мне женственности, то как могла я удержаться от соблазна испытывать власть своих взглядов, своих улыбок на окружающих? И прежде всего – на Боре, самом значительном из всех? Боря же кружил мне голову, как самый опытный Дон-Жуан, хотя таким никогда и не был. Долгие, иногда четырех– или шестичасовые его монологи, отвлеченные, научные, очень интересные нам, заканчивались неизбежно каким-нибудь сведéнием ко мне; или прямо или косвенно выходило так, что смысл всего – в моем существовании и в том, какая я.

Не корзины, а целые «бирнамские леса» появлялись иногда в гостиной – это Наливайко или Владислав (денщики Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттуха. – *Сост.*), смеясь втихомолку, вносили присланные «молодой барыне» цветы. Мне – привыкшей к более чем скромной жизни и обстановке! Говорил (А. Белый) и речью самых влюбленных напевов: приносил Глинку («Как сладко с тобою мне быть» и «Уймитесь волнения страсти», еще что-то). Сам садился к роялю импровизируя; помню мелодию, которую Боря называл «моя тема» (т. е. его тема). Она хватала за душу какой-то близкой мне отчаянностью и болью о том же, о чем

томилась и я, или так мне казалось. Но думаю, что и он, как и я, не измерял опасности тех путей, по которым мы так неосторожно бродили. Злого умысла не было и в нем, как и во мне.

Помню, с каким ужасом я увидела впервые; то единственное, казавшееся неповторимым моему детскому незнанию жизни, то, что было между мной и Сашей, что было для меня моим «изобретением», неведомым, неповторимым, эта «отрава сладкая» взглядов, это проникновение в душу без взгляда, даже без прикосновения руки, одним присутствием – это может быть еще раз и с другим? Это – *бывает*? Это я смотрю вот так на «Борю»? И тот же туман, тот же хмель несут мне эти чужие, эти не Сашины глаза?

Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметева – с «Парсифаля», где были всей семьей и с Борей. Саша ехал на санях с матерью, я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки «братских» (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где – на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то фразу я повернулась к нему лицом – и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды… но ведь это то же, то же! «Отрава сладкая…» Мой мир, моя стихия, куда Саша не хотел возвращаться, о, как уже давно и как недолго им отдавшись! Все время ощущая нелепость; немыслимость, невозможность, я взгляда отвести уже не могла.

И с этих пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предрешая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом ‹…› Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы.

Андрей Белый. *Из дневника:*

Л. Д. мне объясняет, что Ал‹ександр› Алекс‹андрович› ей не муж; они не живут как муж и жена; она его любит братски, а меня – подлинно; всеми этими объяснениями она внушает мне мысль, что я должен ее развести с Ал‹ександром› Алек‹сандровичем› и на ней жениться; я предлагаю ей это; она –

колеблется, предлагая, в свою очередь, мне нечто вроде menage en trois[15], что мне несимпатично; мы имеем разговор с Ал. Ал. и ею, где ставим вопрос, как нам быть; Ал. Ал. – молчит, уклоняясь от решительного ответа, но как бы давая нам с Л. Д. свободу. ‹…› Она просит меня временно уехать в Москву и оставить ее одну, – дать ей разобраться в себе; при этом она заранее говорит, что она любит больше меня, чем Ал. Ал., и чтобы я боролся с ней же за то, чтобы она выбрала путь наш с ней. Я даю ей нечто вроде клятвы, что отныне я считаю нас соединенными в Духе и что не позволю ей остаться с Ал‹ександром› Алекс‹андровичем›.

Любовь Дмитриевна Блок. *Из письма Андрею Белому. 9 марта 1906 г.:*

Милый, я не понимаю, что значит – разлука с тобой. Ее нет, или я не вижу еще ее. Мне не грустно и не пусто. Какое-то спокойствие. Что оно значит? И почему я так радостно улыбалась, когда ты начал удаляться? Что будет дальше? Теперь мне хорошо – почему, не знаю. Напиши, что с тобой, как расстался со мной, понимаешь ли ты, что со мной. Люблю тебя, но ничего не понимаю. Хочу знать, как ты. Люблю тебя. Милый. Милый. Твоя Л. Б.

Любовь Дмитриевна Блок. *Из письма Андрею Белому. 13 марта 1906 г.:*

Несомненно, что я люблю и тебя, истинно, вечно; но я люблю и Сашу, сегодня я влюблена в него, я его на тебя не променяю. Я должна принять трагедию любви к обоим вам.

Любовь Дмитриевна Блок. *Из письма Андрею Белому. 17 марта 1906 г.:*

Боря, я поняла все. Истинной любовью я люблю Сашу. Вы мне – брат.

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

9 апреля ‹1906›. Петербург. Интересно, как идут события. Отношение к Боре совершенно поколеблено и Любу не считают ни мировой, ни священной. Боря уже не архангел с мечом, не непогрешимый, а безумно влюбленный и очень жестокий мальчик, тупо внимающий каждому слову Любы. Сашура ревнует – Люба рвет и мечет из-за того, чтобы не помешали ей видеться с Борей. ‹…›

15 апреля, поздно. Петербург. ‹…› Она мне рассказывает все и между прочим про Борю: написал длинное письмо Сашуре, где

сказано между прочим: «Один из нас должен погибнуть, я увижу ее живую или мертвую; кто думает, что это только влюбленность, тот ничего не понимает». ‹…› Что-то сделает Люба и что будет дальше.

Андрей Белый:

Заболевает Л. Д. Надвигается время обратного выезда в Питер; письмо от А. А.: не приезжай, потому что Л. Д. ослабела, а я – весь в экзаменах; и подобное – получаю от Александры Андреевны; воспринимаю я письма не просто; в них вижу предлог улизнуть; это все обусловливает мой отъезд из Москвы; уведомляю Л. Д., Александру Андреевну неделикатнейше; Александра Андреевна обижена; а Л. Д. – рекомендует не ехать; я – еду.

Святая неделя!..

Приехал с тяжелым принудом, иду неуверенный, буду ли принят; стесненно встречает Л. Д.; и приводит на *«их»* половину; из этого заключаю, что Александра Андреевна – не принимает меня; застаю переводчика, Ганса Гюнтера и латышского деятеля (В. Дамбергса. – *Сост.*), восхищенного красотой Петербурга и атрибутами автократии; А. А., сдержанный, все же любезный, показывает: не рассеять молчания, никаких разговоров! ‹…›

Л. Д. допускала меня к разговорам; ходил к ней; запомнился день; был он душен и мутен: гроза приближалась; молчали; Л. Д. ушла взглядом в страду. А. А. в эти дни я почти не видал; он сидел у себя; и потом – исчезал он.

Любовь Дмитриевна Блок. *Из письма Андрею Белому. Шахматово, 6 августа 1906 г.:*

С весны все настолько изменилось, что теперь нам увидеться и Вам бывать у нас – совершенно невозможно. Случайные же встречи где бы то ни было были бы и Вам, и мне только по-ненужному беспокойны и неприятны. Вы должны, Боря, избавить меня от них – в Петербург не приезжайте. И переписку тоже лучше бросить, не нужна она, когда в ней остается так мало правды, как теперь, когда все так изменилось и мы уже так мало знаем друг о друге.

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

7 августа ‹1906›. Шахматово. ‹…› Завтра Сашура едет с Любой в Москву по делам своей книги, но, главное, объясняться с Борей. Дела дошли до того, что этот несчастный, потеряв всякую меру и смысл, пишет Любе вороха писем и грозит каким-то мщением, если она не позволит ему жить в Петербурге и видеться. С каждой

почтой получается десяток страниц его чепухи, которую Люба принимала всерьез; сегодня же пришли обрывки бумаги в отдельных конвертах с угрозами. Решили ехать для решительного объяснения. Аля страшно боится, что он будет стрелять в Сашуру. Завтра предстоит тяжелый день ожидания до поздней ночи. Хорошо, что я все-таки с ней. Они оба уверяют, что все кончится вздором, смеются и шутят. Люба в восторге от интересного приключения, ни малейшей жалости к Боре нет. Интересно то, что Сашура относится к нему с презрением, Аля с антипатией, Люба с насмешкой и ни у кого не осталось прежнего. Все не верят в его великую силу.

Андрей Белый:

Попадаю случайно в Москву: продолжаю обстреливать Блоков оттуда; и – получаю записку: Л. Д. и А. А. собираются на день в Москву объясниться; жду; утром однажды звонятся: посыльный: А. А. и Л. Д. сидят в «Праге» и – просят туда; я – лечу; я – влетаю на лестницу; вижу, что там, из-за столика, поднимаются: ласково на меня посмотревший А. А., и спокойная, пышущая здоровьем и свежестью, очень нарядная и торжественная Л. Д. (ей одной было видно всех легче); она ставит решительный ультиматум: угомониться. Я – ехал совсем на другое; я думал, что происходит полнейшая сдача позиций мне Блоками; едва сели, как вскакиваю к удивленью лакеев; и – заявляю:

– Не знаю, зачем вы приехали… Нам говорить больше не о чем – до Петербурга, до скорого свидания там.

– Нет, решительно: вы – не приедете…

– Я приеду.

– Нет…

– Да…

– Нет…

– Прощайте!

И – направляюся к выходу, останавливаемый лакеем с токайским в руке; я – расплачиваюсь; Блоки, тесно прижавшись друг к другу, спускаются с лестницы; я – нагоняю: Л. Д. очень нервно обертывается; и в глазах ее вижу – испуг ‹…›; я думаю, что она верно думает, что я думаю – что-то недоброе; и я думаю на думы о думах: да, да, удивительно сензитивно; но – успокойтесь: *не это* грозит, а – *другое,* о чем вы не знаете. Показалося мне, что Л. Д. показалося, что имею в кармане оружие я.

Все втроем мы выходим; расходимся перед «*Прагою*»; Блоки – по направлению к Поварской, я – к Смоленскому рынку.

Любовь Дмитриевна Блок:

Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись. Я стремилась устроить жизнь, как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как «знакомые». Мне, конечно, это было обременительно, трудно и хлопотливо – бестактность Бори была в те годы баснословна. Зима грозила стать пренеприятнейшей. Но я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это… Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от этой уже ненужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов, тогда я считала себя в праве так поступать, раз я то уже свободна от влюбленности.

Вызов на дуэль был, конечно, ответ на все мое отношение, на мое поведение, которого Боря не понимал, не верил моим теперешним словам. Раз сам он не изменил чувств, не верил измене моих. Верил весенним моим поступкам и словам. И имел полное основание быть сбитым с толку. Он был уверен, что я «люблю» его по-прежнему, но малодушно отступаю из страха приличия и тому подобных глупостей. А главная его ошибка – был уверен, что Саша оказывает на меня давление, не имея на то морального права. Это он учуял. Нужно ли говорить, что я не только ему, но и вообще никому не говорила о моем горестном браке. Если вообще я была молчалива и скрытна, то уж об этом… Но совершенно не учуял основного Сашиного свойства. Саша всегда становился совершенно равнодушным, как только видел, что я отхожу от него, что пришла какая-нибудь новая влюбленность. Так и тут. Он пальцем не пошевелил бы, чтобы удержать. Рта не открыл бы. Разве только для того, чтобы холодно и жестоко, как один он умел, язвить уничтожающими насмешками, нелестными характеристиками моих поступков, их мотивов, меня самой и моей менделеевской семьи, на придачу.

Поэтому, когда явился секундант Кобылинский, я моментально и энергично, как умею в критические минуты, решила, что я сама должна расхлебывать заваренную мною кашу. Прежде всего я спутала ему все карты и с самого начала испортила все дело.

А. Белый говорит, что приехал Кобылинский в день отъезда Александры Андреевны, т. е. 10 августа (судя по дневнику

М. А. Бекетовой). Может быть, этого я не помню, хотя прекрасно помню все дальнейшее. Мы были с Сашей одни в Шахматове. День был дождливый, осенний. Мы любили гулять в такие дни. Возвращались с Малиновой горы и из Прасолова, из великолепия осеннего золота, промокшие до колен в высоких лесных травах. Подымаемся, в саду по дорожке, от пруда, и видим в стеклянную дверь балкона, что по столовой кто-то ходит взад и вперед. Скоро узнаем и догадываемся.

Саша, как всегда, спокоен и охотно идет навстречу всему худшему, – это уж его специальность! Но я решила взять дело в свои руки и повернуть все по-своему, не успели мы еще подняться на балкон. Встречаю Кобылинского непринужденно и весело, радушной хозяйкой. На его попытку сохранить официальный тон и попросить немедленного разговора с Сашей наедине, шутя, но настолько властно, что он тут же сбивается с тона, спрашиваю, что же это за секреты? У нас друг от друга секретов нет, прошу говорить при мне. И настолько в этом был силен мой внутренний напор, что он начинает говорить при мне (секундант-то!). Ну, все испорчено. Я сейчас же пристыдила его, что он взялся за такое бессмысленное дело. Но говорить надо долго, и он устал, а мы, давайте сначала пообедаем!

Быстро мы с Сашей меняем наши промокшие платья. Ну, а за обедом уж было пустяшным делом пустить в ход улыбки и «очей немые разговоры», – к этому времени я хорошо научилась ими владеть и знала их действие. К концу обеда мой Лев Львович сидел уже совсем прирученный, и весь вопрос о дуэли был решен… за чаем. Расстались мы все большими друзьями.

Андрей Белый:

Неистовый Эллис, бывало, сидит у меня: не удивляется маске нисколько; и экзальтирует; он – взвивает мое настроение; высиживается решение: вызвать А. А. на дуэль; твердо знаю: убить – не убью; стало быть: это – форма самоубийства; от Эллиса прячу намерение это, но посылаю его секундантом к А. А.; он, надев котелок и подергивая своим левым плечом (такой тик у него), отправляется тотчас же – в ливень и в бурю; его с нетерпением жду целый день, он не едет. Звонок: возвращается мама; и – застает меня в маске.

На следующий лишь день появляется Эллис; рассказывает: прокачавшися в бричке по тряской дороге, под дождиком, наткнувшися у Шахматова на отъезжающую в Петербург Александру Андреевну, – встречает А. А. и Л. Д. в мокром садике, на прогулке, отводит А. А., передает вызов мой; тут он имеет длиннейшее с ним объяснение. Эллис, передавая это мне,

уверяет: все месяцы эти имею превратное представление об А. А.; он – не видит причин для дуэли; А. А. – то же самое он говорил-де ему:

– Для чего же, Лев Львович, дуэль? Где же поводы? Поводов – нет… Просто Боря ужасно устал…

И А. А.-де так ласково спрашивал обо всех мелочах, окружавших меня: ну, – конечно, приехать-де надо мне к ним, в Петербург; кто же может меня задержать? Недоразумение все это!..

Передавая такие слова от А. А., Эллис быстро твердил, перекручивая бородку и дергаясь левым плечом:

– Александр Александрович, – он: хороший, хороший!..

– Вот только: уста-а-алый, уста-а-алый!

И вот: сквозь *«химеру»* мне выступил образ любимого брата; очнулся я… Эллис же мне рассказал, что Л. Д. и А. А. целый день обо мне говорили; решили: А. А. будет ждать меня осенью в Питере.

– Стало быть то-то и то-то – не то?

– Ничего подобного, – уверял меня Эллис: рассказывал долго, как тихо бродили они по желтеющим, ярко осенним лесам, как А. А. приютил его на ночь, а ночью пришел к нему в комнату, сел па постель и беседовал. С ним о себе, обо мне и о жизни ‹…›.

Ну, так – так: решено; еду я в Петербург, а дуэли – не быть; и даю себе слово: дуэли с А. А. – никогда не бывать!

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Шахматово, 12 августа 1906 г.:*

Боря, милый!

Прочтя Твое письмо, я почувствовал опять, что люблю Тебя. Летом большей частью я совсем не думал о Тебе или думал со скукой и ненавистью. Все время все, что касалось Твоих отношений с Любой, было для меня непонятно и часто неважно. По поводу этого я не могу сказать ни слова, и часто этого для меня как будто и нет. По всей вероятности – чем беспокойнее Ты, – тем спокойнее теперь я. Так протекает все это для меня, и я нарочно пишу Тебе об этом, чтобы Ты знал, где я нахожусь относительно этого, и что *я верю себе* в этом. Внешним образом, я ругал Тебя литератором, так же как Ты меня, и так же думал о дуэли, как Ты. Теперь я больше не думаю ни о том, ни о другом. Я думаю совершенно определенно, так же как Люба и мама, каждый со своим оттенком, что Тебе лучше теперь не приезжать в Петербург, – и лучше *решительно для всех нас.*

В ответ на Твое письмо мне хочется крепко обнять Тебя и сообщить Тебе столько моего здоровья, сколько нужно, чтобы

у Тебя отнялось то, что лежит в одних нервах – только больное и ненужное. Я думаю, Ты согласен, что частью Тебя отравляет истерия.

Ты знаешь, Боря, милый, что я не могу «пытать», «мучить» и «бичевать» и что я не могу также бояться Тебя. Это все, что я могу сказать – и повторить еще раз, что я Тебя люблю.

Относительно «Нечаянной Радости»: *не* посвящаю ее Тебе; во-первых, потому, что не вижу теперь – «откуда» Тебе ее посвящу; во-вторых, наши отношения стали глубже и они не безмятежны так, как требуется при посвящении. Наконец, я не знаю и не понимаю теперь, «где Ты», и посвящение было бы внешним.

Милый Боря, Ты знаешь теперь, что я люблю и уважаю Тебя. Пишу Тебе все без малейших натяжек и без лжи. Крепко целую Тебя.

Твой *Саша.*

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

21 октября ‹1906›. Петербург. ‹…› Дело в том, что Боря Б‹угаев› уехал в Мюнхен по Любиному желанию, предварительно видевшись с ними здесь и наделав массу глупых и несимпатичных вещей: грозил убиться, но не убился. Она разрешила это, выбрав вместо отъезда. Он, однако, сам предпочел уехать. Напечатал в «Руне» фантастическое нечто («Куст»), изображающее прекрасную огородникову дочку с «ведьмовскими глазами», зеленым золотом волос и пр., которую насильственно держит дьявольский царь, прячущий ее от Иванушки-дурачка, а она-то его, Иванова, душа и т. д. Потом Куст уже является в качестве «красивого мужчины» с синим пятном на щеке и т. д. Этот бессильный пасквиль взбесил и разволновал Алю – Люба ни гу-гу ей, а сама, оказывается, написала Боре, что не желает больше иметь с ним дела. Он ответил, перевернувшись на каблучке, что не имел в виду ни ее, ни Сашу, т. к. Куст его царственный, а Сашу он очень уважает и ценит – и т. д. Словом, Люба как бы разорвала с ним.

Любовь Дмитриевна Блок. *Из письма Андрею Белому. 2/15 октября 1906 г:*

Нельзя так фотографически описывать какую бы то ни было женщину в рассказе такого содержания; это общее и первое замечание; второе – лично мое: Ваше издевательство над Сашей. Написать в припадке отчаяния Вы могли все; но отдать печатать – поступок вполне сознательный, и Вы за него вполне ответственны. Вы знали, что делаете, и решились на это.

Любовь Дмитриевна Блок. *Из письма Андрею Белому. 9/22 октября 1906 г:*

Скажу Вам прямо – не вижу больше ничего общего у меня с Вами. Ни Вы меня, ни я Вас не понимаем больше. ‹…› Вы считаете возможным печатать стихи столь интимные, что когда-то и мне Вы показали их с трудом. Пусть так; не чувствую себя теперь скомпрометированной ничуть, так как существование Вашей книги будет вне сферы моей жизни. ‹…› Возобновление наших отношений дружественное еще не совсем невозможно, но в столь далеком будущем, что его не видно мне теперь. Надо для этого, чтобы теперешний, распущенный, скорпионовский до хулиганства, Андрей Белый совершенно исчез и пришел кто-то новый.

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Санкт-Петербург, 6 декабря 1906 г.:*

Боря. Я получил и письмо, и фотографию, и стихи, но не отвечал тебе отчасти потому, что уезжал в Москву на конкурс «Золотого руна». Главное, впрочем, не мог тогда ответить, потому что недостаточно просто относился. Теперь – проще, и могу писать, но постараюсь писать меньше, чтобы не было неправды. И, конечно, прежде всего только за себя одного. При теперешних условиях, когда все и всюду запутано, самое большое мое желание быть самим собой. Так вот: ты знаешь, что я не враг тебе сейчас и что о «Кусте» я совсем не думал и не думаю и не могу обижаться. Ты пишешь, по-моему, очень верно, что ложь в наших отношениях была и что она происходила от немоты. Тем более необходимо теперь, когда мы оба узнали, что ложь была, всячески уходить от нее. И это, очевидно для меня, – единственный долг для нас в наших отношениях с тобой. Ты же пишешь принципиально, что «немоты не должно быть между людьми». Я могу исходить только из себя, а не из принципа, как бы он ни был высок. Потому говорю тебе: сейчас я думаю, что я ниже этого принципа, и если и могу нарушить свою немоту по отношению к тебе, то только до известной степени, но не до конца. Если я позволю себе это относительное нарушение немоты, – опять будет ложь. Почему не могу до конца, ты знаешь: преимущественно от моего свойства (которое я в себе люблю): мне бесконечно легче уйти от любого человека, чем прийти к нему. Уйти я могу в одно мгновение, подходить мне надо очень долго и мучительно; теперь во мне нет мучительного по отношению к тебе и потому еще нет путей. Навязывать себе какие бы то ни было пути я ни за что не стану, тем более в таких случаях, как наш; важность его я знаю очень

хорошо и не могу не знать: не было бы всего, что было, если бы было не важно.

Теперь: если я еще не могу идти навстречу тебе и говорю тебе об этом, – то также не чувствую, что ты идешь мне навстречу. То, что ты пишешь, – и карточка, и стихи, и письмо, – я думаю, не полная правда потому, что ты говоришь, например, в письме о примирении, а в стихах: «Не гаснет бескрайная высь». Для меня вопрос дальше примирения, потому что мы еще *до знакомства* были за чертой вражды и мира. А «бескрайная высь» все-таки – стихи. И из всего остального – из слов и лица на фотографической карточке – я не вижу в тебе того, кого могу сейчас принять в свою душу. Для себя я и в этом еще вижу неправду или, говоря твоим словом, еще не знаю твоего имени.

Но ведь, раз это важно, узнаю. Все, что необходимо, случится. Ты видишь, как я теперь пишу тебе, стараясь быть как можно элементарнее, суше и проще. Как же нам теперь говорить? Говорить всегда возможно, но нужно ли всегда? Я не понимаю твоего слова «обрывать», это совсем не то слово. «Обрывают» только те, кто заинтересован или увлечен друг другом. А я глубоко верю, что мы были дальше этого.

Если хочешь, можно и говорить, но думаю, что полной правды не выйдет и что немота еще есть. Я же не боюсь такой неправды и очень склонен ее забывать скоро. Думаю только, что именно теперь нам особенно должно было бы избегать лжи. Если хочешь, будем писать друг другу, но только тогда, когда есть полная внутренняя возможность, как сейчас у меня. Знай только, что не «сержусь», не «обижаюсь», не могу говорить о «примирении». Совершенно могу так же, как ты, прислать карточку (только у меня нет теперь) и написать стихи тебе. Но для меня это еще не настоящее. И вот сейчас я тебя люблю так же, как любил, но и это еще не то.

Конечно, пришлю тебе «Нечаянную Радость», когда она выйдет. Пожалуйста, пиши мне «ты» с маленькой буквы, я думаю, так лучше.

«Балаганчик»

Валентина Петровна Веригина:

Подошли к постановке «Балаганчика», который был написан для предполагаемого театра-журнала «Факелы» и Мейерхольду сразу стал желанным. Вполне понятно, что при первой возможности он предложил пьесу театру Комиссаржевской. Как раз Вере Федоровне необходимо было отдохнуть, она играла почти ежедневно, и предложение было принято. Решили ставить «Балаганчик» Блока вместе с «Чудом святого Антония». Роли в первой пьесе распределились так: Коломбина – Русьева, Пьеро – Мейерхольд, Арлекин – Голубев. Первая пара влюбленных – Мунт и Таиров. Вторая пара влюбленных (вихрь плащей) – Веригина и Бецкий. (Мейерхольд сказал, что Блок сам назначил мне роль «черной маски».) Третья пара влюбленных – Волохова и Горенский. Мистики – Гибшман, Лебединский, Жабровский, Захаров. Председатель – Грузинский, Паяц – Шаров, Автор – Феона.

Я уже говорила, что Мейерхольд, во многом противоположный Блоку, за какой-то чертой творчества приближался к нему. Это была грань, за которой режиссер оставлял быт, грубую театральность, все обычное сегодняшнего и вчерашнего дня и погружался в музыкальную сферу иронии, где, в период «Балаганчика», витал поэт, откуда он смотрел на мир. Фантазия Мейерхольда надела очки, приближающие его зрение к поэтическому зрению Блока, и он увидел, что написал поэт.

Воплотить такую отвлеченную, ажурную пьесу, привести на сцену, где все материально, казалось просто невозможным, однако режиссер нашел для нее сразу нужную сценическую форму. Без лишних разговоров, без особого разбора текста (если не считать пояснений Г. И. Чулкова, которые были только литературными) режиссер приступил к репетициям. Особым приемом, свойственным только ему, главным образом чарами актерского дирижера, он сумел заставить звучать свой оркестр, как ему было нужно. Истинное лицо поэта Блока через режиссера было воспринято актерами. Мейерхольд сам совершенно замечательно, синтетично играл Пьеро, доводя роль до жуткой серьезности и подлинности.

Н. Н. Сапунов построил на сцене маленький театрик с традиционным, поднимающимся кверху занавесом. При поднятии его зрители видели в глубине сцены посередине окно. Параллельно рампе стоял стол, покрытый черным сукном,

за столом сидели «мистики», в центре председатель. Они помещались за черными картонными сюртуками. Из манжет виднелись кисти рук, из воротничков торчали головы. Мистики говорили неодинаково – одни притушенным звуком, другие – почти звонко. Они прислушивались к неведомому, к жуткому, но желанному приближению. Когда В. Э. Мейерхольд репетировал с нами за столом, он читал за некоторых сам, причем всегда закрывая глаза. Он делал это невольно и прислушивался к чему-то невидимому, таким образом сосредоточивался. Эта сосредоточенность и творческий трепет режиссера помогали актерам в работе, совершенно новой и трудной для многих.

Художник Н. Н. Сапунов и М. А. Кузмин, написавший музыку, помогли в значительной мере очарованию «Балаганчика», который был исключительным, каким-то магическим спектаклем.

Александр Александрович Блок. *Из письма В. Э. Мейерхольду. Петербург, 22 декабря 1906 г.:*

Дорогой Всеволод Эмильевич!

Пишу Вам наскоро то, что заметил вчера. Общий тон, как я уже говорил Вам, настолько понравился мне, что для меня открылись новые перспективы на «Балаганчик»: мне кажется, что это не одна лирика, но есть уже и в нем остов пьесы; *об общем* хочется говорить только одно: всякий современный театр, даже Ваш, в котором всего воздушнее дыхание молодости, роковым образом несет на лице своем печать усталости; точно гигант, которому приходится преодолевать неимоверные препятствия в борьбе с мертвым материалом; есть момент, когда этот гигант изнемогает и останавливается, тяжело дыша. Как будто его душат эти незримые мертвые складки занавесей и декораций, свисающие из бездны купола. И тогда эти мертвые складки падают непосильным бременем на плечи актеров, режиссера, пьесы – сыпятся куски краски, громоздятся мертвые балки. В этой борьбе поневоле умирает звонкая нота, голоса грубеют; насколько этот момент присутствует в Вашем театре, настолько я могу восставать против него, *но только во имя звонкой лирики* своей пьесы; но сейчас же говорю себе и Вам: во-первых, в Вашем театре «тяжелая плоть» декораций наиболее воздушна и проницаема, наименее тяготит лирику; во-вторых (что главное), *всякий* балаган, в том числе и мой, стремится стать *тараном,* пробить брешь в мертвечине: балаган обнимается, идет навстречу, открывает страшные и развратные объятия этой материи, как будто предает себя ей в жертву, и вот эта глупая и тупая материя поддается, начинает доверять ему, сама лезет к нему в объятия; здесь-то и должен *«пробить час мистерии»*: материя

одурачена, обессилена и покорена; в этом смысле я *«принимаю мир»* – весь мир, с его тупостью, косностью, мертвыми и сухими красками, для того только, чтобы надуть эту костлявую старую каргу и омолодить ее: в объятиях шута и балаганчика старый мир похорошеет, станет молодым, и глаза его станут прозрачными, без дна.

Это мои общие соображения. Из них Вы можете видеть, что *я сам* стараюсь *«спрятать в карман»* те недовольства, которые возникают в моей *лирической* душе, настроенной на одну песню и потому *ограниченной*; я гоню это недовольство пинками во имя другой и более нужной во мне ноты – ноты этого *балагана,* который надувает и тем самым «выводит в люди» старую каргу, сплетенную из мертвых театральных полотнищ, веревок, плотничьей ругани и довольной сытости.

Это последнее и глубоко искреннее, что сейчас могу сказать Вам, может быть потом скажу больше и точнее. Извините, что заболтался, все это захотелось сказать Вам *вообще,* потому что мне казалось, что Вы думаете, будто я только *«мирюсь».* Но поверьте, что мне нужно быть около Вашего театра, *нужно,* чтобы «Балаганчик» шел у Вас; для меня в этом *очистительный* момент, выход из лирической уединенности. Да и к тому же за основу своей *лирической* души я глубоко спокоен, потому что знаю и вижу, какую истинную *меру* соблюдает именно Ваш театр: того, чего нельзя предавать толпе, этому слепому и отдыхающему театральному залу, – *он никогда* не предает – ни у Метерлинка, ни у Пшебышевского. И для меня в этом чувствуется факт очень значительный – присутствие истинной любви, которая *одна* спасает от предательства.

Валентина Петровна Веригина:

«Балаганчик» шел с десяти репетиций и зазвучал сразу. Невозможно передать то волнение, которое охватило нас, актеров, во время генеральной репетиции и особенно на первом представлении. Когда мы надели полумаски, когда зазвучала музыка, обаятельная, вводящая в «очарованный круг», что-то случилось такое, что заставило каждого отрешиться от своей сущности. Маски сделали всё необычным и чудесным. Даже за кулисами перед выходом мы разговаривали по-иному. Я помню момент перед началом действия во время первого спектакля. Я стояла и ждала музыки своего выхода с особым трепетом. Мой кавалер Бецкий и его двойник тихо расхаживали поодаль, кутаясь в плащи. Я почувствовала, что кто-то стоит у моего плеча, и обернулась. Это была белая фигура Пьеро. Мне вдруг стало тревожно и неприятно: «Что, если он скажет что-нибудь обычное,

свое, пошутит и разрушит очарование», но я тотчас же устыдилась мелькнувшей мысли: глаза Пьеро смотрели через прорезь маски по-иному. Он молчал. Ведь мы находились в таинственном мире поэзии Блока. Мейерхольд, по-видимому, в этот момент ощущал это больше всех.

Послышался шепот: «Бакст пошел», – это означало, что подняли первый занавес, расписанный Бакстом. Представление началось. В зрительном зале чувствовалась напряженная тишина. Тянулись невидимые нити от нас в публику и оттуда к нам. Музыка волновала и, как усилитель, перебрасывала чары создания Блока в зрительный зал. Когда опустился занавес, все как-то не сразу вернулись к действительности. Через мгновение раздались бурные аплодисменты с одной стороны и протест с другой, последнего было, правда, гораздо меньше. Вызывали особенно Блока и Мейерхольда. На вызов с ними вышли все участвующие. Когда раздавались свистки, усиливались знаки одобрения. Сразу было ясно, что это был необыкновенный, из ряда вон выходящий спектакль.

Многие потом бывали на «Балаганчике» по нескольку раз, но была и такая публика, которая не понимала его совсем и никак не принимала.

Кажется, в антракт перед «Чудом святого Антония», ставившегося в один вечер с «Балаганчиком», а может быть, после окончания спектакля к нам в уборную пришел Блок и поднес цветы – Мунт розовые, Волоховой белые и мне красные. Он был в праздничном, приподнятом настроении, и мы очень радовались его успеху.

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

31 декабря ‹1906›. Утром, Петербург. Вчера было первое представление «Балаганчика». Публика первых представлений: литераторы, художники и музыканты из новых. Несколько дам, причастных к искусству, и, конечно, родственники. Учащейся молодежи сравнительно мало, только интересующаяся искусством, так или иначе. Сначала шел «Балаганчик». Играли значительно лучше, чем на генеральной репетиции, все прошло гладко; постановка, несомненно, красива и оригинальна. В общем, празднично, святочно и везде, где стихи, веет благоуханной поэзией. Во время действия был все время хохот в толпе учащейся молодежи, среди грубых и некрасивых лиц. В конце пьесы раздалось шиканье и пронзительный свист, но все покрылось громкими и дружными аплодисментами. Много раз вызывали автора, он вышел и показался во всей своей юной и поэтической красоте. Шиканье, свист и гром аплодисментов.

Ему сейчас же бросили из первого ряда белую лилию и фиалки с зеленью. Это была Метнер (художница, за которой когда-то ухаживал Гиппиус). Осип Дымов почему-то бросил ему свой портрет – непонятная честь! В общем, успех. Публика, разумеется, избранная, не то будет потом, и интересно, что скажут газеты. Родственники не бранились, Софа нашла, что все лучше, чем ожидала. Автор и Люба сияли.

1906–1907. «Снежная маска». Наталья Николаевна Волохова

Валентина Петровна Веригина:

Больше всего, особенно первое время, Блок говорил со мной, и Н. Н. Волохова даже думала, что он приходит за кулисы главным образом ради Веригиной, но однажды во время генеральной репетиции «Сестры Беатрисы» она с изумлением узнала настоящую причину его частых посещений.

Блок зашел, по обыкновению, к нам в уборную. Когда кончился антракт, мы пошли проводить его до лестницы. Он спустился вниз, Волохова осталась стоять наверху и посмотрела ему вслед. Вдруг Александр Александрович обернулся, сделал несколько нерешительных шагов к ней, потом опять отпрянул и, наконец, поднявшись на первые ступени лестницы, сказал смущенно и торжественно, что теперь, сию минуту, он понял, что означало его предчувствие, его смятение последних месяцев. «Я только что увидел это в ваших глазах, только сейчас осознал, что это именно они и ничто другое заставляют меня приходить в театр.

Влюбленность Блока скоро стала очевидной для всех. Каждое стихотворение, посвященное Волоховой, вызывало острый интерес среди поэтов. Первые стихи ей он написал по ее же просьбе. Она просто попросила дать что-нибудь для чтения в концертах. 1 января 1907 года поэт прислал Волоховой красные розы с новыми стихами: «Я в дольний мир вошла, как в ложу. Театр взволнованный погас, и я одна лишь мрак тревожу живым огнем крылатых глаз».

Н. Н. была восхищена и вместе с тем смущена этими строками, но, разумеется, никогда не решалась читать их с эстрады. Вокруг выражения «крылатые глаза» между поэтами возник спор: хорошо ли это, возможно ли глаза называть крылатыми. Стихотворение обратило на себя исключительное внимание потому, что оно явилось разрешением смятенного состояния души, в котором находился Блок, естественно очень интересовавший своих собратьев. Этот интерес был перенесен теперь и на Волохову.

Всякому, кто хорошо знал Наталью Николаевну, должно быть понятно и не удивительно общее увлечение ею в этот период. Она сочетала в себе тонкую, торжественную красоту, интересный ум и благородство характера.

Разумеется, увлечение поэта не могло оставаться тайной

для его жены, но отнеслась она к этому необычно. Она почувствовала, что он любит в Волоховой свою музу данного периода. Стихи о «Незнакомке» предрекли «Прекрасной Даме» появление соперницы, но, несмотря на естественную в данном случае ревность, она отдавала должное красоте и значительности Волоховой, к тому же, может быть, и безотчетно знала, что сама непреходяща для Блока. Действительно, близ Любови Дмитриевны он остался до самого конца. Тут была не только литература, а настоящая привязанность, большая человеческая любовь и преклонение. В разговорах с нами о ней Александр Александрович часто говорил: «Люба мудрая». Не надо забывать, что она стала его первым увлечением – «розовой девушкой», в которой была вся его сказка.

Мария Андреевна Бекетова:

Кто видел ее тогда, в пору его увлечения, тот знает, какое это было дивное обаяние. Высокий, тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты, черные волосы и глаза, именно крылатые, черные, широко открытые «маки злых очей». И еще поразительна была улыбка, сверкающая белизной зубов, какая-то торжествующая, победоносная улыбка… Но странно, все это сияние длилось до тех пор, пока продолжалось увлечение поэта. Он отошел, и она сразу потухла.

Андрей Белый:

‹…› Я помню, что часто просиживали вечерами у Блоков мы впятером: я, Л. Д., А. А., Волохова, Веригина, милая, молодая блондинка, дружившая очень с Л. Д. В ней мне виделся юмор, задор, доброта; с ней легко было; Волохова – не то: очень тонкая, бледная и высокая, с черными, дикими и мучительными глазами и синевой под глазами, с руками худыми и узкими, с очень поджатыми и сухими губами, с осиною талией, черноволосая, во всем черном, – казалась она reservée[16]. Александр Александрович ее явно боялся; был очень почтителен с нею; я помню, как встав и размахивая перчатками, что-то она повелительно говорила ему, он же, встав, наклонив низко голову ей внимал; и – робел:

– Ну – *пошла.*

И шурша черной, кажется, шелковой юбкой, пошла она к выходу; и А. А. за ней следовал, ей почтительно подавая пальто; было в ней что-то явно лиловое; может быть, опускала со лба фиолетовую вуалетку она; я не помню, была ли у ней фиолетовая вуалетка; быть может, *лиловая, темная* аура ее создавала во мне впечатление вуалетки; мое впечатленье от Волоховой: слово

«темное» с ней вязалось весьма; что-то было в ней *«темное»*.

Мне она не понравилась.

Владимир Пяст:

Состояние духа Блока в ту пору было трагическое. Он нуждался в утешителе: в человеке, могущем все понять и «отпустить», как исповедник. В человеке, стоящем хотя бы в данный момент выше страстей, не имеющем собственных. В этом случае возраст не играет особой роли. Найденный Блоком человек был значительно моложе Александра Александровича.

Наталья Николаевна Волохова *(1878–1966), актриса театра В. Ф. Комиссаржевской:*

Часто после спектакля мы совершали большие прогулки, во время которых Александр Александрович знакомил меня со «своим городом», как он его называл. Минуя пустынное Марсово поле, мы поднимались на Троицкий мост и, восхищенные, вглядывались в бесконечную цепь фонарей, расставленных, как горящие костры, вдоль реки и терявшихся в мглистой бесконечности. Шли дальше, бродили по окраинам города, по набережным, вдоль каналов, пересекали мосты. Александр Александрович показывал мне все места, связанные с его пьесой «Незнакомка»: мост, на котором стоял Звездочет и где произошла его встреча с Поэтом, место, где появилась Незнакомка, и аллею из фонарей, в которой она скрывалась. Мы заходили в кабачок, где развертывалось начало этой пьесы, маленький кабачок с расписными стенами.

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

31 января ‹1907›. Петербург. На днях была у Али на рождении Франца. Все равно, что там было, но когда все ушли, Аля сообщила мне нечто очень важное: Саша сам рассказал ей, что влюблен в актрису Волохову (все началось с «Балаганчика»). Он за ней ухаживает, с ней катается; пока, как он сказал, они «проводят время очень нравственно» (странно слышать такие слова от него) и, кроме того, он же говорит: «влюбленность не есть любовь, я очень люблю Любу». Люба ведет себя выше всяких похвал: бодра, не упрекает и не жалуется, была одна на вечере у Али, он ушел, кажется, в театр Комиссаржевской. Все это вполне откровенно и весело делается, но Любе говорится, например, на ее предложение поехать за границу: «С тобой неинтересно». Каково ей все это переносить при ее любви, гордости, самолюбии, после всех ее опьяняющих триумфов. Мне жаль ее до слез. Она присмирела, ласкова и доверчива с Алей

и говорит: «Ведь какая я рожа, до чего я подурнела!» Мне невыносимо думать, что она страдает и плачет, а между тем, как говорит Женя Иванов, м. б., это ей на пользу. Да, м. б., но кроме жалости к этому цветку, и в сущности ребенку, ужасно еще и то, что сказка их, значит, уж кончена. Если он и вернется к ней, то уж будет не то, та любовь, значит, уже исчезла. Это, конечно, брак виноват и, кроме того, полное отсутствие буржуазных и семейных наклонностей у него. Она из верных женщин и при том его пленительность сильнее ее. Она всегда шокировала его известной вульгарностью, а он ведь как есть поэт, так всегда им и бывает со всем своим обликом. Пострадать ей, конечно, надо, но – боюсь я за нее. Ведь согнуться она не может, как бы не сломалась и не погибла. Ведь годы самые страстные – всего труднее мириться. А поклонников нет. Боря потерял свой последний престиж, а других-то нет. Аля говорит: «это все влияние Вячеслава Иванова». Какой вздор! Еще прошлой весной уж была «Незнакомка», а теперь вот она и воплотилась окончательно. Разве поэт, создающий такие женственные образы в 25 лет, может быть верен одной жене?

Люба все-таки не красавица и красавицы ей опасны, а Волохова красавица.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

1907 год начался для Блока «Снежною маскою». В тридцати стихотворениях этого цикла, написанных, по словам А. А., в две недели, отразилась напряженность налетевших на поэта вихрей. «Простите меня за то, что я все еще не писал Вам, несмотря на то, что мне хочется и видеть Вас и говорить с Вами. Все это оттого, что я в очень тревожном состоянии и давно уже», – пишет Блок мне 11 февраля 1907 года. Таким, тревожным, и вспоминаю я Блока в этот период, и следы этой тревоги проходят через ряд лет.

Валентина Петровна Веригина:

По временам Н. Н. Волоховой хотелось избавиться от своего мучительного чувства к другому, и она жалела, что не может влюбиться в Блока. «Зачем вы не такой, кого бы я могла полюбить!» – вырвалось у нее однажды.

«Снежная маска» вылилась из первого смятения от неожиданного отношения женщины. Блок говорил: «Так со мной никто не обращался». Все же он облекся в форму красивую – не отвергнутого любовника, а рыцаря деланного и в высшей степени нужного. По его словам, от Волоховой он получил второе крещение: «И гордость нового крещения мне

сердце обратила в лед». Пламя живой любви отвергнуто, начинается любовь снежная, снежное вино: «И нет моей завидней доли: в снегах забвенья догореть и на прибрежном снежном поле под звонкой вьюгой умереть».

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

15 февраля ‹1907›. Петербург. Была на днях у Али вечером. ‹…› Последние новости того дня такие: Волохова не любит Сашу, а он готов за ней всюду следовать.

Валентина Петровна Веригина:

Однажды я сказала Н. Н. полушутя, что впоследствии почитатели поэта будут порицать ее за холодность, как негодую, например, я на Амалию, что из-за нее страдал Гейне. Н. Н. рассмеялась над моими словами и сказала мне, что иногда она не верит в подлинные страдания Блока: может быть, это только литература. А над Любовью Дмитриевной взвился «костер высокий». Однажды она приехала к Волоховой и прямо спросила, может ли, хочет ли Н. Н. принять Блока на всю жизнь, принять поэта с его высокой миссией, как это сделала она, его Прекрасная Дама. Наталья Николаевна говорила мне, что Любовь Дмитриевна была в эту минуту проста и трагична, строга и покорна судьбе. Ее мудрые глаза видели, кто был ее мужем, поэтому для нее так непонятно было отношение другой женщины, ценившей его недостаточно. Волохова ответила: «Нет». Так же просто и откровенно она сказала, что ей мешает любить его любовью настоящей еще живое чувство к другому, но отказаться сейчас от Блока совсем она не может… Слишком было упоительно и радостно духовное общение с поэтом.

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

11 ноября ‹1907›. Петербург. Сегодня вечером, прогрустив изрядно, с опаской отправилась к Блокам. Меня ждала удача: дома один Блок. «Тетя, это ты, посиди». Я, конечно, посидела. ‹…› Рассказал мне все новости. Скончался «Луч», бросили дело с «Голосом Москвы», дорого продал драмы, написал цикл стихов для «Весов». Прочел мне; хорошо, но не ново и не первосортно для него. Где лучше, где хуже. «Маска» была сильнее. Но все она и она, лучезарная. Насколько могу понять, он безумствует, а она не любит или холодна и недоступна, хотя и видятся они беспрестанно. Вида страдающего он не имеет, хотя в одном прекрасном стихотворении описано, как тянет холодная бездна воды, а в другом монах молчалив и спокоен и никто не подозревает, что она сказала ему «молчи» и никакие молитвы

не нужны, когда ты ходишь за рекой. А Люба что? ‹…› Итак, она не победила Н. Н., и сама как будто опять готова мимолетно увлечься. Не велика она в любви. Так ли любят истинные женщины?..

Жажда жизни и успехов сильнее всего остального… Ее женственность внешняя, неглубокая… Нет, где уж ей тягаться с Н. Н. и прежней Алей. Люба прелестна, но кокетство ее неприятно и резко, и это плохой признак.

А Н. Н. и кокетство не нужно. Она и не кокетничает, это ей бы не шло. Она ведет себя совершенно так, как ей нужно и с полным спокойствием и серьезностью, без суровости и без резкости. Ее глаза говорят, ее улыбка сверкает, ее тонкий стан завлекает, несмотря на худобу. Вот уж подлинно: «La mégrure même etait une grâce»[17]. Поэт нашел свою «Незнакомку». Это она. Да, бывают же такие женщины!

Валентина Петровна Веригина:

Александр Александрович ждал Волохову с нетерпением в Петербурге. Но когда, по окончании мейерхольдовских гастролей, она явилась туда, он ясно увидел, что Н. Н. приехала не для него, и отошел от нее окончательно. (Впоследствии Блок отзывался о Волоховой с раздраженьем и некоторое время почти ненавидел.)

1907. Опять дуэль

Андрей Белый:

В марте 1907 года я был в Москве. С А. А. не переписывался; личное расхождение с ним определилось внешней формою: оказалися мы в разных литературных кругах; непонимания, о которых шла речь впереди, получили возможность себя выявлять чисто внешне; в Москве в литературных кругах «Скорпиона», «Весов», «Золотого Руна», «Перевала» открыто я нападал на линию литературной позиции Блока и выражал недовольство стихами его; пора личной переоценки поэзии Блока во мне совпадала с началом широкой известности Блока; о Блоке везде заговаривали; мне особенно было порою мучительно вслушиваться в дифирамб, распеваемый стихам Блока, – не тем, которые некогда поразили меня, – тем, которые меня отшатнули; я искренне думал: А. А. обменял теургическое первородство свое, венец жизни, на лавровый венок поэтической славы. ‹…›

В разгаре полемики я написал А. А. (жившему в Шахматове в то время) немотивированное, до оскорбительности резкое письмо, обвиняющее его и в штрейкбрехерстве, и в потворстве капиталисту, и в заискивании перед писателями, сгруппированными вокруг Леонида Андреева, за которыми шла в это время вся масса читателей. А. А. возмутился до глубины души тем письмом; он прочел в нем мое обвинение его в подхалимстве; и тут же: я получил его дикий по гневу ответ, обвиняющий меня в клеветничестве; и оканчивающийся – вызовом на дуэль.

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

7 августа ‹1907›. Шахматово. Ровно через год опять кошмар Андрея Белого и дуэли. На этот раз вызывает Саша, потому что тот написал ему письмо полное оскорблений, которых и он не вынес: обвиняет его во лжи, пишет, что хотя и подаст ему руку, если встретятся, но лучше не встречаться. Саша написал, чтобы он взял свои слова назад или прислал секунданта. Разумеется, тот пришлет секунданта. Они опять, как дети.

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Шахматово, 8 августа 1907 г.:*

Милостивый Государь Борис Николаевич,

Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетни-ческие намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клевеща на меня, заявляете, что все

время «следили за мной издали», – и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете «страдаете» и никто, кроме Вас, не умеет страдать, – все это в достаточной степени надоело мне.

Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, Милостивый Государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве, я склонен приписывать Ваше поведение – или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня Вами (о чем я писал Вам подробно в письме, отправленном *до* получения Вашего), или особого рода душевной болезни.

Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши нападки на меня, я предоставляю Вам *десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо,* для того чтобы Вы – или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите, – или прислали мне Вашего секунданта. Если *до 18 августа* Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры.

Александр Александрович Блок. *Из письма Е. П. Иванову. Царское Село, 9 августа 1907 г.:*

Милый друг мой Женя.

Пишу тебе по совершенно особенному случаю. Дело касается развития наших отношений с Андреем Белым.

Ты знаешь, как он отзывался в последнее время обо мне в «Весах». Недавно приезжавший ко мне секретарь «Золотого руна» – сообщил о его состоянии, крайне изнервленном, и отказался повторить те выражения, которые он употреблял в разговоре с ним обо всех «петербургских литераторах», и обо мне, вероятно, в том числе. Судя по всему этому и помня наши прежние отношения с ним, я решил, что он совершенно забыл меня или же никогда не знал; кроме того, сплетни оказали большое действие. В этом духе я написал ему очень определенное письмо, прося его *точно указать пункты нашего с ним разногласия* и указав очень резко, что *я не имею ничего общего* с теориями «мистического анархизма», «соборного индивидуализма» и «мистического реализма», на которые он в последнее время так усиленно нападает. С тою же почтой я получил от него письмо, разошедшееся с моим; в этом письме, называя меня «милостивым государем», он сообщает, что ему стало легко, когда он понял, что я не имею никакой цены; понял же он это окончательно с тех пор, как прочел мою статью о «реалистах» (тебе известную), которую

он называет *«прошением»*; что поздоровается со мной, если я первый подам ему руку, когда встретимся («от чего боже сохрани»). Письмо написано в форме необыкновенно решительной и грубой. Вывод из него самый точный: он называет меня подлецом.

На это я написал ему (и посылаю вместе с этим письмом тебе), что его выслеживанье, приставанье и ругательства мне надоели; что оскорбляться на это я не думаю, так как не оскорбляюсь «ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности»; что, не желая считать его ни шпионом, ни лакеем, приписываю его поведение или незнанию меня, или какой-то особого рода душевной болезни; что даю ему срок *до 18 августа,* чтобы он или взял свои слова обратно, или прислал ко мне своего секунданта; что, если он не исполнит ни того ни другого, я сам приму «соответствующие меры».

Ровно год тому назад, как ты помнишь, он вызывал меня на дуэль. Теперь нарочно описываю тебе все это, чтобы ты мог судить; если опускаю какие-нибудь подробности, то расскажу при свидании. – Теперь думаю, что *иначе* поступить совершенно не могу; для меня ясно, что *если он не сумасшедший,* то дуэль неизбежна; для меня совершенно ясно, что действовать нужно решительно: если он сумасшедший, то его бесконечно жалко, и я готов более чем примириться с ним; если же нет, – то необходимо прекратить его поведение, а для этого единственный теперь выход – дуэль. Думаю так, передумав очень много и взвесив все; может быть, есть кое-что, чего ты не знаешь; тогда расскажу.

Таким образом, мне почти наверно будет нужен секундант. Пишу тебе прямо, что иного, кроме тебя, я не хотел бы; тебя я люблю и верю тебе глубоко; сверх того, ты знаешь все сложные и интимные обстоятельства всяких связанных с этим отношений за несколько лет.

Андрей Белый:

Я задумался над письмом своим; да, я нашел его резким, несправедливым; друзья тут вмешались, заставили меня написать объяснительное письмо Блоку; поводов к дуэли, действительных, не было; в-третьих же: я дал слово, что никогда между нами не будет «дуэли»; и слово нарушить не мог.

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

14 августа. ‹1907› Шахматово. Дуэли не будет, Ан. Белый «охотно берет свои слова назад» и не желает дуэли. Прислал ворохи «декадентских ведомостей», как я называю его послания.

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Шахматово, 15–17 августа 1907 г.:*

Милостивый Государь Борис Николаевич.

Ваши два письма получил. Вопрос о дуэли, конечно, отпадает. Так же, как Вы берете назад слова о прошении, так и я беру назад «словечки» о шпионстве и лакействе, вызванные озлоблением.

Ваши письма заставляют меня опять писать Вам. Вы ставите вопросы о наших личных и литературных отношениях так, что я чувствую потребность ответить со всей искренностью, какую могу выразить на словах. ‹…›

«Мы друг другу чужды», говорите Вы. Поставьте вопрос иначе: решаетесь ли Вы верить лирику, каков я, т. е. в худшем случае – слепому, с миросозерцанием неустановившимся, тому, который чаще говорит *нет,* чем *да.* Примите во внимание, что речь идет обо *мне, никогда не изменявшемся по существу.* В таком случае, если и Вы – неизменны, – нет причин *не верить* теперь, *или* не было причины *верить* тогда. Если же Вы изменились, то есть, быть может, причины не верить теперь. Я же полагаю, что тот сильнейший перелом, который Вы переживаете теперь, *не изменяет Вас по существу*; Вы – все тот же, каким я Вас знал, и теперь, когда я знаю о Вас по журналам и от третьих лиц. Переживаю перелом и я, но меня, уже я наверно знаю, он не меняет по существу. Если же все это так, то признайтесь: *надоело* Вам считаться с такою зыблемой, лирической душой, как моя. И я допускаю, что Вы правы – перед Вашим делом, что *во мне есть то,* из-за чего людей «покидают друзья», становящиеся на путь более твердый в *идейном* смысле.

Я допускаю, что нам надо разойтись, т. е. *не сходиться так,* как сходились мы до сих пор. Но думаю, что и в расхождении надо сохранить друг о друге то знание, которое дали нам опыт и жизнь. Я *храню* его сквозь все сплетни, сомнения, недоумения, озлобления, забвения. Считаюсь с Вами всегда. Вы, *я допускаю*, в положении более трудном: труднее хранить верное воспоминание о душе более зыблемой и неверной, чем Ваша. НО тут я и спрашиваю Вас, «как на духу», по Вашему выражению: уверены ли Вы, что Вы – *вернее* меня? Я утверждаю, что через всю мою неверность, предательства, падения, сомнения, ошибки – *я верен.* Предоставляю Вам сказать, что все, что пишу, – слова, слова, слова. Но, *право*, я бы не писал, если бы это были слова, писать мне трудно, и для слов я не писал бы. В основании моей души лежит *не Балаганчик, клянусь.*

Андрей Белый:

Письмо Блока ко мне (оно – первое после месяцев совершеннейшего молчания) было началом действительных «мирных» переговоров, окончившихся письмом Блока ко мне; в нем меня извещал он, что едет для личного объяснения со мною: оканчивался год положенного между нами молчания. Встретиться были должны мы: мы – встретились. ‹…›

Помню, что в день приезда А. А. – волновался ужасно; поднимались все эти года, столь изменные; и – казалось, что с 1901 года – пережито столетие. Возвращаясь в этот день по Арбату (домой), я увидел пролетку и в ней А. А. – в белом; и в белой своей панамá; мне подумалось: да; таким его видел я раз в Петербурге, на Караванной, когда, как казалось мне, он не заметил меня; в той же белой он был *панамá*; и такой же, – весь бледный. Пересекал он Арбат, по направлению к Новинскому, где помещалась редакция *«Золотого Руна»*. Было пять часов дня. В семь он должен был быть у меня.

С нетерпением ожидал я его. ‹…› В семь, ровно, раздался звонок; я – пошел отворять: это был А. А. Блок. Но как я удивился: он был в своем темном пальто, в темной шляпе своей, в черном, гладком своем пиджаке, – не такой, каким видел его на Арбате; и главное: тот, кого видел, был мертвенно бледен: этот, передо мною стоящий А. А., – был совсем загорелый; и – скорее розовый (вовсе не бледный); так – стало быть: образ А. А. мне почудился на Арбате; потом, в *этот* же вечер, я спрашивал у А. А., был ли он – на Арбате; он – был: но не в эти часы, когда видел его. Так, горячее желание видеть А. А. мне – подставило его образ. ‹…›

А. А. в кабинете моем мне казался большим; и – каким-то совсем неуклюжим; локтями склоняясь на стол и расставивши ноги, он взял в руки пепельницу, и, крутя ее, высказал что-то шутливое: *«юморист»* в нем проснулся; но – *«юморист»* от смущения; точно видом своим выразил он:

– Подите вот, – дошли до дуэли: совсем по-серьезному…

И этою *«юмористической»* нотой подхода к событиям, бывшим меж нами, он мне облегчал разговор.

Но начинать, как всегда, не хотел; ждал моих слов с терпеливой серьезною тихостью, ясно вперяясь в меня, чтобы я приступил к разговору; а я, как всегда, подступить не мог прямо, а начал издалека, распространяясь на тему о трудности говорить и ощущать одновременную радость, что вижу А. А., что такой же он, как и прежде, что ощущаю по-прежнему близость к нему, будто не было между нами труднейшего года и будто не были мы разделены обостренной полемикой; начал – туманно:

– Да, да, – подтвердил А. А., – в сущности это все *не о том,* потому что слова, да и все объяснения – пустяки: если *главное*

занавесится, то и все объяснения не помогут, а если *главное* есть, все – понятно…

Подлинных слов я не помню, но смысл был – такой. И я понял опять-таки: объяснения с ним – только внешняя форма для отыскания улыбки доверия; *«главное»,* т. е. вера друг в друга, друг к другу, проснулась в передней еще; все, что часами теперь обсуждали, естественно протекало под знаком доверия.

Этого разговора, опять-таки, привести не могу; лишь запомнились внешние вехи его; объяснил я А. А. состоянье сознания моего, меня медленно убеждавшего в том, что в поступках А. А. есть нечеткость, проистекающая от молчания. И А. А. постарался с терпением мне доказать, что в *«молчаньи»* его вовсе не было возмущающей меня затаенности; он считал: основная ошибка былого есть спутанность отношений, где отношения личные наши естественно спутались с отношеньями близких и стали синонимом какого-то *коллектива*; так то, что возникло между нами в сложившемся коллективе, не возникало в А. А.; я старался поставить знак равенства меж, так сказать, социальными отношениями близкой группы людей и личными отношениями нашими; возникавшую между всеми нами невнятицу он старался отчетливо отделить от своих отношений ко мне; но он видел: я не приемлю такой изоляции отношений; так его нежелание говорить вытекало из сознания моей неготовности понимать:

– А когда есть невнятица в главном, то разговор без доверия друг ко другу бессмысленен!

‹…› Разбор накопившихся недомолвок был легкий и освещенный улыбкой его, такой доброй и мягкой; и главное – мужеством: вскрыть тайное между нами; я видел решенье А. А.: переступить через косность молчания, выявить правду его и мою в нашей длительной распре: понять объективно меня; и – заставить меня понимать его действия; я же с своей стороны постарался ему показать и себя. ‹…› Наконец, мы решили, что в будущем, что бы ни было между нами, друг другу мы будем отчетливо верить; и – отделять наши личные отношения от полемики, литературы, от отношений к Л. Д., к С. М., к Александре Андреевне и т. д. В этом решении чувствовалась действительная готовность друг друга понять: я считаю, что с этого мига впервые мы повернулись друг к другу – вплотную: поверили основному друг в друге. До этого времени стиль отношений меж нами – душевный; теперь мы ощупывали друг в друге как бы духовный рычаг, обуславливающий нашу дружбу; и мы протянули друг другу теперь наши руки, сказали себе, что во многом еще не улегшемся между нами, мы будем друг в друге

взывать только *«к духу»*; и верить взаимному уважению друг к другу.

Потом перешли мы к полемике; я постарался подробнейшим образом выяснить все мои объективные основания для одобрения литературной программы «*Весов*» ‹…›.

В этом длительном разговоре опять незаметно мы перешли на *«ты»:* на *«Боря»* и *«Саша»*.

Уже было 11 часов ночи, когда моя мама, все ждавшая окончания разговора, нас вызвала к чаю. Мне помнится: было очень уютно втроем; моя мама, любившая Блока, с довольством и радостью наблюдала нас; видела, что мы теперь помирились (она огорчалась всегда расхождением с Блоком); А. А. был уютный; касаясь того иль иного, – юморизовал он; я – смеялся; и чайный стол мне казался уютен и легок; и было странно мне видеть А. А., о котором за этот ряд месяцев во мне столько наросло; и вот – все, что стояло меж нами – рассеялось.

После чая опять перешли ко мне; говорили уже не о трудном: о легком; впервые я понял, что устремленье к народу в А. А. проистекает из утлубленнейшего итога работы его моральной фантазии, что переоценка писателей *«Знания»* им в *«Руне»* есть продукт увлечения; понял: разуверенье в «заре» не есть крах, а исканье *«пути»,* что оно – неизбежно; А. А. мне высказывал мысли, которым созвучье нашел в замечательном докладе о символизме, написанном через несколько лет уже. ‹…›

Я не помню слов, которыми мы обменялись с А. А. в эту ночь; но я понял одно: мир *лиловый,* который так меня напугал в нем когда-то, – рассеялся в нем: были сознаны *«Незнакомка»* и *«Балаганчик»*; что происходило в нем, как явление кощунства, оскорбление святыни, теперь оказалося испытанием пути. Разговор с А. А., ясно раскрывший его углубление в тему России, вернул мне А. А.; сквозь лиловые тени, одевшие мраком лицо его, выступил прежний, исканьем оветренный, розовый отблеск; и внешнее что-то в нем перекликалось с былым; отпустил себе волосы он (в 1906 году был он стриженный); и глаза голубели отчетливым строгим решением; был для меня прежним Блоком в ту ночь: милым братом; и – не прежним; в нем явственно подчеркнулись: закаленность и мужество; и в отношениях наших наметилась новая нота: доверия. Говорили мы в эти ночные часы очень мало; и больше молчали; и переваливало к исходу четвертого часа; а поезд его уходил только в семь. Я пошел провожать по светавшей Москве его; около Николаевского вокзала сидели мы в чайной с извозчиками; говорили теперь о простом, о домашнем; я чувствовал: А. А. радуется примирению.

Медленно разгуливали по перрону вокзала; и дожидался

поезда. Перед поездом доверчиво протянули мы руки друг другу:

– Так будем же верить…

– И отделять все наносное, что возникает, от основного…

– И не позволим мы людям, кто б ни были люди, стоять между нами…

Так мы, обменявшись *паролем,* простилися. Тронулся поезд.

Я шел по Москве, улыбаясь и радуясь: показались прохожие: просыпалась Москва.

Так закончился этот двенадцатичасовой разговор.

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Петербург, 23 сентября 1907 г.:*

Милый и дорогой Боря. ‹…›

Внимательно и тихо слежу за всеми Твоими словами. Никогда не упускаю Тебя из виду. Слышу, как Ты мучаешься в Москве. И чувствую Твою мнительность (и по отношению ко мне также), потому что для меня она имеет значение бесконечно больше, чем литературное. Жду Тебя здесь с нетерпением, как только приедешь, дай мне знать. Пока же говорю Тебе, что я не забываю Вечности даже среди «темных душ современников». Многое трудно мне, может быть я до сих пор кое в чем срываюсь. Но все глубоко серьезно в жизни моей и в жизни близких мне, и все так трудно, что нет больше места, куда бы ворвались плясать и паясничать скоморошьи хари. Очень странно, иногда дико, но всегда значительно слагаются события моей жизни. И на то, что могут думать и говорить обо мне знающие меня поверхностно, я совсем махнул рукой – до полного игнорирования их, несоблюдения «приличий» и т. д.

«Горение» мое, должно быть, иное, чем Твое, но оно – горение. До тления, на границе которого я прошел в прошлом году (что Ты почувствовал болью сердца), я не допущу себя. Оно далеко от меня теперь – и соответственно отошли от меня люди, которых я могу подозревать в поддержании тления.

Я редко тоскую и унываю, чаще – бодр. Передо мною плывет новое, здоровое, надеюсь, сильное. *Как человек* с желанием здоровья и простоты, я и пишу или стараюсь писать. Например, «О лирике»: я верю в справедливость исходной точки: я знаю, что в лирике есть опасность *тления,* и гоню ее. Я бью *сам себя,* таков по преимуществу смысл моих статей, независимо от литературных оценок, с которыми можно не соглашаться сколько угодно (да я и сам признаю неправильность кое в чем). Бичуя себя за лирические яды, которые и мне грозят разложением, я стараюсь предупреждать и других. Но, ценя высоко лирический *лад* души, который должен побеждать

лирическую распущенность, я не люблю, когда стараются уладить всё средствами, посторонними лирике, хотя бы – «градом, обещанным религиями». ‹…›

Ты можешь счесть то, о чем я говорю, смешением понятий. Можешь сказать, что «не весна виновата», что «лирика» самое по себе так же безразлична, как весна. Но я говорю о лирике как о стихии собственной души, пусть «субъективно». Будут несколько людей, которые почувствуют истинное в этом и, может быть, воздержатся от того, от чего не воздержались бы иначе хотя бы по тому одному, что против лирики говорит лирик. Я не определяю подробностей пути, мне это не дано. Но я указываю только устремление, которое и Ты признаешь: из болота – в жизнь, из лирики – к трагедии. Иначе – ржавчина болот и лирики переест стройные колонны и мрамор жизни и трагедии, зальет ржавой волной их огни.

Напиши мне пока несколько слов, а потом приезжай, я буду глубоко рад увидеть Тебя.

Любящий Тебя *Саша.*

Андрей Белый:

А. А. был в вихре своих увлечений и, видя контры мои с Л. Д., мягко старался стоять в стороне он; мы с ним дружили издалека; но более, чем когда-либо, расходились в путях. А с Л. Д. я имел очень крупное объяснение, после которого решил ликвидировать все с Петербургом. Я скоро наездом там был (был два раза): читал свои лекции; и уезжал очень быстро в Москву. Мы с А. А. находилися в дружеской переписке; но мы чувствовали, что говорить и видаться – не стоит. И уже понимал, что отдалилися друг от друга без ссоры мы; медленно замирало общение наше, чтобы возобновиться лишь через несколько лет; наступала страннейшая мертвая полоса отношений (ни свет и ни тьма, ни конкретных общений, ни явного расхождения)…

Письма писали друг другу мы редко; и, наконец, – перестали писать.

1909. Несостоявшееся отцовство

Зинаида Николаевна Гиппиус:

А вот полоса, когда я помню Блока простого, человечного, с небывало-светлым лицом. Вообще – не помню его улыбки. Если и была – то скользящая, незаметная. А в этот период помню именно улыбку, озабоченную и нежную. И голос точно другой, теплее.

Это было, когда он ждал своего ребенка, а больше всего – в первые дни после его рождения.

Случилось, и довольно неожиданно (ведь мы реальной жизнью мало были связаны), что в эти серьезные для Блока дни мы его постоянно видели, он все время приходил. Не знаю, кто о жене его заботился, и были ли там чьи-нибудь понимающие заботы (говорил кто-то после, что не было). Мы едва мельком слышали, что она ожидает ребенка. Раз Блок пришел и рассказал, что ей вдруг стало дурно и он отвез ее в лечебницу. «И что же?» – спрашиваем. «Ничего, ей теперь лучше».

День за день, – наступили необыкновенно трудные роды. Почему-то я помню ночные телефоны Блока из лечебницы. Наконец, однажды, поздно, известие: родился мальчик.

Почти все последующие дни Блок сидел у нас вот с этим светлым лицом, с улыбкой. Ребенок был слаб, отравлен, но Блок не верил, что он умрет: «Он такой большой». Выбрал имя ему Дмитрий, в честь Менделеева.

У нас в столовой, за чаем, Блок молчит, смотрит не по-своему, светло – и рассеянно.

– О чем вы думаете?

– Да вот… Как его теперь… Митьку… воспитывать?..

Мария Андреевна Бекетова. *Из дневника:*

3 февраля ‹1909›. Петербург. У Любы родился мальчик (как я и думала вопреки Але и пр.). Родился вчера, 2-го февраля, утром. Роды были очень трудные и долгие. Очень страдала и не могла. Наконец, ей помогли. Он слабый, испорчен щипцами и главное долгими родами. Мать очень удручена. Аля тоже (давно приехала, живет в меблир‹ованной› комнате, в Демидовом переулке). Очень боюсь, что мальчик умрет. Очень печально. Меня последнее время чуждаются. Что-то будет? Нехорошо.

У Саши много неудач, но работа и деньги есть… Нехорошая у нас полоса. И у Блоков с Алей, и у меня. Как-то у них разрешится?

6 февраля. Петербург. Были хорошие часы, теперь опять

плохо. У Любы родильная горячка, молоко пропало, ребеночек слабый. За Любу страшно. Смотря сегодня на бледное ее личико с золотыми волосами, передумала многое. Саша ухаживает за ней и крошкой. Франц здесь, нехорошо с Кублицкими.

8 февраля. Петербург. Ребеночек умирает. Заражение крови. Люба сильно больна. Будто бы не опасно, но жар свыше 39° и уже третий день. Я ее больше не вижу. Уныло, мрачно, печально.

9 февраля. Петербург. Все то же. Ребеночек еще жив, Люба лежит в жару и в дремоте.

«Очень он удручен?» – спросила Софа. «Это ему не свойственно, как и мне», – сказала Аля. «Ну, не скажу», – отвечала Софа. Да, в серьезных случаях он не капризничает и не киснет, она тоже не киснет, не склонна падать духом. Оба склонны ненавидеть в такие годины все, что не они.

10 февраля. Петербург. Ребенок умер сегодня в 3 часа дня. ‹…› Любе лучше. Я поехала сейчас же к Саше. Он пришел при мне; через минуту, узнав, полетел в больницу. На лестнице Ваня, в воротах Аля – прямо от Софы. Поговорила она со мной и тоже поехала. Дождалась его и ее и оставила их за обедом. Он как будто успокоился этой смертью, м. б. хорошо, что умер этот непрошеный крошка… Люба, по-видимому, успокоилась.

11 февраля. Петербург. Сегодня мне ужасно жаль маленького крошку. Многие говорят, что в смерти его виноваты доктора. Пусть так. М. б., и лучше, что он умер, но в сердце безмерная грусть и слезы. Мне жаль его потому, что Любе его мало жаль. Неужели она встряхнется, как кошка, и пойдет дальше по-старому? Аля боится этого. И я начинаю бояться.

Зинаида Николаевна Гиппиус:

Блок подробно, прилежно рассказывал, объяснял, почему он не мог жить, должен был умереть. Просто очень рассказывал, но лицо у него было растерянное, не верящее, потемневшее сразу, испуганно-изумленное.

Еще пришел несколько раз, потом пропал.

Георгий Петрович Блок:

В жизни Блока это был период наибольшей его замкнутости. На нем лежало клеймо одиночества.

Он много пил в это время, но на его внешности это никак не сказывалось.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Ранней весною 1909 года встретился он мне на Невском проспекте с потемневшим взором, с неуловимою судорогою

в чертах прекрасного, гордого лица и в коротком разговоре сообщил о рождении и смерти сына, и чуть заметная пена появлялась и исчезала в уголках губ.

Александр Александрович Блок. *Из письма Г. И. Чулкову. Петербург, апрель 1909 г.:*

Никогда еще не переживал я такой темной полосы, как в последний месяц – убийственного опустошения. Теперь, кажется, полегчало, и мы уедем, надеюсь, скоро – в Италию. Оба мы разладились почти одинаково. И страшно опостылели люди. Пил я мрачно один, но не так уж много, чтобы допиться до крайнего свинства: скучно пил.

«Кармен». Любовь Александровна Андреева-Дельмас

Мария Андреевна Бекетова:

Сезон 1913–14 года ознаменовался новой встречей и увлечением. Осенью Ал. Ал. собрался в Музыкальную драму, которая помещалась тогда в театре Консерватории. Его привлекала «Кармен». Он уже видел эту оперу в исполнении Марии Гай, которое ему очень понравилось, но особенно сильного впечатления он тогда не вынес. В Музыкальной драме он увидел в роли Кармен известную артистку Любовь Александровну Дельмас и был сразу охвачен стихийным обаянием ее исполнения и соответствием всего ее облика с типом обольстительной и неукротимой испанской цыганки. Этот тип был всегда ему близок. Теперь он нашел его полное воплощение в огненно-страстной игре, обаятельном облике и увлекательном пенье Дельмас.

Ты, как отзвук забытого гимна
В моей черной и дикой судьбе.
О, Кармен, мне печально и дивно,
Что приснился мне сон о тебе.
……
В том раю тишина бездыханна,
Только в куще сплетенных ветвей
Дивный голос твой, низкий и странный,
Славит бурю цыганских страстей.

Александр Александрович много раз слышал «Кармен» в том же пленительном исполнении.

Анна Андреевна Ахматова:

В одно из последних воскресений 1913 года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой – Блок». А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «„Красота страшна“ – Вам скажут…». У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро.

Александр Александрович Блок. *Из записной книжки 1913–1914 гг.:*

14 февраля. «Кармен» – с мамой. К счастью моему, Давыдова заболела, и пела Андреева-Дельмас – мое счастие.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. А. Андреевой-Дельмас. 14 февраля 1914 г.:*

Я смотрю на Вас в «Кармен» третий раз, и волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюбляюсь в Вас, едва Вы появитесь на сцене. Не влюбиться в Вас, смотря на Вашу голову, на Ваше лицо, на Ваш стан, – невозможно. Я думаю, что мог бы с Вами познакомиться, думаю, что Вы позволили бы мне смотреть на Вас, что Вы знаете, может быть, мое имя. Я – не мальчик, я знаю эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем существе и которой нет никакого исхода. Думаю, что Вы очень знаете это, раз Вы так знаете Кармен (никогда ни в чем другом, да и вообще – до этого «сезона», я Вас не видел). Ну, и я покупаю Ваши карточки, совершенно непохожие на Вас, как гимназист и больше ничего, все остальное как-то давно уже совершается в «других планах» (дурацкое выражение, к тому же Вы, вероятно, «позитивистка», как все настоящие женщины, и думаете, что я мелю вздор), и Вы (однако продолжаю) об этом знаете тоже «в других планах», по крайней мере когда я на Вас смотрю, Ваше самочувствие на сцене несколько иное, чем когда меня нет (думаю все-таки, что все это понятно художникам разных цехов и без теософии; я – не теософ).

Конечно, все это вздор. Кажется, Ваша Кармен – совершенно особенная, очень таинственная. Ясно, что молитва матери и любовь невесты от гибели не спасут. Но я не умею разделить – моя проклятая влюбленность, от которой ноет сердце, мешает, прощайте.

Александр Александрович Блок. *Из записной книжки 1913–1914 гг.:*

2 марта. Я страшно тороплюсь в «Кармен». На афише Давыдова, но я тороплюсь, весь день – тревога. Разбрызгиваю слишком много духов.

Беру 8-й ряд. Вхожу, когда уже началось, увертюра пропущена, уже солдаты на сцене, Хозе еще нет. Рядом оказывается (через даму) председатель общества поэтов. Я жду Кармен (Хозе – тот же, Микаэла – та же). Рядом садится паршивый хам – офицер, громко разговаривающий с дамой. Выходит какая-то коротконогая и рабская подражательница

Андреевой-Дельмас. Нет Кармен.

Антракт. Я спрашиваю у пожилой барышни (по-видимому, главной) правого прохода, будет ли еще Андреева-Дельмас. – «Нет, она больше не служит. Да она здесь в театре, сейчас со мной говорила».

Я курю и ищу среди лиц. Нет. Я спрашиваю барышню: «Вы мне покажете Андрееву-Дельмас?» Она мило идет, показывает в партер и говорит: «Вот сейчас смотрит сюда, рыженькая, некрасивая».

Я иду ближайшим проходом. Встречаю суровый взгляд недовольных, усталых, заплывших глаз. Прохожу на свое место (далеко). Не сидится. Я перехожу назад, в темноте, близко от нее, сажусь. Начинаются танцы, сегидилья.

Я смотрю налево. Чуткость скоро дает себя знать. Она оглядывается все чаще. Я страшно волнуюсь.

Антракт. Я прохожу мимо. Она уходит и стоит с актером около входа за кулисы. Может быть, спрашивает, кто такой, когда я нарочно и неловко прохожу мимо.

Антракт кончается, я сажусь. Ее нет. За занавесом ужо голубая ночь (в горах). Она проскальзывает тихо и садится на свое место. Все чаще смотрит в мою сторону. Я вне себя, почти ничего не слушаю. Иногда явственно овал ее лица в темноте обращен ко мне. Перед занавесом, еще в темноте, я прохожу мимо. Она бросает взгляд, быстро отворачивается, когда я прохожу к выходу, – и точно ждала, что я подойду.

В антракте я вижу опять издали, что она стоит с кем-то у входа за кулисы. Сергей Штейн; m-me Ростовцева подходит. Разговор: «…Разве Андреева-Дельмас лучше? Я ее много раз видела. Она замужем за Андреевым (баритоном). Она прежде пела в оперетке… Миленькая (?)». (Я начинаю путаться.)

Свет гасят, вступление к 4-му акту, я жду. Уже толпа, уже торреадор. Ее нет. Я решаю ждать Хозе. Вот и Хозе, ее нет, на сцене, бездарно подражая ей, томится Давыдова. Я ухожу.

Внизу у вешалок – мой служитель: «Да вот она там всегда раздевается, спросите у того». – Спрашиваю в глубине: «Высокая, светлые волосы, – да сейчас ушли» (полячишка).

Выхожу – мокрая метель. Иду по Торговой, боюсь и надеюсь догнать. Дворник огромного углового дома (Екатерининский канал и Мастерская) – пьяный. – «Здесь, с черного хода». – «А другого нет?» – «Нет». – «Да вы уверены?» – «Да». – «Она живет одна, или с мужем?» – «Да, одна». – «Она сейчас вернулась?» – «Да, кажется. Да». – «Так в ворота?» – «Да». Отхожу. – «Что ж, так и уйдете, не зайдете к ней?» – «Нет, мне надо только узнать».

С набережной – швейцариха. – «Нет, кажется, войти

в подъезде рядом». Окончательно теряюсь.

Проходит веселая компания.

Возвращаюсь домой, сбитый с пути.

Так как она – женщина, в ней бездны, которые чувствуют меня. У нее сейчас мелькает мысль обо мне (она спит, верно). Слабое утешение. О, как блаженно и глупо – давно не было ничего подобного. Ничего не понимаю. Будет еще что-то, так не кончится.

Милая, она была простужена – сморкалась, чихала и кашляла. Как это было прекрасно, даже это.

Где же и когда я еще ее встречу? Я ленив, труслив и слаб. Но есть же во мне все-таки интересность какая-нибудь – более, чем опереточная, чем вообще актерская.

Что дальше будет?

4 марта. Дождь. Либретто на Морской, в музыкальном магазине. – «Есть у вас карточки Андреевой-Дельмас?» – «Нет. Она сама только что была у нас, покупала ноты». На секунду теряюсь.

5 марта. В фотографии императорских театров. – «Все вышли, но она будет на четвертой неделе опять сниматься – в «Кармен» и так. Была – головка в простом платьи. Теперь у нее грим хороший. Позвоните, мы вам скажем, когда будут готовы». – Мокрая метель. ‹…›

11 марта. В фотографии императорских театров телефонный аппарат испорчен. Пишу ей письмо с просьбой сняться. Написав, опять звоню в фотографию императорских театров. Отвечают: «Кто спрашивает?» – «Частное лицо». – «Не знаю, у нас не записано, в книжке нет, может быть, она на словах передавала».

Звоню на музыкальные курсы Волковой-Бонч-Бруевич. – «Артистка Андреева-Дельмас преподает у вас?» – «Нет, больше не преподает». – «А она в Петербурге?» – «Не могу сказать». – «Почему она не преподает?» – «Это уж я не знаю почему».

Письмо я подписал: «Ваш поклонник».

Прошу Женю позвонить по известному мне номеру. Ему отвечают со станции, ругая его, что такого номера нет, переиначивают (кажется, я напутал) и потом уже отвечают с места, что никакой Любови Александровны здесь нет.

Я звоню в ворота. Дворник: «Это вы звонили?» – «Здесь живет Андреева-Дельмас?» – «Да, к ним парадный ход с Офицерской (квартира № 9). Да вот их прислуга идет». – «Барыня в Петербурге?» – «Да, только уехала на концерты в Чернигов, со дня на день должна вернуться. Вам что передать?» – «Ничего, спасибо». Она остается, удивленная.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. А. Андреевой-Дельмас. 11 марта 1914 г.:*

Прошу Вас, снимитесь, наконец, в роли Кармен и без грима. Все Ваши карточки, во-первых, непохожи, во-вторых – распроданы: их нет не только в больших магазинах, но и в маленьких, где обыкновенно остаются случайные.

Без грима Вам нужно сняться в рабочем репетиционном платье с черным нагрудником. В Кармен – в нескольких поворотах в I акте; первые слова («Когда я полюблю…»); хабанера (несколько движений); когда Кармен бросает цветок; когда Кармен уходит (взгляд на Хозе); слова: «А мне что-то кажется, что приказа ты не исполнишь…»; начало песни «Там у моста за рекою» (на тачке); несколько поз около Хозе; Кармен, гадающая по руке Цуниги («…жизнью заплатишь ты…», взгляд на Хозе; впрочем, Вы не каждый раз на него взглядываете).

II акт: сегидилья (сидя на стуле и хлопая в такт пляске); слова: «…и эту тайну расскажу… я влюбилась…»; Кармен, слушающая Хозе (его слова: «помнишь, в день первой нашей встречи…»), Кармен, танцующая для Хозе.

III акт: разве бросание карт («Бубны!.. Пики!..») и когда Кармен прогоняет Хозе (не помню точно слов; смысл: «Оставь нас, гордый человек…»). В последнем движении (на скале) есть легкий налет модернизма, от Вас можно ждать большего. – Вообще III акт – наименее: невыгодный свет и платье.

IV акт: ожидание Эскамильо (у стены аптеки); какая-нибудь поза из разговора с Хозе – в последний раз Кармен во всем великолепии, чтобы чувствовалась путаница кружев, золотистость платья, веер и каблуки; смерть: спиной, кошачье сползание по столбу (не знаю, может ли выйти на фотографии); во всяком случае – сидя у столба (зубы видны и улыбка).

Ваш поклонник

Александр Александрович Блок. *Из записной книжки 1913–1914 гг.:*

13 марта. Я передаю швейцару письмо с просьбой сняться. Швейцар, получивший на чай, сказал, что Любовь Александровна приехала сегодня утром.

14 марта. Я позвонил по телефону. Тихий, усталый, деловой и прекрасный женский голос ответил: «Алло».

18 марта. Опять мокрый снег. Да, я напишу цикл стихов и буду просить принять от меня посвящение.

Звоню в фотографию императорских театров. Там барышня, которая говорила со мной, заболела. – «Она не снималась

на четвертой неделе».

22 марта. Вчера днем я встретил ее. Она рассматривала афишу на Офицерской, около мамы, не поднимая глаз. Когда она пошла, я долго смотрел ей вслед.

Сегодня после дня волнений в «Сирине». Вечером иду, волнуясь, в «Парсифаля». В первом антракте говорю с Н. А. Малько. Спрашиваю его, знает ли он ее. Он знаком. – «Если хотите, я вас познакомлю». Второй антракт мы опять говорим с ним. Я сажусь, уже занавес поднят (старец и Кундри у молодого деревца). Он проходит мимо меня в первый ряд, трогает меня за плечо и говорит мне на ухо: «Андреева-Дельмас хотела с вами познакомиться». Я почти перестаю слушать, верчусь. Через несколько минут нахожу ее глазами – она сидит сзади и правее меня. Во время перерыва (залу не освещают) она выходит, и я вижу, узнаю со спины это все чувствующее движение бесконечно дорогих уже мне плеч. Я досиживаю, думаю: ушла. Конец, я выбегаю, она сидит у лестницы с кем-то (актером?). Я пробегаю мимо, одеваюсь, выхожу, тороплюсь по Офицерской. Встреча с Вас. Гиппиусом, который, по-видимому, замечает во мне неладное. Хожу против ее подъезда. Подъезжает автомобиль, выходят мужчина с дамой. Нет, еще буду ждать. Идут двое, а сзади них – одна. Подходя к подъезду, я вижу, что она хочет обогнать переднюю пару и пройти скорее. Да, и оглядывается в мою сторону. Вся – чуткость. Швейцар бежит поднимать лифт. Через минуту на мгновение загорается, потом гаснет первое окно – самое верхнее и самое крайнее (5-й этаж). Я стою у стены дураком, смотря вверх. Окна опять слепые. Я дома – в восторге. Я боюсь знакомиться с ней. Но так не кончится, еще что-то будет.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. А. Андреевой-Дельмас. 22 марта 1914 г.:*

Простите мне мою дерзость и навязчивость. – В этих книгах собраны мои старые стихи, позвольте мне поднести их Вам. Если Вы позволите посвятить Вам эти новые стихи, Вы доставите мне величайшую честь. Мне жаль, что я должен просить Вас принять мое бедное посвящение, но я решаюсь просить Вас об этом только потому, что, как ни бедны мои стихи, я выражаю в них лучшее, что могу выразить.

Я боюсь быть представленным Вам, так как не сумею сказать Вам ничего, что могло бы быть интересным для Вас. Если когда-нибудь в театре мне представится случай поцеловать Вашу руку, я буду счастлив. Но мысль об этом слишком волнует меня.

Александр Александрович Блок. *Из записной книжки 1913–1914 гг.:*

26 марта. Ужасный вечер. Она приходит в первом антракте «Богемы». С ней – легион. В третьем антракте она ждет, что я подойду. Я пропускаю минуту (барон Унгерн). Она уходит. Полтора часа жду на улице – напрасно.

Мария Андреевна Бекетова:

В марте произошло его первое знакомство с Л. А. Дельмас в театре Музыкальной драмы. И в жизни артистка не обманула предчувствий поэта. В ней нашел он ту стихийную страстность, которая влекла его со сцены. Образ ее, неразрывно связанный с обликом Кармен, отразился в цикле стихов, посвященных ей. Да, велика притягательная сила этой женщины. Прекрасны линии ее высокого, гибкого стана, пышно золотое руно ее рыжих волос, обаятельно неправильное, переменчивое лицо, неотразимо влекущее кокетство. И при этом талант, огненный артистический темперамент и голос, так глубоко звучащий на низких нотах. В этом пленительном облике нет ничего мрачного или тяжелого. Напротив – весь он солнечный, легкий, праздничный. От него веет душевным и телесным здоровьем и бесконечной жизненностью. Соскучиться с этой Кармен так же трудно, как с той, настоящей из новеллы Мериме, на которую написал Бизе свою неувядаемую оперу. Это увлечение, отливы и приливы которого можно проследить в стихах Блока не только цикла «Кармен», но и цикла «Арфы и скрипки», длилось несколько лет. Отношения между поэтом и Кармен были самые лучшие до конца его дней.

Елена Михайловна Тагер *(1895–1964), поэт, прозаик, переводчик:*

Она была ослепительна, в лиловом открытом вечернем платье. Как сияли ее мраморные плечи! Какой мягкой рыже-красной бронзой отливали и рдели ее волосы! Как задумчиво смотрел он в ее близкое-близкое лицо! Как доверчиво покоился ее белый локоть на черном рукаве его сюртука!

Александр Александрович Блок. *Из записной книжки 1913–1914 гг.:*

10 июня. Сон о Любови Александровне – страшный и пленительный. ‹…›

В первую ночь по приезде в Шахматово я увидел сон. Огромный город, скорей всего – Париж. Она сказала: «У меня будут гости», и я хожу по улице в ожидании, «когда это

кончится». Ее дом на очень людной улице, и квартира высоко. Если подняться в соответствующий этаж незнакомого дома напротив, то на какой-то площадке лестницы есть *единственное* место, откуда можно заглянуть через улицу в ее квартиру. И я смотрю: столовая во дворе – видна сквозь окно пустой и темной комнаты. Кусок открытой двери – освещена часть стола. Она сидит тихая, напустив свои рыжие волосы на лоб, как делает иногда. В темном. По обеим сторонам два господина в изящных фраках. Один делает движение, будто хочет обнять ее за шею. Она виновато и лениво отстраняется. Все, что я вижу. Надо уходить. Я испытываю особое чувство – громадности города, нашей разделенности и одиночества. Но это уже – то *главное* сна, чего нельзя рассказать.

Война

Зинаида Николаевна Гиппиус:

Война.

Трудно мне из воспоминаний об этих вихревых первых месяцах и годах выделить воспоминание о Блоке. Уж очень сложна стала жизнь. Война встряхнула русскую интеллигенцию, создала новые группировки и новые разделения.

Насколько помню – первое «свидание» наше с Блоком после начала войны – было телефонное. Не хотелось – да и нельзя было говорить по телефону о войне, и разговор скоро оборвался. Но меня удивил возбужденный голос Блока, одна его фраза: «Ведь война – это прежде всего *весело*!»

Зная Блока, трудно было ожидать, что он отнесется к войне отрицательно. Страшило скорее, что он увлечется войной, впадет в тот неумеренный военный жар, в который впали тогда многие из поэтов и писателей. Его «весело» уже смущало…

Однако, скажу сразу, этого с Блоком не случилось. Друга в нем непримиримые, конечно, не нашли. Ведь если на Блока наклеивать ярлык (а все ярлыки от него отставали), то все же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему и подойти было нельзя. Это одно уже заставляло его «принимать» войну. Но от «упоения» войной его спасала «своя» любовь к России, даже не любовь, а какая-то жертвенная в нее влюбленность, беспредельная нежность. Рыцарское обожание… ведь она была для него, в то время, – Она, вечно облик меняющая «Прекрасная Дама»…

Анна Андреевна Ахматова:

А вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 года) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

Клара Соломоновна Арсенева *(Букштейн) (1896–1972), поэт, переводчик:*

В августе того же года я шла по Фонтанке в типографию, где печаталась книга, и вдруг увидела его на углу. Он стоял в черном пальто и мягкой серой шляпе. Он не знал меня в лицо. Робость овладела мною, но так хотелось поговорить с ним, что я вдруг с отчаянной решимостью подошла к нему. Поняв, кто я, он

ласково улыбнулся, спросил о книге, просил прислать ее, когда выйдет. Потом сказал, что сейчас не пишет стихов, потому что – война, и писать не хочется, что нужно быть на фронте и что он собирается ехать туда. Он говорил, что это долг каждого и что в тяжелое для родины время нужно быть не только поэтом, но и гражданином.

Павел Сергеевич Сухотин *(1884–1935), поэт, беллетрист:*

А потом еще встреча и совсем другое: мы в ночном притоне за кособоким столиком, на скатерти которого, по выражению Щедрина, «не то ели яичницу, не то сидело малое дитяти». И перед нами чайник с «запрещенной водкой». Улицы, по которым мы шли сюда, были все в мелком дожде. Продавцы газет на Невском кричали о «фронте», о «больших потерях германцев», о «подвигах казацкого атамана». И все это газетно, неверно, преувеличенно – ради тиража. На улицах холодно, сыро и мрачно. И мы – мрачны.

– Придется мне ехать на войну, – сказал Блок.

– А нельзя ли как-нибудь… – начал я, распытывая его взглядом.

– Об этой подлости и я подумывал, да решил, что не нужно. Ведь вот вы занимаетесь какими-то колесами военного образца, так почему же и мне не надо ехать что-нибудь делать на фронте. А по-моему, писатель должен идти прямо в рядовые, не ради патриотизма, а ради самого себя.

И тут же – глоток водки из грязной чашки.

А рядом навзрыд плакал опьяневший деревенский парень. И Блок его утешал ласково и любовно, а потом, обернувшись ко мне, сказал:

– Вот видите, плачет, а приедет домой и жену станет бить.

Мы расстались. Но как-то, именно в эту встречу, Блок сказал мне:

– А кончится эта страшная кутерьма, и кончится чем-то хорошим.

Нина Николаевна Берберова *(1901–1993), жена В. Ф. Ходасевича, мемуарист:*

Ранней весной 1915 года в Зале Армии и Флота на Литейном состоялся вечер «Поэты – воинам». Это был вечер благотворительный, один из немногих других (как, например, «Артист – солдату»), на которые интеллигенция ходила с увлечением. ‹…›

Блок вышел на сцену прямой и серьезный. Лицо его было несколько красно, светлые глаза, густые волосы, тогда еще

ореолом стоявшие вокруг лица (и светлее лица в свете электричества), были те же, что и на фотографиях. И все-таки он был другой, чем на фотографиях. Какая-то печаль, которую я увидела тогда в его облике, никогда больше не была мной увидена и никогда не была забыта. Фотографии не передали ее, не удержали ее. Что-то траурное было в его лице в тот вечер, и, может быть, теперь, после чтения его дневников, и записных книжек, и писем, можно сказать, что оно, в те годы появившись, уже не ушло никогда из его черт. Он стоял в левом углу эстрады, заложив руки в карманы (не то блузы, не то пиджака). Он читал:

Болотистым, пустынным лугом
Летим. Одни.
Вон, точно карты, полукругом
Расходятся огни.

Эта спайка слов «болотистымпустынн…» и немедленный разрез строки на «Летим. Одни» – вот творческий секрет этой строфы. Как почти всегда у Блока, строфа – единица, где живет либо аккорд, либо арпеджио, где дается неожиданность и ее объяснение (или сначала намек на разрешение, а потом – вопрос-ответ). И тут, в этих стихах, сначала брошено сравнение: огни *точно* карты, и сейчас же в него, как в реальность, мчатся поэт и «дитя». Был ли найден «маяк»? Нет, он не был найден, потому что в бесцельность летели не только те двое, но и весь мир, мир ночи, туманов и духов. И если «дитя» опять вернулось сюда из «Голоса из хора», то «туманы и духи» выползли из «Незнакомки», где, между прочим, намек и вопрос-ответ даны в их наиболее обнаженной силе, когда пейзаж становится портретом (очарованный берег, очи цветут, за вуалью в страусовых перьях в собственном мозгу поэта). Этот «пейзаж-портрет» делает романтизм Блока почти сюрреалистическим, приближая его к нам на сверхъестественно близкое расстояние.

Александр Александрович Блок. *Из письма С. Н. Тутолминой. Петроград, 16 января 1916 г.:*

Вся современная жизнь людей есть холодный ужас, несмотря на отдельные светлые точки, – ужас надолго непоправимый. Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что все хорошо, когда наша родина, может быть, на краю гибели, когда социальный вопрос так обострен во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно.

Всего этого ужаса не исправить отдельным людям, как бы

хороши они ни были; иногда даже эти отдельные светлые точки кажутся кощунственным диссонансом, потому что слишком черна, а в черноте своей величава, окружающая нас ночь. Эта мысль довольно хорошо выражена, между прочим, в одном рассказе Л. Андреева (не помню заглавия), где герой говорит, что стыдно быть хорошим.

Свет идет уже не от отдельных людей и не от отдельных добрых начинаний: мы вступили явственно в эпоху совсем новую, и новые людские отношения, понятия, мысли, образы пока еще в большинстве не поддаются определению.

Мария Андреевна Бекетова:

Блок заранее обеспечил себе возможность поступить вольноопределяющимся в разные полки. Всего желательнее казалось ему служить в артиллерийском дивизионе под начальством родственника М. Т. Блок (вдовы Александра Львовича).

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Уже за несколько дней до призыва сверстников – ратников ополчения, родившихся в 1880 году, А. А. начал волноваться и строить планы, ничего, впрочем, не предпринимая. Со мною он делился опасениями, и я, с жестокостью и требовательностью человека, поклоняющегося, в лице Блока, воплощенному величию, предлагал ему единственное, что казалось мне его достойным: идти в строй и отнюдь не «устраиваться». Возражения А. А. были детски беспомощны и не обоснованы, как у других, принципиально… «Ведь можно заразиться, лежа вповалку, питаясь из общего котла… ведь грязь, условия ужасные… Я мог бы устроиться в ***дивизии, где у меня родственник, но… не знаю, стоит ли». Так длилось несколько дней, и настал срок решиться.

«Мне легче было бы телом своим защитить вас от пули, чем помогать вам устраиваться», – полушутя, полусерьезно говорил я А. А. «Видно, так нужно, – возражал он. – Я все-таки кровно связан с интеллигенцией, а интеллигенция всегда была „в нетях“. Уж если я не пошел в революцию, то на войну и подавно идти не стоит».

Я познакомил А. А. с инженером К«лассеном», видным деятелем Союза Земств и Городов по организации инженерных дружин, и в последний момент А. А., за невозможностью подыскать что-либо более подходящее, был зачислен в табельщики и направлен на фронт.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 7 июля 1916 г.:*

Мама, пишу кратко, пока, потому что сегодня очень устал от массы сделанных дел. Сегодня я, как ты знаешь, призван. Вместе с тем я уже сегодня зачислен в организацию Земских и Городских Союзов: звание мое – «табельщик 13-й инженерно-строительной дружины», которая устраивает укрепления; обязанности – приблизительно – учет работ чернорабочих; форма – почти офицерская – с кортиком, на днях надену ее. От призыва я тем самым освобожден; буду на офицерском положении и вблизи фронта, то и другое мне пока приятно. Устроил Зоргенфрей. Начальник дружины меня знает. Сам он – архитектор… Получу бесплатный проезд во II классе. Жалованье – ок. 50 р. в месяц…

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Порохонск, 2 августа 1916 г.:*

Мама, я, вероятно, не буду писать особенно часто и буду писать понемногу. По крайней мере так мне кажется сейчас. Почвы под ногами нет никакой, большей частью очень скучно, почти ничего еще не делаю. Жить со всеми и т. д. я уже привык, так что страдаю пока только от блох и скуки. Два дня я жил в деревне (не той), теперь мы живем в большом именье и некоторые (я в том числе) – в княжеском доме. Блох, кажется, изведем. Дела у меня будут со временем другие и в другом месте. Было и жарко, но большей частью серо. К массе новых впечатлений и людей я привык в два дня так, как будто живу здесь месяц. Вообще я более, чем когда-нибудь, вижу, что нового в человеческих отношениях и пр. никогда ничего не бывает. Ем очень много, начинаю отсыпаться, все находят меня моложавым.

Я очень соскучился о тебе, Любе, Шахматове, квартире и т. д. Лунные ночи олеографические. Люди есть «интересные». Княжеская такса Фока и полицейская собака Фрина гуляют вместе.

В. Лех (Владимир Францевич Пржедпельский*, 1892–1952), инженер-путеец, поэт и журналист, сослуживец А. А. Блока по 13-й инженерно-строительной дружине:*

Княжеское жилище, называемое палаццо, – типичный старопольский помещичий дом с фронтоном, поддерживаемым белыми колоннами. Как заколдованные рыцари, стерегут его великолепные пирамидальные тополи. Но уже издали видны следы опустошения, произведенного войной.

Ведь это осень 1916 года, когда война стала повседневным

явлением, и опустошительные следы ее виднелись повсюду, как знамения моровой заразы.

Поэтому окна в доме выбиты, клумбы запущены, дворня разбежалась. В сенях стоит деревенский, крепкий запах яблок. На винтовой лестнице следят за непрошеным гостем глаза рыцаря с таинственного двойного портрета: в какой-то момент рыцарь превращается в даму времен рококо.

В прежних княжеских залах царит хаос и запустение: потухшая гладь зеркал в золоченых, роскошной резьбы, рамах, немного отличающейся благородством линий мебели в стиле ампир, продырявленная историческая картина и тут же несколько походных кроватей и пожитки, принадлежащие командному составу дружины, штаб которой помещается в княжеской усадьбе.

За окнами опустошенного зала, превратившегося в подозрительную ночлежку, раскинулся густой сад. В открытую дверь балкона слышно, как гулко ударяются о землю падающие груши. Луна поднимается все выше. Вдруг в раскинутую, как сеть паука, тишину вонзается золотой стрелою протяжный, сладостный звук и струится непрерывной мелодией, наполненной рыданиями сердца, приглушенными вздохами, едва слышными стенаниями, – пока не замолкнет, поглощенный потоком лунного света и тишиной.

– Кто же это играет? – спрашиваю старого слугу, одного из тех добрых духов усадьбы, которые не оставили ее в тяжелые минуты.

– Неизвестно. Каждый вечер играет в это время. Но кто – неизвестно, – отвечает он таким тоном, как будто в этих звуках, идущих неизвестно откуда, был скрыт намек на какую-то местную тайну.

Осматривая зал, нахожу на дверях листок с фамилиями его теперешних обитателей.

Среди других фамилий вижу – Александр Блок.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Блок. Порохонск, 4 августа 1916 г.:*

Люба, один из моих товарищей едет в Петерб‹ург› и потому я могу написать тебе всякие нецензурные подробности. Мы живем в имении князя Друцкого-Любецкого «Парохонск», верст в 12 от позиций. Я живу в главном доме, сплю, ем, скучаю и ничего не делаю. В 3-х верстах – станция Парохонск на реке Бобрике (как и мы). Это – последняя станция, куда доходят этапные поезда (из Лунинца), дальше идут уже только воинские, часто слышна канонада (глухая), в ясную погоду утром и вечером посещает нас аэроплан, бросающий бомбы гл‹авным› обр‹азом› на мост

у Парохонска и в ст‹анцию› Лунинец, где 90 путей. В мост ни разу не попал. В доме и флигелях стекла выбиты, одна бомба упала в палисадник месяца 3 назад. При мне бомб у нас еще не бросали. На горизонте видна иногда дозорная колбаса (привязанный шар), ночью – ракеты и прожекторы. Болот много, но мы сравнительно высоко. Тишина глубокая, несмотря на наших рабочих, которых еще мало. Единственный передовой отряд (их должно быть 4) работает в Чернове (верст 30 от нас наискосок – все это есть на штабной трехверстке, если не продадут, достань у кого-нибь‹удь› по протекции) – близко от позиций (верст 5–6). До с‹их› п‹ор› неизвестно, попаду ли я в передовой отряд. Табельное дело очень просто, но не комфортабельно (как жизнь здесь). Рабочие неизв‹естно› когда будут. Пока хозяйство анекдотическое. Строят телефоны и ватерклозеты. Ем много и, кроме казенного, еще пью молоко, иногда грызу шоколад, угощают конфетами и т. д. В деревне «Камень», куда я приехал на мешках с мукой по узкоколейке из Ловги (169 верст), я прожил всего два дня, здесь отсыпаюсь. Приехала вчера начальникова жена. Начальник милый, совершенно безвольный, помощник его – инженер, поляк, светский, не милый, но тоже безвольный. Пока что – я «помощник коменданта». Такой должности нет, потому я, погуляв и изредка расквартировав вновь прибывших, пью чай и болтаю в той или другой конторе. Именье большое и запущенное; обед в 1 час, ужин в 7 (или все опаздывает), встаю в 7, в 8-м (вначале в 6). Живу в одной комнате с Егоровым, Влад‹имиром› Ник‹олаевичем› (сын профессора – техник), паном Протассовичем (тоже техник) и студентом Книлгаузеном (теперь заведует обозом). Рядом живет Идельсон (присяжный поверенный), товарищ Фероля по гимназии и Пяста впоследствии и мн. др. – кто с текущих счетов, кто студент, всякие. Все это интересно маме, а мне – не очень. Говорят, мы здесь надолго.

7 августа.

Три последних дня я провел веселее. 4-го мы с таким же свободным от занятий табельщиком Зайцевым решили ехать на позиции, выпросили лошадей, сделали круг верст двадцать. До позиций не доехали, было жарко, но видели настоящие окопы и проволоку, ездили по болоту и по полотну железной) д‹ороги› и т. д. 5-го я был командирован с начальником обоза (студентом) покупать бензин. Поехали на грузовом автомобиле, вернулись только вчера (без бензина, но с разными мелкими покупками), сделали верст восемьдесят. Шина лопнула, застревали в болотах и песках, ломали мосты, чтобы проехать, ночевали в Лунипце в офицерской гостинице (бесплатно). Я загорел отчаянно, на солнце было градусов 35. Шатались безуспешно

по интендантск‹им› складам ‹…› лавкам и путям железной д‹ороги›. Вечером и на след‹ующее› утро обстреливали там аэропланы – очень красивые разрывы шрапнели вокруг аэроплана. Оба раза его прогнали, и бомб он не сбросил.

В. Лех (Владимир Францевич Пржедпельский):

Блока уже не было в штабе в Порохонске.

Когда по убийственной дороге через предательские болота я добрался ночью в деревню Колбы, – в низкой полесской хате при скудном свете керосиновой лампы была произнесена фамилия: Блок.

Был в военной форме дружины. Ничего, что могло бы отличать поэта. Волосы подстрижены, застегнут до последней пуговицы, молчаливый, с как бы окаменевшим лицом. Странные зеленоватые глаза, по-детски светлые, пушистые ресницы и сильная, широкоплечая, мужественная фигура. Трудно, однако, было бы найти более совершенный тип поэта, лицо, более отвечающее внутреннему содержанию личности. Печатью Аполлона отмечены черты его продолговатого лица.

Две высокие стрельчатые линии, поднимающиеся над бровями, являются выражением далеких, почти неземных мыслей.

Внутренняя жизнь горит только в глазах. Узкие, сжатые губы. Говорит «телеграфично», когда вспоминаю о княжеской усадьбе:

– Падающие груши… И свирель… И этот странный портрет…

С этого позднего вечера в заброшенном полесском селе один за другим потянулись дни, однообразные и необычные, потому что отмеченные войной.

Как большие жуки, жужжат русские и немецкие аэропланы, а вокруг них клубятся белые облачка разрывающихся снарядов. По дорогам шныряют патрули, проходят воинские части. По ночам кровенеют зарева пожаров, на рассвете над дымкой тумана, стелющегося над болотами, как видение сказочного града, возносится силуэт Пинска. Безлюдная местность превратилась сейчас в сплошное царство размокших болот, и война барахтается в болоте, как кошмарное чудовище. Но, несмотря на все, осень так прекрасна, как только она может быть на Полесье, и каждое утро звенит, как золотой червонец.

Мы строим окопы, блиндажи – всю сложную систему большой оборонительной позиции. На работу выезжаем по нескольку человек, верхом. Блок ездит великолепно. В лесах, на краю болот, встречаем сотни оборванных, босых, продрогших от холода и сырости сартов и финнов, роющих, как кроты, новые линии окопов.

В это время в далекой северной столице есть женщина в золотистой короне волос, великая артистка с пламенным голосом, несравненная Кармен, вознесенная магией поэта выше всех женщин. В это время в Москве Станиславский думает о постановке поэмы Блока «Роза и Крест».

Поэт об этом почти не вспоминает. В молчании переживает безумство человечества, влекущее за собой всех. Иногда где-то пропадает. Пишет ли? Вероятно, в одиночестве ищет душевного равновесия.

– Середина жизни самая трудная, – говорит он со вздохом.

О поэзии нет и речи. Только один раз Блок сдается на уговоры прочесть стихи. В полесской хате звучат вдохновенные слова, произносимые неровным, глухим голосом.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. 21–28 августа, 4 сентября 1916 г.:*

Мама, сегодня я получил первые письма – от тебя, от Любы и от Кузьминой-Караваевой. Твое письмо очень расстроенное. Мне захотелось домой. Вообще же я мало думаю, устаю за день, работаю довольно много. Через день во всякую погоду выезжаю верхом на работы – в окопы в поле и на рубку кольев в лес. Возвращаюсь только к 1 часу, к обеду. Потом кое-что пишу в конторе, к вечеру собираются разные сведения, ловятся сбежавшие рабочие, опрашиваются десятники и пр.

Сегодня воскресенье, дела, в сущности, нет, поэтому день проходит тихо. Я проснулся в 7-м часу, так как рядом уже копошился начальник отряда. Он – одинокий человек моих лет, семья и имущество остались в Вильне. Он страшно нервный, довольно суетливый, скучает и ищет все время дела, а когда дела нет, старается придумать. Проснувшись, я стал вместе с ним ругать «дачников» (так он называет наш «штаб»), который не присылает нам вовремя мяса, хлеба и т. д. Это его любимая тема. Потом умылись на крылечке, потом пошли в обоз, разбудив заведующего обозом (ему лет 14 по наружности и по развитию, и разбудить его трудно, между тем он должен вставать раньше всех, чтобы распределять подводы). Потом пришли и пили чай, потом я удрал с письмами, потом сидели в конторе и составляли табель. После обеда легли спать, но начальник пришел и стал опять ругать штаб и говорить о политике. Ему, бедному, страшно скучно. Я опять удрал. Заведующий хозяйством сегодня ночью застревал в болоте, потому крепко спит; Идельсон собирается в отпуск, Егоров – в штабе; начальник живет один на фольварке и хочет переманить кого-нибудь из нас к себе, но мы все упираемся, потому что устроились очень уютно. В избе три

комнаты, блохи выведены. В одной спят Попов, Идельсон и Глинка, в другой – Игнатов, Егоров и я, в третьей (кухне) – хозяин или хозяйка и котенок, на чердаке – две миловидные девицы (загнаны нами на чердак), на дворе – стадо гусей, огромная свинья и поросенок. Днем приходит повар и мальчишка Эдуард, повар готовит очень вкусно и довольно разнообразно, обедаем все вместе. Последнее лицо – техник, который скоро уйдет. В сущности, он страшно вредное животное, но для нас большей частью элемент увеселительный, а мне в нем даже многое нравится (мы с ним, между прочим, устраивали скачки на лошадях, он чувствует природу, хотя глуп и очень циничен). Интересы наши – кушательные и лошадиные (кроме деловых), и живем мы все очень дружно. Я надеюсь, что тебя застанет в Петербурге десятник Ащеулов, уморительный старик, хотя он может и приврать. Иногда встречаемся мы тут с офицерами и саперами, иногда – со служащими в других отрядах. По обыкновению – возникают разные «трения». Полдеревни заселено нашими 300-ми рабочими – туркестанцы, уфимцы, рязанцы, сахалинцы с каторги, москвичи (всех хуже и всех нахальнее), петербургские, русины. С утра выясняется, сколько куда пошло, кто просится к доктору, кому что выдать из кладовой, кто в бегах. Утром выезжаешь верст за пять, по дороге происходит кавалерийское ученье – два эскадрона рубят кусты, скачут через препятствия и пр. Раз прошла артиллерия. Аэроплан кружится иногда над полем, желтеет, вокруг него – шрапнельные дымки, очень красиво. За лесом пулеметы щелкают. По всем дорогам ездят дозоры, вестовые, патрули, во всех деревнях и фольварках стоят войска. С поля виднеется Пинск, вроде града Китежа, – приподнятый над туманом – белый собор, красный костел, а посередине – поменьше – семинария. Один день – жара, так что не просыхаешь ни на минуту, особенно верхом. Другой день – сильная гроза, потом холодно, потом моросит. Очень крупные звезды. Большая Медведица довольно низко над горизонтом, направо – Юпитер. Описать все это – выходит похоже на любую газетную корреспонденцию, так что, в сущности, нельзя описать, в чем дело. На реке рядом работает землечерпалка, наш штаб хочет заводить катер для доставки нам припасов в распутицу. Телефон обыкновенно испорчен (вероятно, мальчишки на нем качаются). Начальник страшно ругается и очень много говорит о коменданте, расстрелах, повешенье, каторге, порке и пр. К счастью (а иногда, может быть, и напрасно), не исполняет.

К вечеру, когда начинается разговор о том, сколько кто выбросил кубов, сколько вырыто ячеек и траверсов, отчего саперы

замедляют с трассировкой и пр., все уже очень хотят спать, даже и начальник иногда; вообще же он может в любую минуту ночи писать пропуск или ругать дачников. Комитеты, поставляющие нам рабочих, насылают сифилитиков, безруких, больных, так что иногда приходится немедленно отсылать их обратно.

28 августа.

Сегодня опять воскресенье, время прошло довольно незаметно, за это время произошло много домашних событий (не настоящих). Рабочих прибавилось, пришла большая партия сартов, армян и татар, в пестрых костюмах; они живут отдельно, у них своя кухня, и они во всем резко отличаются от русских – не в пользу последних (стройные, чистые, спокойные, красивые, великолепно работают). Сегодня пришла опять большая партия, к сожалению, из Москвы. Теперь у нас уже больше 400 человек.

Я ездил с визитом к военным (саперам) с начальником отряда, приезжал начальник дружины с женой, было много лошадиных, аэропланных, телефонных, кухонных и окопных интересов. На работах мы с Глинкой каждый день проводим все утро. Мы строим очень длинную позицию, в несколько верст длины, несколько линий, одновременно роем новые окопы, чиним старые, заколачиваем колья, натягиваем проволоку, расчищаем обстрел, ведем ходы сообщения – в поле, в лесу, на болоте, на вырубках, вдоль деревень. Вероятно, будем и обшивать деревом, и пр. Впереди висит наблюдатель, иногда с работ видны далеко впереди разрывы снарядов, аэропланы обстреливаются тщетно, как почти всегда. Движения вообще почти нет. Мы живем дружно, очень много хохочем. Сегодня я большей частью сплю, потому что ложусь в 12, а встаю в 6 часов всю неделю. Стоит бабье лето, прохладные безоблачные дни, паутина, желтого еще почти нет. Ближайшие леса почти все из черной ольхи, почва – песок и торф. ‹…›

Понемногу у нас становится много общего; конфеты и папиросы, которые мы покупаем в лавках в более или менее далеких деревнях, сапожные щетки и ваксы; иногда – кровати, мыло. Я ко всему этому привык, и мне это даже нравится, я могу заснуть, когда рядом разговаривают громко пять человек, могу не умываться, долго быть без чая, скакать утром в карьер, писать пропуски рабочим, едва встав с кровати. Походная кровать очень удобная вещь. ‹…›

4 сентября.

Опять воскресенье, все уехали, единственный день, когда я могу сколько-нибудь отвлечься от отряда и написать письмо. Тебе

его передаст на днях Конст. Алексеев. Глинка, очень милый, смелый и честный мальчик (табельщик), потомок композитора. Положение усложняется – все мы начинаем скверно относиться к начальнику. Глинка, я думаю, расскажет что-нибудь об этом, я не хочу писать, и так целые дни об этом разговариваем.

Если хочешь, пришли чего-нибудь вкусного вместе с Любой – немного, чтобы Глинке было не тяжело везти – для всех нас.

Как твое здоровье, я часто думаю о нем. У меня давно нет известий, мы живем в глуши. Позиция, которую мы роем и обшиваем, интересная, многоверстная, рабочих уже 500 с лишком. Детям после войны будет интересно играть в пулеметных гнездах

Прилагаю письма к Любе и к Любови Александровне.

Я озверел, полдня с лошадью по лесам, полям и болотам разъезжаю, почти неумытый; потом – выпиваем самовары чаю, ругаем начальство, дремлем или засыпаем, строчим в конторе, иногда на завалинке сидим и смотрим на свиней и гусей. Во всем этом много хорошего, но, когда это прекратится, все покажется сном. Со вчерашнего дня в нашем распоряжении 5 казаков (для порядку). Видимся с саперами, иногда приезжают из штаба. Сегодня к вечеру я жду с нетерпением Егорова и Идельсона, они поехали в штаб и, я надеюсь, подложат свинью технику Брицу, о котором тоже может рассказать Глинка.

Я подумываю об отпуске, по весьма неопределенно, не думаю, чтобы это случилось скоро.

В. Лех (Владимир Францевич Пржедпельский):

Общество наше довольно странное: рядом с поэтом Блоком – молодой, симпатичный еврей-астроном, талантливый архитектор, потомок композитора Глинки и обозник – рубаха-парень с настоящей лошадиной Душой.

Мы вместе едим и спим, по вечерам выпиваем несметное количество чая и потчуем друг друга шоколадом.

Начальствуют над нами два инженера-поляка, самоотверженно выполняющие свои технические работы, не видящие ничего, кроме позиционных сооружений.

Они не видят нищеты рабочих, ютящихся в соседнем селе, поставленных почти на положение рабов «общественной» организации дружины.

Нескольких интеллигентов, которые входят в состав отряда, начальство считает «дачниками» и досаждает им, как может.

В связи с этим жизнь становится тихим адом.

И отряд распадается. Блок возвращается в штаб дружины в Парохонск.

В это время в усадьбе уже наладилась светская жизнь. Старый князь чудаковат. Своей маленькой коренастой фигурой он напоминает паука. Носит седые бакенбарды. Бесшумно проходит по дому, внезапно появляется на пороге комнаты, на повороте лестницы и исчезает. Тем, которые заслужили его доверие, показывает грамоты, рескрипты, подписанные польскими королями, Петром Первым, Екатериной Второй, и по секрету сообщает, что ему известна безошибочная система игры в рулетку. Поэтому он с нетерпением ожидает конца войны, чтобы разбить банк в Монте-Карло.

А княгиня, тридцатилетняя золотоволосая женщина, даже во время войны не представляет себе жизни без развлечений и общества. Поэтому она устраивает вечеринки, на которых Блок – почетный гость.

К сожалению, поэт не оправдывает возлагаемых на него надежд. Он с аппетитом пьет ароматный китайский чай и кушает какие-то затейливые пирожные, но когда княгиня обращается к нему с просьбой «написать ей что-нибудь», говорит с детской искренностью:

– Скорее Фрика напишет стихи, чем я.

Фрика – любимая собака княгини.

На службе Блок – образцовый чиновник. Он может теперь влиять на улучшение быта рабочих и делает это с усердием. Неслыханно аккуратен и систематичен. Когда это вызывает удивление, говорит:

– Поэт не должен терять носовых платков.

Алексей Николаевич Толстой:

В январе 1917 года морозным утром я, прикомандированный Земгором к генералу М., объезжавшему с ревизией места работ Западного фронта, вылез из вагона на маленькой станции, в лесах и снегах, и пошел к городку фанерных бараков, где было управление дружины. Мне было поручено взять сведения о работавших в дружине башкирах. Меня провели в жарко натопленный домик, где стучали дактилографисты, и побежали за заведующим. Через несколько минут, запыхавшись, вошел заведующий, худой, красивый человек, с румяным от мороза лицом, с заиндевевшими ресницами. Все, что угодно, но я никак не мог ожидать, что этот заведующий окопными работами – Александр Блок. Он весело поздоровался и сейчас же раскрыл конторские книги. Когда сведения были отосланы генералу, мы пошли гулять. Блок рассказывал мне о том, как здесь славно жить, как он из десятников дослужился до заведующего, сколько времени в сутки он проводит верхом на лошади; говорили

о войне, о прекрасной зиме…

Когда я спросил – пишет ли он что-нибудь, он ответил равнодушно: «Нет, ничего не делаю». В сумерки мы пошли ужинать в старый, мрачный помещичий дом, где квартировал Блок. В длинном коридоре мы встретили хозяйку, увядшую женщину, – она посмотрела на Блока мрачным глубоким взором и гордо кивнула, проходя. Зажигая у себя лампу, Блок мне сказал: «По-моему, в этом доме будет преступление».

1917. Слушая «музыку революции»

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 19–20 марта 1917 г.:*

Мама, сегодня приехал я в Петербург днем, нашел здесь одну тетю, завтракали с ней и обедали, рассказывали друг другу разные свои впечатления. Я довольно туп, плохо все воспринимаю, потому что жил долго бессмысленной жизнью, без всяких мыслей, почти растительной. Здесь сегодня яркое солнце и тает. Отдохну несколько дней и присмотрюсь. Несмотря на тупость, все происшедшее меня радует. – Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России.

Минуты, разумеется, очень опасные, но опасность, если она и предстоит, *освещена,* чего очень давно не было, на нашей жизни, пожалуй, ни разу. Все бесчисленные опасности, которые вставали перед нами, терялись в демоническом мраке. Для меня мыслима и приемлема будущая Россия, как великая демократия (не непременно новая Америка). Все мои пока немногочисленные дорожные впечатления от нового строя – самые лучшие, думаю, что все мы скоро привыкнем к тому, что чуть-чуть «шокирует».

Впрочем, я еще думаю плохо. Я очень здоров, чрезмерно укреплен верховой ездой, воздухом и воздержанием, так что не могу еще ясно видеть сквозь собственную невольную сытость (это мой способ применяться к среде).

Зинаида Николаевна Гиппиус:

Без моего погибшего дневника не могу восстановить даты, но скоро, очень скоро после революции, через неделю или две, вот Блок, в защитке, которая его очень изменяет, взволнованно шагающий по длинной моей комнате. Он приехал с фронта, или оттуда, где он находился, – близ северо-западного фронта.

В торопливо-радостные дни это все было радостно и спешно, люди приходили, уходили, мелькали, текли, – что запоминалось? Что забывалось?

Но Блок, в высоких сапогах, стройно схваченный защиткой, непривычно быстро шагающий по моему ковру, – ярко помнится. И слова его помнятся, все те же он повторял:

– Как же теперь… ему… русскому народу… лучше послужить?

Лицо у него было не просветленное, мгновеньями потерянное и недоуменное. Все кругом было так непохоже на прежнее,

несоизмеримо с ним.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 19–20 марта 1917 г.:*

Мама, три дня я просидел, не видя никого, кроме тети, сознавая исключительно свою вымытость в ванне и сильно развившуюся мускульную систему. Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищеных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Может случиться очень многое, минута для страны, для государства, для всяких «собственностей» – опасная, но все побеждается тем сознанием, что произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно.

Ничего не страшно, боятся здесь только кухарки. Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественна вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами, Зимний дворец с красным флагом на крыше. Выгорели дотла Литовский замок и Окружной суд, бросается в глаза вся красота их фасадов, вылизанных огнем, вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. Ходишь по городу как во сне. Дума вся занесена снегом, перед ней извозчики, солдаты, автомобиль с военным шофером провез какую-то старуху с костылями (полагаю, Вырубову – в крепость). Вчера я забрел к Мережковским, которые приняли меня очень хорошо и ласково, так что я почувствовал себя человеком (а не парнем, как привык чувствовать себя на фронте). Обедал у них, они мне рассказали многое, так что картина переворота для меня более или менее ясна: нечто сверхъестественное, восхитительное.

‹…› Со вчерашнего дня мои поросшие мохом мозги зашевелились, но придумать я еще ничего не могу, только чувствую, что все можно.

‹…› Сейчас мне позвонил Идельсон. Оказывается, он через день после меня *совсем* уехал из дружины, получив вызов от Муравьева, и назначен секретарем Верховной следственной комиссии. Будут заседать в Зимнем дворце. Приглашает меня, не хочу ли я быть одним из редакторов (это значит, сидеть в Зимнем дворце и быть в курсе всех дел). Подумаю. Сейчас (говорит Идельсон) – вся Литейная и весь Невский запружены народом, матросы играют марш Шопена. Гробы красные, в ту минуту, когда их опускают в могилу на Марсовом поле,

производится салют с крепости (путем нажатия электрической кнопки).

Сейчас пойду на улицу – смотреть, как расходятся.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

В военной форме, с узкими погонами «земсоюза», свежий, простой и изящный, как всегда, сидел Блок у меня за столом весною 1917 года; в Петербург он вернулся при первой возможности, откровенно сопричислив себя к дезертирам. О жизни в тылу позиций вспоминал урывками, неохотно; «война – глупость, дрянь…» – формулировал он, в конце концов, свои впечатления. На вопрос, трудно ли ему приходилось, по должности табельщика, с рабочими дружины, отвечал, что с рабочими имел дело раньше, когда перестраивал дом у себя в имении, и что ругаться он умеет. ‹…›

В то время, весною 1917 года, Блок всецело отдался новому потоку. Творческие силы художника, казалось, дремали. Личные неудобства, и тогда уже ощутительные, мало смущали его. Так, рассказывал он мне, что, сидя на скамье на одном из московских бульваров, показался он подозрительным двум солдатам; один пожелал арестовать его; другой сказал, подумав, что – не стоит, и оба ушли. Об этом случае А. А. вспоминал с мягкой и сочувственной улыбкой.

Тогда же поступил он на службу в Высшую следственную комиссию, занятую разбором дел представителей бывшего правительства; насколько знаю, он заведовал редакцией стенографических отчетов и лично присутствовал при допросах министров. С этого года вообще появился Блок «на людях» и стал встречаться, по долгу службы, с представителями «здравого смысла».

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 2 апреля 1917 г.:*

Мама, в этом году Пасха проходит так безболезненно, как никогда. Оказывается теперь только, что насилие самодержавия чувствовалось всюду, даже там, где нельзя было предполагать. Ночью вчера я был у Исакиевского собора. Народу было гораздо меньше, чем всегда, порядок очень большой. Всех, кого могли, впустили в церковь, а остальные свободно толпились на площади, не было ни жандармских лошадей, создающих панику, ни тучи великосветских автомобилей, не дающих ходить. Иллюминации почти нигде не было, с крепости был обычный салют, и со всех концов города раздавалась стрельба из ружей и револьверов – стреляли в воздух в знак праздника. Всякий

автомобиль останавливается теперь на перекрестках и мостах солдатскими пикетами, которые проверяют документы, в чем есть свой революционный шик. Флаги везде только красные, «подонки общества» присмирели всюду, что радует меня даже слишком – до злорадства. ‹…›

Все, с кем говоришь и видишься, по-разному озабочены событиями, так что воспринимаю их безоблачно только я один, вышвырнутый из жизни войной. Когда приглядишься, вероятно, над многим придется призадуматься. Впрочем, события еще далеко не развернулись, что чувствуют более или менее все.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 15 апреля 1917 г.:*

Все-таки мне нельзя отказать в некоторой прозорливости и в том, что я чувствую современность. То, что происходит, – происходит в духе моей тревоги. Недаром же министр финансов, отправляясь на первое собрание с. р. и с. д., открыл наугад мою книгу и нашел слова «Свергни, о, свергни». Отчего же до сих пор никто мне еще не верит (и ты в том числе), что мировая война есть вздор (просто полный знак равенства; или еще: «немецкая пошлость»). Когда-нибудь и это поймут. Я это говорю не только потому, что сам гнию в этом вздоре.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Москва, 17 апреля 1917 г.:*

Мама, сегодня вечером я уеду и опущу это письмо на вокзале. Немирович-Данченко сказал мне, что я не понадоблюсь в театре до сентября. ‹…› Отчасти я рад тому, что мой нынешний приезд оказался, в сущности, напрасным, потому что меня все еще почти нет, я утратил остроту восприятий и впечатлений, как инструмент, разбит. В театре, конечно, тоже все отвлечены чрезвычайными обстоятельствами и заняты «политикой». Если история будет продолжать свои чрезвычайные игры, то, пожалуй, все люди отобьются от дела и культура погибнет окончательно, что и будет возмездием, может быть справедливым, за «гуманизм» прошлого века. За уродливое пристрастие к «малым делам» история мстит истерическим нагромождением событий и фактов, безобразное количество фактов только оглушительно, всегда антимузыкально, т. е. бессмысленно.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. И. Катонину. Петербург, 19 апреля 1917 г.:*

Жизнь кругом совершенно необычайная, трудная, грозная и блистательная. Вчера в день Интернационала город

представлял зрелище, какого мы никогда не видали: Невский запружен людьми, лошадей и повозок нет, точно Венеция. При всем том тишина и порядок, благодаря отсутствию полиции. «Буржуа» только и делают, что боятся: то хулиганов, то немцев, то Ленина, то анархии. В те редкие минуты, когда меня отпускает отупение, я мог бы с уверенностью сказать, что может произойти (и произойдет) еще многое, но все не страшно, а это «не страшно» как-то осмысливает пестроту событий, идет красной нитью сквозь всю кажущуюся их несвязность (между прочим, об этом «не страшно» теперь думает и Горький).

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 2 мая 1917 г.:*

‹…› Во всяком случае, всем нужно помнить, что каждый день приносит новое, и все может повернуться совершенно неожиданно. Жалеть-то не о чем, изолгавшийся мир вступил, во всяком случае, в ЛУЧШУЮ эпоху. Сейчас самые большие врали (англичане, а также французы и японцы) угрожают нам, пожалуй, больше, чем немцы. Это признак, что мы устали от вранья. Нам надоело, этого Европа не осмыслит, ибо это просто, а в ее запутанных мозгах – темно. Но, презирая нас более чем когда-либо, они смертельно нас боятся, я думаю; потому что мы, если уж на то пошло, с легкостью пропустили сквозь себя желтых и затопили ими не один Реймский собор, но и все остальные их святые магазины. Мы ведь плотина, в плотине – шлюз, и никому отныне не заказано приоткрыть этот шлюз «в сознании своей революционной силы».

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 7 мая 1917 г.:*

‹…› Сидел у Идельсона, который осветил мне деятельность комиссии, о которой я тебе писал, после чего мы с ним поехали в Зимний дворец, где я познакомился с председателем (Муравьевым). Кроме первого редактора (Неведомского), будут еще два: Л. Я. Гуревич и я. Завтра же я получу работу, которую возьму на дом, и должен исполнять ее в строгой тайне, пока результаты ее не станут известны Временному правительству. «Легализован» я буду, по всей вероятности, как Идельсон, т. е. меня «временно откомандирует» непосредственно «Земгорфронт».

Так как я буду иметь возможность присутствовать и на допросах (о чем уже говорил с Муравьевым), дело представляется мне пока интересным.

Мы бегло обошли Зимний дворец, который почти весь занят солдатским лазаретом. Со стен смотрят утомительно известные

Боровиковские, вечно виденные в жизненных снах мраморы и яшмы. Версальские масштабы опять поразили меня своей ненужностью. Действительно сильное впечатление произвел на меня тронный зал, хотя материя со ступеней трона содрана и самый трон убран, потому что солдаты хотели его сломать. В этой гигантской комнате с двойным светом поразительно то, что оба ряда окон упираются в соседние стены того же дворца, и все это гигантское и пышное сооружение спрятано в самой середине дворцовой громады. Здесь царь принимал Первую думу, и мало ли что тут было.

В праздник я пойду посмотреть комнаты Николая Романова, сегодня было слишком поздно.

Из всех разговоров, впечатлений и мыслей сегодняшнего дня я многое понял (для себя). Между прочим, Адам Феликсович, которого я опять видел (на вокзале), высказал (как он часто это делает) весьма интересную точку зрения на комиссию. Он очень точно (юридически) умеет формулировать свои мысли, так что мне не раз уже удавалось «наматывать на ус» его соображения. И на этот раз тоже.

Петербург сегодня очень величественен. Идет снег, иногда густой; природа, как всегда, подтверждает странность положения вещей.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Блок. Петроград, 14 мая 1917 г.:*

Я вижу и слышу теперь то, чего почти никто не видит и не слышит, что немногим приходится наблюдать раз в сто лет. Я надеюсь пока удержаться здесь, хотя меня опять треплют (скучно описывать возникшую обо мне переписку). У меня очень напряжены мозг и нервы, дело мое страшно интересно, но оно действительно трудное и берет много времени и все силы. Жить так внешним образом (в смысле прислуги и пр.) я тоже мог бы здесь без тебя (не скрываю), хотя кое в чем иногда хотел бы помощи (но в пустяках, право, просто – иногда времени не хватает на пустяки). Но время такое, положение такое, что не знаешь, что завтра будет; все насыщено электричеством, и сам насыщен, и надо иногда, чтобы был рядом такой, которому веришь и которого любишь. Все это я о себе (по обыкновению, но мне суждено постоянно исходить из себя, это – натура и входит в мой план), но я все жду, чтобы совпало; и жду этого я, никогда не ошибавшийся.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 18 мая 1917 г.:*

‹…› Я-то читаю «Новую жизнь», газету демократическую разве по сравнению с «Речью»; читаю потому, что слишком знаю точки зрения «буржуазные» и хочу войти в курс противоположных; скоро, может быть, все-таки переменю на эс-эрскую; но эти газеты надо привыкать читать, в них совсем нет того духа сплетни и сенсации, который нам давал ощущение новизны, нет обширных «последних известий», длинных театральных хроник, груды телеграмм от «собственных корреспондентов». Они гораздо серее, так что иногда откроешь, и кажется, что ничего особенного не случилось; там же что ни день, то события; на самом деле, шестерни движения вертятся действительно не там, куда тычут пальцем благородная и грамотная «Речь» и карикатуры на нее, вроде «Биржевок», «Нового времени» и т. п. ‹…›

А у меня все время «большие дни», т. е. я продолжаю погружаться в историю этого бесконечного рода русских Ругон-Маккаров, или Карамазовых, что ли. Этот увлекательный роман с тысячью действующих лиц и фантастических комбинаций, в духе более всего Достоевского (которого Мережковский так неожиданно верно назвал «пророком русской революции»), называется историей русского самодержавия XX века.

В субботу я присутствовал на приеме «прессы», которую комиссия осведомляла о своих работах… В понедельник во дворце допрашивали Горемыкина, барственную развалину; глаза у старика смотрят в смерть, а он все еще лжет своим мягким, заплетающимся, грассирующим языком; набежит на лицо тень улыбки – смесь стариковского добродушия (дети, семья, дом, усталость) и железного лукавства (венецианская фреска, порфирная колонна, ступени трона, государственное рулевое колесо), – и опять глаза уставятся в смерть. – После этого мы опять ездили в крепость, опять слушали Белецкого. Вчера в третий раз Белецкий в крепости растекался в разоблачениях тайн того искусства, магом которого он был, так что и в понедельник мы будем опять его слушать, он уже надоел немного, до того услужлив и словоохотлив. Зато в перерыве Муравьев взял меня, под предлогом секретарствования, в камеры. Пошли в гости – сначала к Воейкову (я сейчас буду работать над ним); это – ничтожное довольно существо, не похож на бывшего командира гусарского полка, но показания его крайне интересны; потом зашли к кн. Андронникову; это – мерзость, сальная морда, пухлый животик, новый пиджачок (все они повторяют одинаково: «Ах, этот Андронников, который ко всем приставал»). Князь угодливо подпрыгнул – затворить форточку; но до форточки каземата не допрыгнешь. Прямо из Достоевского. – Потом пришли к Вырубовой (я только что сдал

ее допрос); эта блаженная потаскушка и дура сидела со своими костылями на кровати. Ей 32 года, она могла бы быть даже красивой, но есть в ней что-то ужасное. В коридоре мы хотели с Идельсоном попробовать их пищу (как пробовали постоянно пищу рабочих), но не поспеть за Муравьевым, который не ходит, а летает. Пришли к Макарову (министр внутренних дел) – умный чиновник. – Потом к Кафафову (директор департамента полиции); этот несчастный восточный человек с бараньим профилем дрожит и плачет, что сойдет с ума: глупо и жалко. – Потом к Климовичу (директор департамента полиции) – очень умный, пронзительный жандармский молодой генерал, очень смелый, глубочайший скептик. Все это вместе производит сильное впечатление: надеюсь, что еще пойду, навещу всех главных обитателей Трубецкого бастиона. Очень красивы на некоторых из них синие халаты со стоячими воротниками.

Александр Александрович Блок. *Из дневника:*

26 мая 1917. Старая русская власть делилась на безответственную и ответственную.

Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом.

Такой порядок требовал людей верующих (вера в помазание), мужественных (нераздвоенных) и честных (аксиомы нравственности). С непомерным же развитием России вглубь и вширь он требовал еще – все повелительнее – гениальности.

Всех этих свойств давно уже не было у носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы. Все это продолжалось много лет. Последние годы, по признанию самих носителей власти, они были уже совершенно растеряны. Однако равновесие не нарушалось. Безвластие сверху уравновешивалось равнодушием снизу. Русская власть находила опору в исконных чертах народа. Отрицанию отвечало отрицание. Так как опора была только отрицательною, то, для того чтобы вывести из равновесия положение, надо было ждать толчка. Толчок этот, по громадности России, должен был быть очень силен. Таковым оказалась война 1914–1917 года. Надо помнить, однако, что старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской души, на свойства, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, в кругах гораздо более широких (и полностью или частями), чем принято думать; чем полагается думать «по-революционному». «Революционный народ» – понятие не вполне реальное. Не мог сразу сделаться революционным тот народ, для которого, в большинстве, крушение власти оказалось неожиданностью и «чудом»; скорее просто неожиданностью,

как крушение поезда ночью, как обвал моста под ногами, как падение дома.

Революция предполагает волю; было ли действие воли? Было со стороны небольшой кучки лиц. Не знаю, была ли революция?

Все это – в миноре.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 26 мая 1917 г.:*

‹…› В последние дни я немного разбился в работе, потому что слишком часто бывал во дворце по пустякам. Был только интересный допрос О. В. Лохтиной (поклонницы Илиодора и Распутина) и Виссарионова (вице-директор департамента полиции). На днях я пойду по всем камерам. Слушать буду еще Штюрмера и Протопопова. Я приму участие в составлении отчета, т. е. мне будет поручено написать какую-нибудь часть. Муравьев предлагает характеристики всех.

‹…› Я «сораспинаюсь со всеми», как кто-то у А. Белого. Действительно, очень, очень тяжело. Вчера царскосельский комендант рассказывал подробно все, что делает сейчас царская семья. И это тяжело. Вообще все правы – и кадеты правы, и Горький с «двумя душами» прав, и в большевизме есть страшная правда. Ничего впереди не вижу, хотя оптимизм теряю не всегда. Все, все они, «старые» и «новые», сидят в нас самих; во мне по крайней мере. Я же – вишу, в воздухе; ни земли сейчас нет, ни неба. При всем том Петербург опять необыкновенно красив.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Блок. Петроград, 28 мая 1917 г.:*

Вчера обошел я 18 камер. Когда мозги от напряжения чуть не лопаются (кроме того, что нужно держаться определенной умственной позиции, надо еще напрягать внимание, чтобы не упустить чего-нибудь из виденного и слышанного), тогда легче, а когда отойдешь, очень не по себе: страшно одиноко, никому ничего не скажешь и не с кем посоветоваться. Не знаю, как дальше все будет, не вижу вперед.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 30 мая 1917 г.:*

Мама, разная крупа куплена и послана вчера, лучше не нашли. Не беспокойся о моей еде, прислуга хорошая, я ем много, иногда даже слишком; зато когда бываю на службе, ем меньше, так что равновесие не нарушается. Мяса много, хлеб хороший (большей частью черный), масло бывает. Ем много яиц, здесь и во дворце. Скажи тете, что я ее благодарю за письмо.

Напиши, какое на тебя впечатление производит Шахматово?

Следует иметь в виду, что скоро могут остановиться все железные дороги (угля нет). Пока об этом говорят большей частью правые (Родзянко и пр.), но на это есть реальные основания. ‹…›

У меня за последние дни есть несколько приятных впечатлений; во-первых – от городских выборов. Я подал голос за социалистический блок (с.-р. с меньшевиками) после многих размышлений и очень был рад, когда выяснилось потом, что швейцар, кухарка, многие рабочие тоже подали голоса именно за этот список (а всех было *семь,* так что для них выбор был труден), а всякие «домовые комитеты» фрондируют. Вообще многие ауспиции[18], которым я, как всегда, склонен верить, говорят мне пока, что надо быть с социалистами.

Во-вторых, вчера во дворце после мрачных лиц «бывших людей», истерических сцен в камерах приятно было слушать Чхеидзе, которого допрашивали в качестве свидетеля. Неумный, страшно добрый старый меньшевик, для себя уже ничего ему не нужно. В нем есть детское. В допросе участвовал остервенелый П. Д. Соколов, по слухам, автор приказа № 1. Во время допроса вошел Керенский: в толстой военной куртке без погон, быстрой походкой, желто-бледный, но гораздо более крепкий, чем я думал. Главное – глаза, как будто несмотрящие, но зоркие, и – ореол славы. Он посидел пять минут, поболтал, поздоровался, простился и ушел. – Чхеидзе рассказал одно весьма неприятное обстоятельство из недавнего прошлого. Комиссия встретила это не сморгнув, но я думаю, что это будет иметь последствия. ‹…›

Письма идут все хуже. Напиши, от каких чисел мои письма ты получила.

Кажется, я не писал тебе, что на днях утром я обходил с Муравьевым камеры – обошли 18, в том числе Сухомлинова (и жены его, стервы), Штюрмера, Протопопова, Маклакова, Курлова, Беляева, Дубровина, Вырубовой. Поразило меня одно чудовище, которое я встречал много раз на улицах, с этим лицом у меня было связано разное несколько лет. Оказалось, что это Собещанский, жандармский офицер, присутствовавший при казнях, В камере теперь – это жалкая больная обезьяна.

Очень мерзок старик Штюрмер. Поганые глаза у Дубровина. М-me Сухомлинову я бы повесил, хотя смертная казнь и отменена. Довольно гадок Курлов. Остальные гораздо лучше. С нами ходил доктор Манухин, а в коридорах поверял караулы новый командующий Петроградским округом, генерал Половцов – бравый. Было несколько сцен тяжелых. После этого долго совещались во дворце редакторы, т. е. Неведомский,

Червинский, Любовь Яковлевна и я. Больше, конечно, так болтали.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 30 мая 1917 г.:*

Работа ответственная. Сегодня Муравьев, прогнав одного из редакторов (за леность), поручил мне привести в известность и порядок все отчеты, что будет нелегко при беспорядке, которого в комиссии много. У следователей трудно выцарапать допросы, не говоря о важных документах.

Сегодня я должен бы был быть в кадетском клубе, куда m-me Кокошкина, муж ее и В. Д. Набоков созывают несколько литераторов для решения разных предварительных вопросов о подготовке к Учредительному собранию. M-me Кокошкина убеждала меня по телефону в прелести моих стихов и моей любви к России, я же старался внушить ей, что я склоняюсь к с.-р., а втайне – и к большевизму и что, по моему мнению, сейчас именно любовь к России клонит меня к интернациональной точке зрения, и заступился за травимого всеми Горького.

Александр Александрович Блок. *Из дневника. Ночь на 1 июня 1917:*

Труд – это написано на красном знамени революции. Труд – священный труд, дающий людям жить, воспитывающий ум и волю и сердце. Откуда же в нем еще проклятые? А оно есть. И на красном знамени написано не только слово труд, написано больше, еще что-то.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 11 июня 1917 г.:*

Несмотря на то, что положение России сейчас критическое (я много знаю), я продолжаю, в общем, быть оптимистом, чего сам себе не могу объяснить.

Сегодня я весь день работал во дворце, стараясь привести в приблизительный порядок тот хаос, который там господствовал. Постепенно это удается.

Один вечер я провел в «дворцовой коммуне», где следователи без пиджаков пьют чай с вареньем. Один из них – самый талантливый (русский, специалист по «темным силам») рассказывал мне о Распутине – очень просто и глубоко.

Вчера был большой день: в крепости мы с Муравьевым и И. И. Манухиным обходили наших клиентов. Были «раздирающие» сцены. Штюрмер рылся на полу в книжонках и все, дурацки заплетаясь языком, просил у меня еще (Муравьев

ушел куда-то, и мы были вдвоем с прокурором здешней судебной палаты – кроме солдат). Протопопов дал мне свои записки. Когда-нибудь я тебе скажу, кого мне страшно напоминает этот талантливый и ничтожный человек. Сухомлинов погано всплескивает своими ладошками. Есть среди них твердые люди, к которым я чувствую уважение ‹…›, но большей частью – какая все это страшная шваль! Когда они захлебываются от слез или говорят что-нибудь очень для них важное, я смотрю всегда с каким-то особенным, внимательным чувством: революционным.

После этого мы обходили крепость: Н. А. Морозов все искал остатки того равелина, в котором он сидел. Потом мы были в заседании крепостного гарнизонного комитета (вследствие недавнего крупного скандала). Муравьев говорил речи, иногда – очень хорошо (он социалист). Товарищи отвечали, все обошлось хорошо – до следующего раза ‹…›.

Сам я погружен в тайны департамента полиции; мой Белецкий, над которым я тружусь, сам строчит – потный, сальный, в слезах, с увлечением, говоря, что это одно осталось для его души. В этой грубой скотинке есть детское.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 19 июня 1917 г.:*

Мама, ты мне прислала очень милые «кадетские» стишки (к m-lle Лурье); но меня ужасно беспокоит все кадетское и многое еврейское, беспокоит благополучием, неуменьем и нежеланьем радикально перестроить строй души и головы. Здесь, у сердца Революции, это, конечно, особенно заметно: вечные слухи и вечная паника (у кадетов она выражается в умной иронии, а у домовладельцев и мелких мещан, вроде прислуги, чиновников и пр., – в отъездах на дачу, запирании подъездов и пр.; но, по существу, разницы нет). На деле – город все время находится в состоянии такого образцового порядка, в каком никогда не был (мелкие беспорядки только подчеркивают общий порядок), и охраняется ежечасно всем революционным народом, как никогда не охранялся. Этот факт – сам по себе – приводит меня иногда просто в страшное волнение, вселяет особый род беспокойства; я чувствую страшное одиночество, потому что ни один интеллигентный человек – умнее ли он или глупее меня – не может этого понять (по крайней мере я встречаюсь с такими). Кроме того, я нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять (а именно – с социалистической психологией, совершенно, диаметрально другой), начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для

водворения порядка, для того чтобы очистить от мусора мозг страны).

Я это пишу под впечатлением дворца, в котором (в противоположность крепости) я ненавижу бывать – это царство беспорядка, сплетен, каверз, растерях.

За эти дни я был на Съезде Советов С. и Р. Д., в пленарном заседании, где Муравьев делал доклад о положении нашей работы. Перед этим говорил американец – представитель Конфедерации труда; он долго «поучал» собрание, которое сохраняло полное величие, свойственное русским (смеялись тихо, скучали не слишком заметно, для приличия аплодировали). Американец обещал всякую помощь, только бы мы воевали и учились; Чхеидзе, отвечая на это «приветствие», сказал коротко и с железным добродушием: «Вы вот помогите нам, главное, поскорее войну ликвидировать». Тут уж аплодисменты были не американские. Я думал, слушая: давно у них революции не было. Речь Муравьева, большую и довольно сухую, приняли очень хорошо – внимательно и сочувственно.

На другой день допрашивали в крепости беднягу Виссарионова и Протопопова, которого надо было развлечь (он изнервничался, запустил в поручика чайником, бился в стену головой и пр., – ужасный неврастеник). Развлекли немножко. Было очень душно, и грозы. Я работаю очень много.

Александр Александрович Блок. *Из письма Л. Д. Блок. Петроград, 21 июня 1917 г.:*

Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия. Мы так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от 300-летней болезни. Наша Демократия в эту минуту действительно «опоясана бурей» и обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном и в мелком каждый день. Я был на Съезде Советов Солдатских и Рабочих Депутатов и вообще вижу много будущего, хотя и погружен в работу над прошлым – бесследно прошедшим.

Все это – только обобщения, сводка бесконечных мыслей и впечатлений, которые каждый день трутся и шлифуются о другие мысли и впечатления, увы, часто противоположные моим, что заставляет постоянно злиться, сдерживаться, нервничать, иногда – просто ненавидеть «интеллигенцию». Если «мозг страны» будет продолжать питаться все теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом, и его вышвырнут – скоро, жестоко

и величаво, как делается все, что действительно делается теперь. Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа? А могли бы своим опытом, купленным кровью детей, поделиться с этими детьми.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 30 июня 1917 г.:*

Мама, сегодня пришло твое письмо от 24-го, т. е. опять 6 дней.

Нечего удивляться, если письма будут опаздывать, а может быть, и пропадать. Во всех ведомствах, и у Церетелли, приблизительно одно: выгнали много «опытных» чиновников, которые штрафовали, были строги и т. д. Я на это, как на многое подобное, не склонен раздражаться, так как это – революция. Если пролетариат будет иметь власть, то нам придется долго ждать «порядка», а может быть, нам и не дождаться; но пусть будет у пролетариата власть, потому что сделать эту старую игрушку новой и занимательной могут только дети. ‹…›

Эти дни было два интересных допроса (генерала Иванова и Челнокова). Остальное – заседания, «внутренняя политика» наша, в которую мне приходится втягиваться, что раздробляет силы. ‹…› В самой работе, настоящей, открываются горизонты довольно далекие, но тут уже вступает иногда моя «личная» жизнь. Так что вообще музыка усложняется. Но ведь вся жизнь наших поколений, жизнь Европы – бабочка около свечи; я с тех пор, как сознаю себя, другого не видел, не знаю середины между прострацией и лихорадкой; этой серединой будет только старческая одышка, особый род головокружения от полета, предчувствие которого у меня уже давно есть.

Насчет «продуктов» – все «хуже»; пока мне это очень полезно, иногда я ем только раз в день и чувствую себя от этого крылатей.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 12 июля 1917 г.:*

Мама, сейчас я получил твое письмо от 5 июля, на телеграмму же, посланную после, ответил срочной телеграммой в день получения (9 июля).

Сегодня в городе неприятно – висит объявление Церетелли (от министерства внутренних дел), масса команд, солдатских конных и пеших патрулей. Вообще поворот направо.

На фронте – тоже неприятно. Я за эти дни опять много всякого переживал, гулял очень много и работал также. На огромном допросе Крыжановского (интересном, так как он умный человек) мне пришлось быть секретарем и придется быть

редактором, так что – много возни с документами. В перерывах этого допроса все время врывалось новое (был день потрясающих слухов), Родичев испускал какие-то риторические вопли и плакал, Неведомский с ним сцеплялся и тоже плакал (все, разумеется, касалось «ленинцев» – здесь и на фронте). ‹…›

Опять я не вижу будущего, потому что проклятая война затягивается, опять воняет ей. Многое меня очень смущает, то есть я не могу понять, в чем дело. Всякая вечерняя газетная сволочь теперь взбесилась, ушаты помой выливаются. Сейчас я прочел в вечерней газетке (прежде всего – во французской «L'Entente»): «Le rétablissement de la peine de mort»[19]. Хотя и «на фронте», «принципиально», в «случае бегства», но все-таки это меня как-то поразило ‹…›.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 16 июля 1917 г.:*

Мама, вчера только я получил твое письмо от 4 июля, а третьего дня – тетино от 7 июля! Из писем я увидал, что вы собираетесь ехать сюда. Может быть, это под влиянием 4 июля, которое теперь ликвидировано (до следующего раза), и ты раздумала? Тут сложные вопросы: во-первых, тебе надо набраться сил и относительного спокойствия к исключительно трудной зиме, и, может быть, в Шахматове это все-таки достижимей. ‹…›

Вопрос о дровах (для всех) будет крайне труден, как и о «продовольствии». Белого хлеба здесь совсем нет, имей в виду; фунт мяса стоит 2 р. 40 к., курица – 7 р., или 2.50 фунт. Мне все это ничего, но как вам с тетей, не знаю. ‹…›

Один уезжаю, страшно люблю Шуваловский парк, как будто это – второе Шахматово и как будто я там жил, так что мне жалко уходить оттуда. Иногда на это уходит даже целый день, но, *забывая одно (работу), я, так сказать, не вспоминаю (или мало вспоминаю) другое, так что мне на следующий день легко вернуться в дело.* Вообще, если бы не работа, я бы был совершенно издерган нервно. Работа – лучшее лекарство при всей постылости, которая есть *во всякой* работе, в ней же есть нечто спасительное. *Все* является совершенно в другом свете, многое *омывается* работой. Тебе бы тоже очень надо, если бы можно было придумать.

Обобщая далее, я должен констатировать, что, как всегда бывает, после нескольких месяцев пребывания в одной полосе я несколько притупился к событиям, утратил способность расчленять, в глазах пестрит. Это – постоянное следствие утраты пафоса, в данном случае революционного (закон столь же общий, сколько личный). Поэтому я не умею бунтовать против кадет

и с удовольствием почитываю иногда «Русскую свободу», которой прежде совсем не понимал (кстати, попроси тетю привезти сюда номера, которые у нее, потому что мне продолжают присылать все; у тети, кажется, *два номера* – тонкие тетрадки). Однако я сейчас же хочу оговориться, что это – временно, так как, любя кадет по крови, я духовно не кадет и, будучи во многом (в морали и культурности) ниже их, никогда не пойду с ними; утрачивая противовес эмоциональный (ибо я, отупев к событиям, не в состоянии сейчас «осветить» их, «внедриться» в революцию – термины деп. полиции), ищу постоянно хотя бы рационального (читаю социалистические газеты, например). Но, так как качания маятника во мне медленнее, он не добрасывается эти дни до стихии большевизма (или добрасывается случайно и редко); и я несколько «отдыхаю», работая и гуляя. На будущей неделе предстоит много дела. ‹…›

Правые (кадеты и беспартийные) пророчат Наполеона (одни первого, другие третьего). В городе, однако, больше (восхитительных для меня) признаков русской лени и лишь немногие парижские сценки. Свергавшие правительство частью удрали, частью попрятались. Бабы в хвостах дерутся. Кронштадтцы, приезжавшие сюда 4 июля, в знак высшего нахальства имели ружья на веревках. Когда их арестовывали, они, главное, просили не отбирать ружей, потому что стыдно вернуться в Кронштадт не только не свергнув правительства, но и без оружия. И много такого. Когда устанешь волноваться, начинаешь видеть эту восхитительную добродушную сторону всех великих событий.

Александр Александрович Блок. *Из записной книжки 1917 г.:*

Буржуем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы и духовные. Накопление духовных ценностей предполагает предшествующее ему накопление матерьяльных. Это – «происхождение» догмата, но скоро вопрос о gšnesis'e[20], как ему и свойственно, выпадает, и первая формула остается как догмат.

Этот догмат воскресает во всякой революции, под влиянием напряжения и обострения всех свойств души. Его явление знаменует собой высокий подъем, взлет доски качелей, когда она вот-вот перевернется вокруг верхней перекладины. Пока доска не перевернулась – это минута, захватывающая дух, если она перевернулась – это уже гибель. Потому догмат о буржуа есть один из самых крайних и страшных в революции – ее высшее напряжение, когда она готова погубить самою себя.

Задача всякого временного правительства – удерживая качели от перевертыванья, следить, однако, за тем, чтобы размах не уменьшался. То есть довести закочевавшую страну до того места, где она найдет нужным избрать оседлость, и вести ее все время по краю пропасти, не давая ни упасть в пропасть, ни отступить на безопасную и необрывистую дорогу, где страна затоскует в пути и где Дух Революции отлетит от нее.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Петроград, 4 августа 1917 г.:*

‹…› Теперь здесь уже, так сказать, «неинтересно», в смысле революции. Россия опять вступила в свою трагическую (с вечной водевильной примесью) полосу, все тащат «тягостный ярем». Другими словами, так тошно, что даже не хочется говорить.

Александр Александрович Блок. *Из дневника:*

Вот что я пробовал в конце 1917 (вихрь зацветал):

плыл плыл
И шел и шел
снах
Затерян в безднах
Души скудельной
Тоски смертельной

Бросаясь в вихорь вихревой

Всадник мне навстречу
Смерть (4 раза)

Женщина на лошади – в пруд
И каждая вена чернеет
весной

Из фонтана всем телом дрожа…
Еще проба:
В своих мы прихотях невольны,
Невольны мы в своей крови.
Дитя, как горестно и больно
Всходить по лестнице любви.

(Сребристый) месяц, лед хрустящий,
Окно в вечерней вышине,
И верь душе, и верь звенящей,

И верь натянутой струне.

И начиная восхожденье,
Мы только слышим без конца
пенье
лица.

Еще ‹…›:

На белой льдине – моржий клык

К стене приемного покоя
Носилки прислонил

РУССКИЙ БРЕД

Зачинайся, русский бред…

…Древний образ в темной раке,
Перед ним подлец во фраке,
В лентах, звездах и крестах…

Воз скрипит по колее
Поп идет по солее…

Три… в автомобиле

Есть одно, что в ней скончалось
Безвозвратно,
Но нельзя его оплакать
И нельзя его почтить,
Потому что там и тут,
В кучу сбившиеся тупо
Толстопузые мещане
Злобно чтут
Дорогую память трупа –
Там и тут
Там и тут…

Так звени стрелой в тумане,
Гневный стих и гневный вздох

Плач заказан, снов не свяжешь
Бредовым

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Помню первые месяцы после Октябрьского переворота, темную по вечерам Офицерскую, звуки выстрелов под окнами квартиры А. А. и отрывочные его объяснения, что это – каждый день, что тут близко громят погреба. Помню холодное зимнее утро, когда, придя к нему, услышал, что он «прочувствовал до конца» и что все совершившееся надо «принять».

«Сегодня я – гений»

Юрий Павлович Анненков *(1889–1974), график, художник, мемуарист, первый иллюстратор поэмы А. А. Блока «Двенадцать»:*

В 1917–19 годах Блок, несомненно, был захвачен стихийной стороной революции. «Мировой пожар» казался ему целью, а не этапом. Мировой пожар не был для Блока даже символом разрушения: это был «мировой оркестр народной души». Уличные самосуды представлялись ему более оправданными, чем судебное разбирательство. «Ураган, неизменный спутник переворотов». И снова, и всегда – Музыка. «Музыка» с большой буквы. «Те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра», – говорил Блок еще в 1909 году. В 1917 году Блоку почудилось, что он ее услышал. В 1918-ом, повторив, что «дух есть музыка», Блок говорил, что «революция есть музыка, которую имеющий уши должен слышать», и заверял интеллигенцию: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте революцию». Эта фраза была ровесницей поэмы «Двенадцать».

Александр Александрович Блок:

В январе 1918-го года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией (с тем звуком органическим, которого он был выразителем всю жизнь), например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный (вероятно шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, – будь они враги или друзья моей поэмы.

Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую, пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях – природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря – легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! – Моря природы, жизни и искусства

разбушевались, брызги встали радугою над нами. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать», оттого в поэме осталась капля политики. Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец, – кто знает! – она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но – не будем сейчас брать на себя решительного суда.

Самуил Миронович Алянский:

Я задал вопрос о том, как была написана поэма «Двенадцать», и Александр Александрович охотно рассказал:

– Поэма писалась довольно быстро. Стояли необыкновенно вьюжные дни. Сначала были написаны отдельные строфы, но не в том порядке, в каком они оказались в окончательной редакции.

Блок тут же достал черновую рукопись. Я заметил, что в ней мало зачеркнутых строк, а на полях написаны варианты.

– Слова «Шоколад Миньон жрала» принадлежат Любови Дмитриевне, – сообщил Блок. – У меня было «Юбкой улицу мела», а юбки теперь носят короткие.

Александр Александрович Блок. *Из письма Ю. П. Анненкову. Петроград, 12 августа 1918 г.:*

Рисунков к «Двенадцати» я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественные мысли – мне невыразимо близки и дороги, а общее – более чем приемлемо, – т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.

Для меня лично всего бесспорнее – убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно – небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если бы мы, столь разные и разных поколений, – говорили с Вами сейчас, – мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.

Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо все вместе и чем дороже отдельные части, тем решительнее должен я спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно (с папироской); 2) с Христом.

1) «Катька» – великолепный рисунок сам по себе, наименее оригинальный вообще, думаю, что и наиболее «не ваш». Это – не Катька вовсе: Катька – здоровая, толстомордая, страстная,

курносая русская девка; свежая, простая, добрая – здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит *изящество* всей середины Вашего большого рисунка (два согнутые пальца руки и окружающее). Хорошо тоже, что крестик выпал (тоже – на большом рисунке). Рот свежий, «масса зубов», чувственный (на маленьком рисунке он – старый). «Эспри»[21] погрубее и понелепей (может быть, без бабочки). «Толстомордость» очень важна (здоровая и чистая, даже – до детскости). Папироски лучше не надо (может быть, она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет «сатириконства» (Вам совершенно чуждый).

2) О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и *уходит.* «Христос с флагом» – это ведь – «и так и не так». Знаете ли Вы (у меня – через всю жизнь), что, когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и *главное* – за ночной темнотой), то *под ним* мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как – не умею сказать). Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в «Двенадцати» (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если бы из левого верхнего угла «убийства Катьки» дохнуло густым: снегом и сквозь него – Христом, – это была бы *исчерпывающая обложка.* Еще так могу сказать.

Теперь еще: у Петьки с ножом хорош *кухонный нож* в руке; но рот опять старый. А на целое я опять – смотрел, смотрел и вдруг вспомнил: Христос… Дюрера! (т. е. нечто совершенно не относящееся сюда, *постороннее* воспоминание).

Самуил Миронович Алянский:

‹Рассказ А. А. Блока о том, как возник образ Христа в поэме «Двенадцать»»

Случалось ли вам ходить по улицам города темной ночью, в снежную метель или в дождь, когда ветер рвет и треплет все вокруг? Когда снежные хлопья слепят глаза?

Идешь, едва держась на ногах, и думаешь: как бы тебя не опрокинуло, не смело… Ветер с такой силой раскачивает тяжелые висячие фонари, что кажется – вот-вот они сорвутся и вдребезги разобьются.

А снег вьется все сильней и сильней, заливая снежные столбы. Вьюге некуда деваться в узких улицах, она мечется во все стороны, накапливая силу, чтобы вырваться на простор. Но простора нет. Вьюга крутится, образуя белую пелену, сквозь

которую все окружающее теряет свои очертания и как бы расплывается.

Вдруг в ближайшем переулке мелькнет светлое или освещенное пятно. Оно маячит и неудержимо тянет к себе. Быть может, это большой плещущий флаг или сорванный ветром плакат?

Светлое пятно быстро растет, становится огромным и вдруг приобретает неопределенную форму, превращаясь в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе.

Прикованный и завороженный, тянешься за этим чудесным пятном, и нет сил оторваться от него.

Я люблю ходить по улицам города в такие ночи, когда природа буйствует.

Вот в одну такую на редкость вьюжную, зимнюю ночь мне и привиделось светлое пятно; оно росло, становилось огромным. Оно волновало и влекло. За этим огромным мне мыслились Двенадцать и Христос.

Этот рассказ я слышал из уст А. А. Блока 12 августа 1918 года, в тот день, когда показывал ему эскизы рисунков к поэме.

Виктор Борисович Шкловский *(1893–1984), литературовед, критик:*

Христос для многих из нас неприемлем, но для Блока это было слово с содержанием. С некоторым удивлением он сам относился к концу этой поэмы, но всегда настаивал, что именно так получилось. Вещь имеет как бы эпиграф сзади, она разгадывается в конце неожиданно. Блок говорил: «Мне тоже не нравится конец „Двенадцати“. Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему же Христос? Неужели Христос? Но чем больше я вглядывался, тем явственнее я видел Христа».

Юрий Павлович Анненков:

После «Двенадцати» и «Скифов» (обе вещи были написаны в январе 1918 года) Блок, как поэт, замолчал. В конце июня 1920 года он сам сказал о себе:

«Писать стихи забывший Блок».

Поэма «Двенадцать», однако, успела пробить брешь в широкую толпу, ту толпу, которая никогда раньше Блока не читала. Поэму «Двенадцать» эта толпа опознала по слуху,

как родственную ей по своей словесной конструкции, словесной фонетике, которую вряд ли можно было тогда назвать «книжной» и которая скорее приближалась к частушечной форме. ‹…›

Несмотря на наступившее творческое молчание поэта, его популярность, благодаря «уличной» фонетике «Двенадцати», росла со дня на день.

Корнелий Люцианович Зелинский *(1896–1970), литературный критик:*

Ранней осенью 1918 года я встретил на Невском проспекте Александра Блока. Поэт стоял перед витриной продовольственного магазина, за стеклами которой висели две бумажные полосы. На них были ярко оттиснуты слова: на одной – «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», а на другой – «Революцьонный держите шаг! неугомонный не дремлет враг!» Под каждой из этих строк стояла подпись: «Александр Блок». Поэт смотрел на эти слова, словно не узнавая их, круглыми спокойно-тревожными глазами, взор которых для меня всегда был полон содержания, привлекавшего к себе, но трудно объяснимого. ‹…›

Я рассказал Блоку, что мы, несколько товарищей – филологов и медиков, – после Октябрьской революции сразу решили предложить свою помощь большевистским Советам, потому что революция это и есть сама поэзия. Именно поэзия, превратившаяся в народное действо. «Пусть день далек – у нас все те ж заветы юношам и девам…» Не вы ли писали в «Ямбах»: «Народ – венец земного цвета?»

Блок улыбнулся.

– Признаюсь, для нас радость и неожиданность, что и вы вошли в борьбу, – по-мальчишески самоуверенно продолжал я, показывая на плакаты за витриной.

– Да, – смутился Блок, – но в поэме эти слова у меня произносят или думают красногвардейцы. Эти призывы не прямо же от моего имени написаны.

Поэт будто с укоризной посмотрел на меня.

Нина Ивановна Гаген-Торн *(1900–1986), этнограф, поэт, мемуарист:*

Я хочу записать последнее цельное впечатление от Блока в Вольфиле. Было назначено на очередном заседании чтение поэмы «Двенадцать», кажется, еще до печатания. Знали об этом без афиш и пришли очень многие. Полон был молодежью вольфильский зал заседаний. Сидели на стульях, на подоконниках, на ковре. Александр Александрович вошел

вместе с Любовью Дмитриевной. Очень прямой, строгий, он сделал общий поклон и прошел к столу президиума. ‹…› Сказал четким и глуховатым голосом, повернув к сидевшим затененное, почти в силуэт, лицо: «Я не умею читать „Двенадцать“. По-моему, единственный человек, хорошо читающий эту вещь, – Любовь Дмитриевна. Вот она нам и прочтет сегодня». Он сел к столу, положив на руку кудрявую голову.

Я в первый раз видела тогда Любовь Дмитриевну и жадно всматривалась в ту, за которой стояла тень Прекрасной Дамы. Она была высока, статна, мясиста. Гладкое темное платье облегало тяжелое, плотного мяса, тело. Не толщина, а плотность мяса ощущалась в обнаженных руках, в движении бедер, в ярких и крупных губах. Росчерк бровей, тяжелые рыжеватые волосы усугубляли обилие плоти. Она обвела всех спокойно-светлыми глазами и, как-то вскинув руки, стала говорить стихи. Что видел Блок в ее чтении? Не знаю. Я увидела – лихость. Вот Катька, которая

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила –
С солдатьем теперь пошла.

Да, это она передала: силу и грубость любви к «толстоморденькой» Катьке почувствовать можно, но ни вьюги, ни черной ночи, ни пафоса борьбы с гибнувшим миром – не вышло. Не шагали люди во имя Встающего, не завывал все сметающий ветер, хотя она и гремела голосом, передавая его.

Она кончила. Помолчала. Потом аплодировали. По-моему, из любви к Блоку, не из-за чтения поэмы – она не открылась при чтении.

Николай Корнеевич Чуковский:

Помню ‹…› чтение блоковских «Двенадцати» – тоже году в двадцатом. Читал не Блок, а его жена Любовь Дмитриевна, Блок же только присутствовал на эстраде. На этот раз там стоял столик, ничем не покрытый, Любовь Дмитриевна находилась позади столика, а Блок сидел сбоку на стуле, печально опустив голову и обратив к публике свой профиль. Любовь Дмитриевна читала шумно, театрально, с завыванием, то садилась, то вскакивала. На эстраде она казалась громоздкой и даже неуклюжей. Ее обнаженные до плеч полные желтоватые руки метались из стороны в сторону. Блок молчал. Мне тогда казалось, что слушать ее ему было неприятно и стыдно.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

«…на память о страшном годе» – написал Блок на моем экземпляре «Двенадцати», а весною этого года перебирая вместе со мною возможные названия для моей книги, сказал уверенно: «Следующий сборник (после «Седого утра»), куда войдут «Двенадцать» и «Скифы», я назову «Черный день».

Георгий Петрович Блок:

– «Двенадцать» – какие бы они ни были – это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил современностью. Это продолжалось до весны 1918 года. А когда началась Красная Армия и социалистическое строительство (он как будто поставил в кавычки эти последние слова), я больше не мог. И с тех пор не пишу.

1919. Ночь в ЧК

Арон Захарович Штейнберг *(1891–1975), литератор, философ:*

Хотелось бы поделиться воспоминаниями об одном небольшом, но весьма примечательном эпизоде из последних лет жизни Блока, об эпизоде, не совсем случайным свидетелем которого мне пришлось быть. В вечер 15-го февраля 1919 года по ордеру Петроградской Чрезвычайной Комиссии А. А. Блок был арестован у себя на квартире и немедленно препровожден в помещение Комиссии на углу Гороховой и Адмиралтейского проспекта, где он и оставался до утра 17-го февраля, когда ему снова возвращена была свобода. С утра воскресенья, 16-го февраля, до самого освобождения А. А., т. е. ровно сутки, я провел с А. А. почти неразлучно в хорошо известных многим петербуржцам сводчатых комнатах № 94, 95 на верхнем этаже дома прежнего Градоначальства. Эти сутки нам пришлось провести почти неразлучно в буквальном смысле этого слова, так как из-за непомерно большого количества арестованных недобровольные жильцы этих слишком густо населенных комнат делили служившие и для сидения и для спанья койки, и появившийся в 95-ой комнате утром в воскресенье Блок, ночь спустя после моего водворения в одном из ее углов, рад был поделиться ложем с единственным еще с воли знакомым ему человеком.

Следует заметить, что и А. А., и я попали сюда по одному и тому же делу или, правильнее сказать, по одному и тому же поводу, так как дела, как это очень скоро и выяснилось, в сущности никакого и не было. Не лишним будет поэтому, быть может, предпослать самим воспоминаниям об арестованном Блоке несколько слов о тех обстоятельствах, которые привели к этой неожиданной для меня встрече с А. А. в столь необычной обстановке и которые сделали эту встречу не совсем случайной.

За три или четыре дня до ареста Блока в Москве Всероссийской Чрезвычайной Комиссией вторично, после кратковременной легализации, арестован был центральный комитет партии левых социалистов-революционеров, и началась ликвидация партийных организаций по всей России. Об этом я узнал в пятницу утром, в день моего ареста и накануне ареста Блока, от него самого, когда, явившись по обыкновению на заседание Научно-Теоретической Секции Театрального Отдела, застал там, кроме постоянных ее участников, еще и А. А., тоже работавшего в то время в Театральном Отделе и являвшегося

председателем его Репертуарной Секции. Поздоровавшись, А. А. сказал мне:

– А вы знаете, Р. В. арестован…

Он был заметно взволнован, и его слова прозвучали отрывисто.

– Как?

– Вы еще не читали сегодняшней газеты?

Тут я развернул утренний выпуск «Северной Коммуны» и прочел подробное сообщение о московских арестах в связи с раскрытием «заговора левых социалистов-революционеров»; среди арестованных было несколько хорошо мне известных имен, но об аресте в Петербурге Р. В., члена нашей Теоретической, а также Репертуарной Секции, ничего не упоминалось. Тем не менее связь обоих происшествий не вызывала сомнений.

– Надо немедленно что-либо предпринять… – снова отрывисто и решительно произнес Блок. – Я переговорю с Всеволодом Эмильевичем.

В. Э. Мейерхольд занимал должность заместителя заведывающего Театральным Отделом Народного Комиссариата по Просвещению и был наиболее близок к представителям правительственной партии. Блок тут же рассказал все подробности ареста Р. В., которые он знал от жены арестованного, и изложил свой план действий.

Волновало его больше всего то, что арестованный, как он слишком хорошо знал, был только писатель, и вся его практическая деятельность сводилась исключительно к тому, что он последовательно отстаивал свои убеждения и верования в литературе. А между тем он был арестован больной и с сильно повышенной температурой. Последнее обстоятельство особенно встревожило А. А., и он очень опасался, как бы арест и предполагавшееся отправление арестованного в Москву не отразились на нем роковым образом. Несомненная вздорность обвинения – участие Р. В. в заговоре – превращала весь этот случай в сплошную нелепость, и в то же время дело шло, как казалось А. А., не больше и не меньше, как о жизни близкого человека.

План действий Блока был прост. Близкие и литературе и правящей партии люди, и первым делом Мейерхольд, должны взять арестованного на поруки, покуда следствие, в чем никто из нас не сомневался, не выяснит совершенную непричастность Р. В. к делу, если таковое вообще существует. Вместе с тем Блок предложил устроить соединенное заседание обоих секций, в которых работал Р. В., для принятия формального

постановления о незаменимости арестованного, как работника, чтобы личное ходатайство поручителей поддержать также и ходатайством официальным. В случае неуспешности этого пути Блок предполагал обратиться еще с особой просьбой к Горькому.

Блок спустился вниз к Мейерхольду и вскоре вернулся с сообщением, что мы сейчас можем начать заседание, в котором примет участие и В. Э. Через несколько минут все были в сборе, предложение А. А. было, конечно, принято единогласно и осталось только написать самый текст постановления. Покуда секретарь составлял текст, Блок, по-прежнему проявлявший, несмотря на свою, не покидавшую его и теперь внешнюю сдержанность, все признаки сильного волнения, выкуривал одну трубку махорки за другой и, наконец, в явном нетерпении, взял лист бумаги и сам начал что-то писать, думая над каждым словом, зачеркивая, исправляя и снова восстановляя первоначально написанное. Между тем секретарь наш уже кончил и огласил проект постановления.

– Да, так лучше, – сказал А. А., – я сам хотел написать, но у меня ничего не выходит.

Постановление переписывалось на машинке. Блок интересовался, как и когда оно будет доставлено по назначению, считал недостаточным послать его по почте и успокоился на этот счет лишь тогда, когда Мейерхольд предложил немедленно отправить бумагу на Гороховую с курьером.

Бумага была приготовлена. Блок предложил лично всем на ней расписаться, заседание кончилось, но всем как-то не хотелось расходиться.

План А. А. был выполнен только отчасти. В беседе выяснилось, что никак невозможно взять арестованного на поруки без его ведома и согласия. Снестись же с ним не представлялось возможным так просто: он был строго изолирован, как, впрочем, и все арестовывавшиеся по распоряжению Чрезвычайной Комиссии.

Все были явно неудовлетворены. Наше бессилие помочь было слишком очевидно. Когда я, уходя, подал А. А. руку, он, чуть-чуть улыбаясь, сказал мне:

– Не встретимся ли мы с Р. В. гораздо скорее, чем предполагаем?

Предчувствие его очень скоро оправдалось, хотя и не вполне.

В тот же вечер ко мне на квартиру явились незваные гости с ордером Чрезвычайной Комиссии на производство обыска и на арест независимо от результатов обыска. Последнее обстоятельство сильно встревожило моих домашних.

– Не расстраивайтесь, – утешал их руководивший арестом

агент Комиссии, – у нас сегодня список большой, и все – писатели, художники, профессора.

Мне вспомнились сказанные на прощание слова.

Список действительно был большой. По крайней мере, в помещении для арестованных при Василеостровском Совете Депутатов, куда собирали арестованных на одном только Вас‹ильевском› острове, я очутился в обществе М. К. Лемке, К. С. Петрова-Водкина и А. М. Ремизова. Как на следующее утро выяснилось, мы ночевали в квартире, которую занимал прежде Ф. К. Сологуб. Из квартиры этой он был лишь недавно выселен, и Ремизов, как и Петров-Водкин, нередко здесь бывавшие, отлично ее знали. Не хватало только самого хозяина квартиры, хотя по имевшимся сведениям в списке Чрезвычайной Комиссии значился и он.

За утренним кипятком мы стали обсуждать, какие такие причины столь неожиданно собрали в столь неожиданном месте. Я рассказал о последнем соединенном заседании двух секций Театрального Отдела, и тут Петрова-Водкина осенило.

– Постойте! Постойте! – воскликнул он. – Теперь все понятно! Это не кто иной, как наш дражайший Р. В., да вот еще – Философская Академия. Но раз так, то непременно должен быть арестован и еще кое-кто, и непременно Блок. Все, миленькие, встретились; все там будем!

Упомянутая Петровым-Водкиным «Философская Академия» был тот кружок, который всего лишь за несколько дней до этого в последний раз собрался на квартире у арестованного Р. В. Это был кружок основателей будущей Вольной Философской Ассоциации, к которому с самого начала принадлежал и Блок. Догадка Петрова-Водкина оказалась правильной: весь упомянутый «длинный список», как впоследствии выяснилось, был не чем иным, как копией с списка адресов, записанных в книжке у Р. В.; при допросах же Р. В. в Москве следователем В. Ч. К. Вольная Философская Академия играла далеко не последнюю роль.

Как бы там ни было, перспектива встретиться с автором «12» на пресловутой «Гороховой» уже не казалась слишком фантастичной.

Однако, когда нас в субботу днем перевезли в трамвае туда, Блока там еще не было. Мы долго дожидались следователя. Лишь поздно вечером нас допросили, и очень скоро всех, кроме меня, отпустили. Меня же, впредь до выяснения некоторых обстоятельств, отправили наверх.

По порядку, заведенному на Гороховой, каждое утро сообщался список арестованных, препровождавшихся отсюда

в места более постоянного заключения, главным образом, на Шпалерную, в так называемую «Предварилку». И в это утро, воскресенье 17-го февраля, список был сообщен, и камеры значительно разгрузились. Многие койки освободились совершенно, и арестованные, разделявшие их с другими или не нашедшие еще себе никакого определенного пристанища, в том числе и я, начали устраиваться на новых местах. Только что я разостлал шубу на сеннике и поставил свой саквояж у изголовья, как мне бросилась в глаза высокая, статная фигура входившего Блока.

Это было до чрезвычайности странно. Весь облик Блока как-то резко выделялся на фоне этой жуткой картины человеческих бед. Одна ночь в этой совершенно особой и ни с чем не сравнимой атмосфере, в которой причудливо сплетались предсмертная тоска и робкая надежда, удалая беспечность и тяжелые сны, ужас перед неизвестностью и светлые воспоминания – одной такой ночи достаточно было, чтобы на все лица легла мрачная тень, чтобы во всех взорах загорелось одно и то же страстное желание: поскорее бы вон отсюда! подальше, подальше отсюда!

Блок вошел, как он входил обыкновенно куда-нибудь, где много случайных и незнакомых людей. Таким я видел его входящим в переполненный вагон трамвая: чуть-чуть откинутая назад голова, плотно сжатые губы, взгляд, спокойно-ищущий, на чем бы остановиться. Он вошел, как будто собираясь пройти насквозь или чтобы, сказав кому-нибудь два слова, повернуться и уйти обратно тем же легким упругим шагом, каким он вошел. И было странно видеть, как вот этот свободный в заключении человек сейчас натолкнется на глухую стену и должен будет остановиться или даже отпрянуть. Мне было как-то неловко пойти к нему навстречу, хотя после тяжелой ночи это был первый блеснувший луч.

Но взгляд его уже встретился с моим, и мы невольно улыбнулись друг другу и крепко пожали друг другу руку. Теперь я уже не просто смотрел на Блока, а удивлялся, почему с ним поступили иначе, чем с другими моими спутниками. Мы обменялись новостями.

Вот что я узнал от него: в приемную к следователю внизу он попал уже около полуночи, очевидно, очень скоро после того, как меня оттуда препроводили наверх. При личном обыске, производившемся при первой регистрации до водворения в приемную, у него из вещей, бывших при нем, забрали только записную книжку, В приемной у следователя он провел целую ночь, так как до поздней ночи следователь был занят, а затем

прервал свою работу до утра. Приемная была полна народу, не переставшего прибывать всю ночь. Всю ночь он провел поэтому почти без сна, и только какой-нибудь час поспал, растянувшись не то на скамье, не то на полу. Лишь сейчас утром его допросили, и в результате – вот он здесь.

– Да, но в чем же дело? О чем вас спрашивали? Что вы отвечали?

Его спрашивали, как и всех нас раньше, о нашей связи с партией левых социалистов-революционеров. На вопрос этот Блок ответил, что связь сводится к сотрудничеству в разных изданиях партии – и только, так что он даже не знаком ни с кем из ее политических деятелей. Но в чем же выразилось его сотрудничество? – В печатании стихов, например поэмы «12», и статей. – Что мог бы он еще прибавить к своим показаниям? – Ничего больше. Через некоторое время ему сообщено было, что освободить его не могут, и его отправили сюда наверх.

– Придется посидеть, – с виноватой как бы улыбкой сказал А. А.

Между тем освободившиеся после утренней разгрузки койки уже все давно были разобраны, а народ все прибывал. Приходили одиночки, как и Блок, направляемые сюда снизу разными следователями; появлялись и небольшие новые партии, переведенные из разных других мест заключения для дальнейших допросов; среди тех и других были и такие, которые отсюда могли быть отправлены прямо на казнь.

Камера гудела, как улей. Тут все были и знакомы и незнакомы друг с другом. Во всяком случае, одно каждый верно знал о каждом, что нет тут ни одного, кто согласился бы остаться здесь добровольно хотя бы одну лишнюю минуту. Это всех как-то уравнивало и стирало все различия умственного уровня, привычек прошлого, все различия возможного будущего. Все приведены были к какому-то одному общему знаменателю. Были же тут люди самые различные. Среди знакомств, которые быстро завязались здесь у Блока, были представлены все классы общества – от генерала и до пьяного извозчика, служившего в Чека, от профессорского сына, высокопросвещенного ценителя новейших муз до неграмотного ямбургского крестьянина, превосходившего всех лишь в одном искусстве – непрерывно сквернословить. Были тут и спекулянты, и взяточники, и убийцы, и честные революционеры, и просто ни в чем не повинные люди. Но все эти знакомства начали завязываться у Блока несколько попозже. Покуда что мы стояли безмолвно у стола подле моей койки, присматриваясь и прислушиваясь и с лихорадочной поспешностью выкуривая папиросу за папиросой.

– А видите, – вдруг обратился ко мне А. А., – третьего дня я верно подумал, что история с Р. В. коснется и нас. – И сейчас же, как бы почувствовав некоторую естественную между нами в этой обстановке близость, он прибавил:

– Можно мне на время остаться здесь?

Так мы стали соседями по тюремной койке.

За время, прошедшее с раннего кипятка до появления Блока, у меня уже составился обширный круг знакомств в этом хаотическом и непрерывно текущем миру. Некоторые знакомства завязались еще внизу, в приемной у следователя. Покуда Блок, растянувшийся на нашей койке, дремал после бессонной ночи, я присел к столу, за которым сидело несколько политических. Это были все левые с-ры, рабочие и матросы, которых в эти дни арестовывали десятками. Они уже знали, что и я арестован в связи с измышленным заговором левых социалистов-революционеров, и естественно заинтересовались также и моим знакомым, только что поселившимся в моем углу. Я назвал Блока.

Трудно передать их изумление, когда они услышали это имя.

– Не может быть! Не может быть! – все повторял моряк Ш., годами сидевший в тюрьмах дореволюционных и уже успевший познакомиться и с тюрьмами революционными. – Впрочем, все может быть, – прервал он самого себя, – только знаете, это фактик не только биографический, но и исторический!

Матрос Ш. сам был немного литератор, он подробно изучал историю революционного движения среди моряков и даже кое-какие результаты своих исследований успел напечатать. Другие товарищи его не так быстро справились с подвернувшейся им трудной задачей.

– Но позвольте, однако, товарищ, – обратился ко мне один из рабочих, – ведь товарищ Блок сочинил «12» – так?

– Ну, конечно.

– А это вещь какая: революционная или контрреволюционная?

– Думаю, что революционная.

– Как же революционная власть может товарища Блока сажать на Гороховую?

Я предпочел ответить вопросом:

– А вы-то сами, товарищ, революционер или контр-революционер?

Он улыбнулся, радуясь наперед моей легкой победе над ним:

– Ну, уж вы меня не обижайте: и без того обидно.

– То-то! – сказал я.

– То-то! – повторил он, и все весело засмеялись кругом.

Между тем весть о том, что здесь известный писатель Блок,

уже успела облететь обе камеры и вокруг нашего стола собралась целая куча народу. Многие спрашивали, где он, и на цыпочках подходили к койке, на которой он дремал, чтобы взглянуть на него, и снова отходили в раздумьи, односложно делясь своими впечатлениями. Не все они знали о нем раньше, хотя бы понаслышке, многие только слышали о нем и уже совсем не многие читали его. Эти последние были почти исключительно политические. Но всем было как-то отрадно знать, что вот здесь, на этой «Гороховой, два» вместе со всеми «известный писатель», и, взглянув на него, все уже потом с участием, которое сохранилось к нему весь этот день до самого его освобождения, подходили к нему, чтобы как-нибудь выразить свое доброе чувство.

Очевидно, сам внешний облик Блока внушал всем, что именно таким должен быть собою «известный писатель», и что это человек, во многом отличный от других.

Покуда А. А. дремал, я оставался героем всей камеры. Но вот он очнулся и подошел к нам. Немедленно завязался диспут. Затеял его бывший кавалерийский офицер С., и вот по какому поводу.

С. прославился на войне необыкновенно лихим набегом в глубокий тыл германского расположения. Об этом подвиге в свое время писали во всех газетах, а фотография героя обошла все иллюстрированные приложения. С. считал себя поэтому большой знаменитостью и, знакомясь с кем-нибудь из арестованных, он произносил свою фамилию с гордостью, ожидая как будто немедленного изъявления преклонения и восторга. Но, конечно, мало кто знал так точно хронику войны, и в большинстве случаев лихому кавалеристу приходилось самому как-нибудь заводить разговор о войне и о ее героях. Внимание, которое привлекал к себе Блок, пришлось ему не совсем по вкусу. Когда Блок подошел к нашему столу, С. немедленно представился.

– Какова ирония судьбы! – сказал он. – Моя фамилия С. – повторил он. Блок промолчал.

– Вы может быть слышали о деле… – и он назвал какое-то число 15-го года, и тут же еще раз рассказал про блестящий подвиг, им совершенный.

– Так вот я говорю: как будто бы нам с Вами место не здесь, а на самом деле – как раз наоборот, и я всем это объясняю, хотя и никто не хочет согласиться. Ведь социализм – это что? Равенство, так? – Равенство! Ну, так значит ни у кого никаких знаков отличия быть не должно. Вот у меня забрали полученного мною, не скажу, чтоб не по заслугам, Георгия и совершенно

справедливо! Вот вы пишете стихи и пользуетесь заслуженной известностью – это тоже своего рода Георгий, значит забрать вас!

Блок спросил его:

– А вас разве за то арестовали, что вы отличились на войне?

– За то или не за то – моя фамилия С., и в этом все дело.

– Ну, батенька, – сказал один из моряков социалистов-революционеров. – И мнение же у вас про социализм… – и он энергично начал характеризовать прежнее офицерство, войну и ее прославленные подвиги. Блок заступился за кавалериста, на которого начали уже наседать со всех сторон.

– Вы к нему несправедливы, – сказал он, – существует и такое представление о социализме. Еще большой вопрос, какое представление о нем победит в жизни. Он повторяет не только белогвардейские слова, но и слова некоторых из социалистов.

– Такой социализм наш худший враг, – сказал моряк Ш.

– Однако, – возразил А. А. – вот же вы говорите это не на свободе, а в тюрьме.

– Верно, Александр Александрович, вы правы. Товарищ С. не так уж глупо рассуждает!

– Однако, – обратился ко мне А. А., – шигалевщина действует: и прямо, и навыворот.

Приближался час обеда; все разбрелись к своим койкам составлять «пятерки». Дело в том, что обед заключенные получали не каждый в отдельности, а сразу пять человек в одной большой деревянной миске. Заключенным самим предоставлялось разбиваться для этого на партии по пяти человек. Приходилось отказываться от «буржуазных» привычек. В Блоке, только что узнавшем про обеденные порядки, боролись привычная брезгливость с сильным аппетитом.

– А вы будете обедать? – спросил он меня.

– Да, я думаю, как все.

– А знаете, было бы хорошо с этими настоящими товарищами, – сказал А. А., – они все какие-то чистые.

Это действительно было так. Среди пестрой массы арестованных политические отличались не только выражением своего лица, но и поразительной чистоплотностью. Арестованные моряки и рабочие, между тем, уже взяли нас, неопытных «интеллигентов», под свое покровительство. К нам подошел моряк Ш.

– А вы все еще ни к кому не пристроились? Хотите к нам, А. А.?

– Если можно…

Мы стали в очередь, и Ш. начал подробно объяснять Блоку, почему он рад видеть его здесь:

– Писатели всё должны видеть своими глазами. Кто сможет сказать, что он пережил русскую революцию, если он ни разу не побывал в Чрезвычайке. Вот теперь вы и с этой стороны увидели дело.

– Но с этой стороны я никогда не хотел видеть революцию, – возразил Блок.

– Значит, вас интересует только парад!

– Нет, не парад, – снова возразил Блок, – а настоящая правда, здесь разве она есть?

Они явно не понимали друг друга и говорили о двух разных правдах. Блок с усмешкой обратился ко мне:

– Вот вам случай пофилософствовать по-настоящему. Но философствовать нам в данную минуту уже не пришлось. Уже суп был налит в нашу миску, мы получили каждый по куску хлеба и по деревянной ложке и вернулись к нашему столу. У всех нас были кое-какие собственные запасы, и мы выложили их тут же на стол. Затем мы приступили к исполнению обряда: каждый по очереди опускал ложку в миску, на дне которой плавали кусочки конины, и, проглотив свою ложку супу, дожидался, пока очередь снова дойдет до него. Все мы, очевидно, были одинаково «деликатны», и, когда миска опорожнилась, вся конина оказалась в неприкосновенности на дне.

– Эх, деликатные вы! – сказал рабочий П. и тут же взял газетный лист, оторвал от него пять лоскутов бумаги, достал свой перочинный нож и стал накладывать каждому по равному числу кусочков мяса.

Блок раскраснелся от горячей похлебки; вся обеденная церемония, видимо, привела его в хорошее расположение и, с трудом разжевывая жесткую конину, он начал шутить:

– Зачем же вы, товарищ П., себе тоже положили на бумажку, могли бы свою порцию оставить в миске.

– Нет, это уже оставьте! По-товарищески так по-товарищески, чтоб всем было одинаково…

Обед кончился. Большинство арестованных растянулось на койках. К Блоку подошел хорошо одетый господин и, поклонившись, торжественно произнес:

– Позвольте представиться! Ваш искреннейший почитатель! – Начала их разговора я не слышал; А. А. убедил меня расположиться посвободнее на койке, и я задремал.

Когда я, приблизительно через час, проснулся, господин с хорошими манерами, прислонившись к столу, все еще беседовал вполголоса с Блоком, сидевшим на краю койки у моих ног, или правильнее, господин все еще продолжал говорить, а Блок молча его слушал.

– Понимаете, Александр Александрович, – говорил искреннейший почитатель Блока, – для меня между внешним видом книги и ее внутренним содержанием дисгармония немыслима: переплет – это как бы аккомпанемент к стихам. Ну вот, например, «Ночные часы» – вы понимаете, как трудно подобрать тон кожи; иль решить вопрос: одноцветный корешок или же под цвет обреза. Совершенно ясно, например, что «Ночные часы» не допускают золотого обреза. Да, но какой же? Наконец я остановился на голубовато-синем. Знаете, такого цвета, как плащ у Мадонны Леонардо. Вы согласны со мной, Александр Александрович?

– Да, разумеется.

– Ах, Александр Александрович, если б вы знали, что для меня значит:

«Не жаль мне дней, ни радостных, ни знойных,
Ни лета зрелого, ни молодой весны»!

И он почти шепотом декламировал одно стихотворение за другим.

– Или это, например:

«Она ждала и билась в смертной муке».

– Как вы много знаете наизусть, – сказал А. А., – пожалуй, больше моего.

А искреннейший почитатель, ободренный похвалой Блока, то вполголоса, то снова совсем шепотом продолжал читать и читать стихи, перемежая их отрывками из своей собственной биографии. Когда он, наконец, растроганный и утомленный, отошел к одному из своих ближайших товарищей по несчастью (он с двумя спутниками был задержан при попытке переправиться через финляндскую границу), Блок, повернувшись ко мне, сказал:

– А вы знаете, за такое добродушие невольно прощаешь все! И притом они все теперь в такой беде. Жалко, что ему не удалось перебраться за границу.

Наступили сумерки. В первой камере уже зажгли электричество. Кое-где играли в карты. Распивали чай. Много курили. Некоторые из политических, к которым за это время успели прибавиться еще два правых эс-эра-интеллигента, вели разговоры на злобу дня. В их углу было наиболее шумно, и внимание Блока невольно обратилось в ту сторону. Среди

споривших выделялась высокая видная фигура стройного старика в военной форме. Он молча и внимательно прислушивался к спору, до поры до времени снисходительно и иронически улыбаясь. Его строгое лицо, бритое, с коротко остриженными усами, казалось удивительно знакомыми.

– Вы не знаете, кто это такой? – спросил меня Блок. – Я как будто где-то видел его. Это как будто кто-то из видных жандармских генералов.

В это время свет подали и в нашу камеру, и при ярком освещении фигура казавшегося столь знакомым незнакомца еще резче выделилась среди болезненного вида рабочих и изможденных лиц интеллигентов.

– Он как будто исполняет работу последнего из своих подчиненных, – заметил Блок. И в самом деле, этот несомненно бывший сановник как будто подслушивал с очень прозрачной целью горячие речи споривших между собою правых и левых эс-эров. Они же не обращали никакого внимания на него, и постепенно лицо его так и застыло с язвительной улыбкой на губах. Блок не сводил с него глаз:

– Это первое определенно неприятное лицо, которое я вижу здесь, – сказал он. Сановник, как будто почувствовав пристально устремленный на него взгляд, повернул голову в нашу сторону, и глаза его встретились со взглядом Блока. Он быстро отвел их, лицо его изобразило какую-то полупрезрительную гримасу, и он, наклонившись к ближайшему своему соседу, стал его о чем-то расспрашивать.

– Он вами также заинтересовался, – сказал А. А.

– Какое старорежимное лицо, – задумчиво произнес Блок. Тут к нам с приглашением на «чашку чаю» подошел левый эс-эр матрос Д., и Блок пересел к другому столу. Я же принял вызов сразиться в шахматы и часа на два потерял А. А. из виду.

Когда я после боя вернулся в наш угол, Блок сидел за столом с юным матросом, который рассказывал ему о разных своих похождениях. Арестован он был за то, что заступился на рынке за какую-то обиженную милицией бабу: ему пригрозили, он выхватил револьвер, милиционеры набросились на него, побили, а при обыске у него в кармане нашли левоэсэровскую прокламацию. Так и он приобщен был к «заговору левых эс-эров».

– Эх, – сказал он, поднимаясь с табуретки, – самое верное средство – это проспать до лучших времен. Отправляюсь в дальнее плавание – и он протянул руку, как если бы он действительно собирался в далекое путешествие.

– Он милый, – сказал А. А. – Какие они все милые!

– А вы не скучали?

– Нет, знаете, тут много очень интересного.

К нам подошел правый эс-эр О.

– Блок, неправда ли? И вы среди заговорщиков? Блок улыбнулся.

– Я старый заговорщик.

– А я не левый, я правый эс-эр.

Блок ответил, как бы возражая:

– А я совсем не эс-эр.

– Однако заговорщик?

– Да, старый заговорщик, – с прежней улыбкой ответил А. А.

К нам присоединился новый собеседник, всего только недавно попавший в нашу обитель, с которым я успел познакомиться за шахматной доской. Это был молодой помещик Ж. из лицеистов, кажется сын адмирала, уже не только с хорошими, но далее с изысканными манерами.

– А я, – обратился он ко мне, возобновляя прерванный разговор, – все-таки не могу понять, как образованный человек может быть социалистом.

Блок улыбнулся. Ж., уже знавший, кто такой Блок, обратился прямо к нему:

– Вы улыбаетесь? Простите, мы незнакомы, но ведь тут поневоле приходится sans façon[22]. Неужели вы не согласны?

– Нет, не согласен. Почему вы так думаете?

– Но помилуйте, – воскликнул Ж., – ведь социализм нельзя себе и представить без égalité[23]. Но неужели и вы будете утверждать, что все одинаково умны, одарены, талантливы? Я думаю, что вся наша беда в том, что мы слишком скромны. В России образованное сословие всегда хотело опуститься до уровня массы, а не возвысить ее до себя. Теперь за это расплачивается вся Россия.

– Не думаю, чтоб мы были слишком скромны, – сказал Блок, – да и неизвестно еще, расплачивается ли Россия.

– Да, я слышал, что вы революционер. Но вы, кажется, меньшевик?

В глазах Блока блеснул веселый огонек.

– Нет, – сказал он, – я не меньшевик, да и вообще ни к какой партии не принадлежу.

– А я никогда не слышал, чтобы были беспартийные революционеры.

А. А. рассмеялся:

– По-вашему, бывают только беспартийные контр-революционеры?

Молодой человек отошел разочарованный. Блок сказал:

– Опять шигалевщина навыворот!

Время проходило довольно быстро. Вскоре после ужина все окончательно разбрелись по своим углам, и мы с А. А. также улеглись на нашу общую койку.

– Как вы думаете, что с нами будет? – спросил А. А.

– Я думаю, – сказал я, – что вас очень скоро отпустят, а мне еще придется посидеть и, вероятно, переселиться на Шпалерную.

– А у меня такое предчувствие, – сказал Блок, – что мы с вами еще долго будем так вместе. Когда я пришел утром сюда наверх, я справился, нет ли здесь Р. В., но мне сказали, что его уже отсюда перевели. Быть может, мы нагоним его там, на Шпалерной; а затем вероятно в Москву? Это длинная история.

Я еще раз попросил его рассказать подробно о разговоре со следователем; выходило так, что его сдержанность и лаконичность, да еще пожалуй то, что он в изданиях преследуемой партии помещал не только стихи, но и статьи, – что это было единственным основанием для иного отношения к нему, чем к другим задержанным накануне писателям. Самое неблагоприятное впечатление, несомненно, произвела его лаконичность; так лаконично во все времена отвечали следователям и инквизиторам лишь самые заклятые враги всякой святой и светской инквизиции.

– А Горький знает о вашем аресте?

– Да, знает и наверное сделал все, что в его силах; но очевидно, что в данном случае и он ничему помочь не может. Уже прошли целые сутки.

Половина ламп была потушена. Все кругом спали или собирались заснуть, кое-где раздавались стоны: это кошмары напоминали забывшимся о страшной действительности. В каком-то углу слышно было стрекотание: перебранка из-за просыпанной нечаянно на пол махорки. Не спал и не пытался заснуть лишь тот старик с «старорежимным лицом», как охарактеризовал его Блок, который с своей стоявшей у противоположной стены койки все время то поглядывал в нашу сторону, то снова поднимал глаза к потолку, о чем-то тревожно думая. Он снова привлек внимание А. А.

– А это ведь несомненно жандармский генерал, и ему грозит большая беда. Но его даже почти как-то не жалко. Мне раньше казалось, что я его где-то видел, но нет, это просто тип бросился в глаза. Ведь я много их видел почти в таком же положении.

И Блок стал мне рассказывать о своей работе в Верховной Следственной Комиссии при Временном Правительстве. К сожалению, я не помню точно характеристик отдельных деятелей старого режима, которые он давал при этом; эти

характеристики заключались большей частью в одном-двух эпитетах, сразу намечавших профиль. Иногда он попутно касался и представителей нового правительства. Меня заинтересовало, какое впечатление на Блока производил сам А. Ф. Керенский.

– В нем было нечто демоническое, – сказал Блок, – и в этом тайна его обаятельности.

– Но что же это за демон? – спросил я. – Уж во всяком случае не «глухонемой».

– О нет, – сказал Блок, – такова, например… – И он назвал имя одной известной писательницы. – Среди женщин таких много, среди мужчин их почти не встречаешь.

– Ну, а среди старорежимных сановников вы заметили нечто подобное?

Тут Блок стал подробно объяснять, по каким мотивам он взял на себя работу в Следственной Комиссии: он никак не мог убедить себя, что весь старый уклад один сплошной мираж, и ему хотелось проверить это на непосредственном опыте. Но опыт этот привел его к результату еще более крайнему: что все это было не только миражом, но какою-то тенью от тени, каким-то голым и пустым местом.

– У этих людей ничего не было за душою. Они не только других обманывали, но и самих себя, и главное, продолжали настойчиво себя обманывать и после того, как все уже раскрылось с полной очевидностью. Единственный человек, быть может, у которого душа не совсем была мертва, – это была Вырубова. Да и вообще, среди них распутницы были гораздо человечнее. Но общая картина – страшная.

– Ну, а теперь разве лучше? – сказал я. Блок задумался, затем, приподнявшись на локте и как бы в чем-то извиняясь, сказал:

– Я думаю все-таки, что лучше.

– Ну, вольнодумство и любомудрие как встарь, так и поныне не признаются гражданскими добродетелями, – сказал я, имея в виду, между прочим, и потерпевший крушение план наш об учреждении свободной Философской Академии.

Разговор перешел на отдельных участников нашего кружка и, в связи с теми или иными лицами, на занимающие их планы, на их чаяния и разочарования. Блок при этом проявлял исключительную субъективность и говорил не столько о людях, сколько о непосредственном чувстве, которое они и их проявления в нем вызывали.

Беседа наша затянулась часов до трех, и мы прерывали ее несколько раз только для того, чтобы побороть то и дело снова надвигавшуюся опасность – клопов. А. А. лежал ближе к стенке и самым педантичным образом уничтожал их, сползавших

откуда-то сверху по свежевыбеленной стене.

Наконец, утомление взяло верх, мы пожелали друг другу покойной ночи, и А. А. скоро заснул крепким сном. Как сейчас помню эти ставшие вдруг огромными глазные впадины, слегка раскрытый рот, всю голову, запрокинутую назад с выражением бесконечной усталости и какой-то беспомощности. При отпевании в церкви лицо Блока отдаленно напоминало своим выражением тот образ, который запечатлелся у меня в ночь, когда я, переутомленный впечатлениями дня, еще долго не мог заснуть и, размышляя бог знает о чем, вглядывался в черты этого ставшего мне на минуту столь близким человека. Все как будто спали; не спал, кроме меня, один только генерал с «старорежимным лицом».

– Товарищ Блок!

Человек во всем кожаном громко назвал имя и ждал отклика, но «товарищ Блок» спал крепко и не откликался. Я указал агенту на А. А., а сам не без труда разбудил его.

– Вы товарищ Блок?

– Я.

– К следователю!

Блок поднялся и молча, протирая глаза, пошел вслед за ним.

Было около четырех ночи. Я не сомневался, что этот поздний вызов может означать только скорое освобождение, и мне хотелось дождаться возвращения А. А. за вещами. ‹…›

Блоку вернули взятую у него записную книжку, потребовали кое-каких объяснений по поводу некоторых адресов и записей, сказали, что дело его скоро решится, и отправили обратно наверх. Он сам, как и при первом допросе, ни о чем не спрашивал.

‹…›

Проснулись мы довольно поздно. В камере жизнь уже шла своим обычным порядком, уже начали готовиться к очередной отправке на Шпалерную, когда снова появился особый агент и, подойдя к Блоку, сказал:

– Вы – товарищ Блок? Собирайте вещи… На освобождение!

Затем он с таким же сообщением направился к «генералу». Блок быстро оделся, передал оставшийся еще у него кусок хлеба, крепко пожал руку моряку Щ., матросу Д., рабочему П. и попросил передать привет не оказавшемуся по близости «искреннейшему почитателю». Мы расцеловались на прощание.

– А ведь мы с вами провели ночь совсем как Шатов с Кирилловым, – сказал он.

Он ушел.

Так кончилось кратковременное заключение того, кто

называл себя сам в третьем лице – «торжеством свободы».

Прощание

Всеволод Александрович Рождественский:

Весною 1921 года всех удивила весть о предстоящем выступлении А. А. Блока на литературном вечере, целиком посвященном его творчеству. Афиши известили город о том, что вечер этот состоится в Большом драматическом театре и что со вступительным словом выступит К. И. Чуковский. Билеты оказались разобранными задолго до назначенного дня. Театр был переполнен. Послушать Блока пришли люди различных литературных поколений, все его давние и новые друзья. ‹…›

Антракт, предшествующий выступлению самого Блока, томительно затянулся. Чтобы несколько отвлечь Александра Александровича от внезапно овладевшей им мрачной задумчивости, друзья привели к нему известного в городе фотографа-портретиста М. С. Наппельбаума. Он должен был сделать снимок. Блок протестовал, но слабо и нерешительно.

– Может быть, это и в самом деле нужно, – недоуменно говорил он окружающим. – Но только не мне. Я не люблю своего лица. Я хотел бы видеть его иным.

Портрет все же был сделан и скоро стал широким достоянием всех друзей блоковской музы. С него глядят прямо на зрителя светлые глаза, чуть подернутые туманом усталости и грусти. Только где-то там, в глубине светится ясная точка пытливого ума. Живое, но уже отгорающее лицо!

Таким Блок и вышел на сцену. Читал он слабым, тускловатым голосом и, казалось, без всякого воодушевления. Произносимые им слова падали мерно и тяжело. В зале стояла напряженная тишина. Ее не нарушали и аплодисменты. Они были не нужны. Каждое тихое слово Блока отчетливо, веско доходило до самых дальних рядов.

Блок остановился на мгновение, как бы что-то припоминая. И в ту минуту, слышно для всего зала, долетел до него с галерки чей-то юный, свежий голос:

– Александр Александрович, что-нибудь для нас!..

И хором поддержали его другие юные голоса.

Блок поднял лицо, впервые за весь вечер озарившееся улыбкой. Он сделал несколько шагов к рампе и теперь стоял на ярком свету. Он выпрямился, развернул плечи и словно стал выше. Теперь это был уже совсем другой человек. Голос его поднялся, и что-то упорное, даже властное зазвенело в его глуховатом тембре. Он читал «Скифы». ‹…›

Зал театра гремел в рукоплесканиях. Блок стоял неподвижно,

почти сурово, и вся его поза выражала твердую решимость.

Рукоплескания все гремели. Зал поднялся, как один человек. Блок тихо наклонил голову и медленно ушел за кулисы. На вызовы он не появлялся.

Моисей Соломонович Наппельбаум *(1869–1958), фотограф:*

Зал Большого драматического театра был полон. Блок читал много стихов. Он был элегантен, изящен, с белым цветком в петлице, но все-таки чувствовалось, что он болен… Черты исхудавшего его лица были обострены, особенно нос, а глаза казались огромными, полными страдания. Но то не были лишь физические страдания больного человека. Это было нечто большее. Я обратил внимание на блеск его глаз: в них я увидел горение поэта. Мне вдруг показалось, что он видит нечто никому не видимое, и мне захотелось запечатлеть этот сосредоточенный, устремленный внутрь себя взгляд его расширенных, блестящих зрачков. Привлекла меня и рука Блока, узкая в запястье, тонкие длинные пальцы художника. Вместе с тем и в руках его ощущалась болезненность. Во время съемки за кулисы пришли молодые поэты. Они молча следили за фотографированием. А. Блок, сидя перед аппаратом, освещенный яркой лампой, безмолвно улыбался им навстречу.

После съемки молодежь окружила поэта, просила выслушать их стихи. Он сказал: «Очень хорошо, только принесите мне написанные, я на слух не умею» – и с улыбкой показал на ухо.

Самуил Миронович Алянский:

Московские вечера Блока были назначены на первые числа мая, и, хотя Александр Александрович чувствовал себя еще нездоровым, он готовился к поездке.

1 мая 1921 года Блок выехал в Москву. Там ему предстояло выступить с чтением стихов в Политехническом музее, в Союзе писателей, в Доме печати, в Итальянском обществе Данте Алигьери и еще где-то, не помню. Вместе с Блоком в Москву был приглашен Корней Иванович Чуковский, который должен был выступать на вечерах с докладом о творчестве поэта. Я тоже поехал в Москву по просьбе Александра Александровича и его близких, на случай, если ему понадобится чем-нибудь помочь. Мать и жену беспокоило нездоровье Блока. ‹…›

В дороге Александр Александрович жаловался на боли в ноге. ‹…›

3 мая состоялся первый вечер Блока в Москве, в Политехническом музее, а 5 мая – там же второй. Я был на этих

вечерах и видел, как Блок нервничал и волновался. Несмотря на громадный успех, сопровождавший оба вечера, поэт не чувствовал ни радости, ни удовлетворения, он жаловался на недомогание и крайнюю усталость.

Когда Блок выступал в Доме печати, а потом в Итальянском обществе, я, чем-то занятый, на эти выступления не попал. А о скандале, который разыгрался в Доме печати, узнал от самого Александра Александровича на следующий день, когда мы встретились с ним на Новинском бульваре. Блок пришел туда, как мы условились. Он плохо выглядел и опять жаловался на усталость.

Блок рассказал, что из Политехнического музея его на машине привезли в Дом печати. Там он был тепло встречен, прочитал несколько стихотворений и собирался уже уходить в Итальянское общество, где его ждало еще одно, третье в этот вечер, выступление, как вдруг кто-то из публики крикнул, что прочитанные им стихи мертвы. Поднялся шум. Крикнувшему эти слова предложили выйти на эстраду. Тот вышел и пытался повторить брошенные слова или объяснить их, но кругом было так шумно, что невозможно было ничего разобрать. Друзья Блока, опасаясь, что он может попасть в свалку, окружили его плотным кольцом, провели к выходу и всей толпой проводили в Итальянское общество.

Казалось удивительным, что Блок рассказывал об этом скандале с полным равнодушием. В его рассказе не было даже намека на недовольство или раздражение, будто скандал этот не имел к нему никакого отношения. Больше того – когда я, возмущенный безобразной выходкой, сказал что-то нелестное о выступившем, Александр Александрович взял его под защиту: он стал уверять меня, что человек этот прав.

– Я действительно стал мертвецом, я совсем перестал слышать.

Мария Александровна Рыбникова:

Насилуя себя, больной, жестко-мрачный, вышел он на эстраду аудитории Политехнического музея. Читал он в тот вечер много, но как-то безразлично, не выбирая стихов: ему, видимо, было все равно. Слали записки, просили еще и еще. Он снова выходил, останавливался. Поднимал правую руку, проводил слабо концами пальцев по лбу, вынимал записную книжку, заглядывал и снова читал. И было так ясно: больной, безмерно усталый, лицо без улыбки, страдальческая маска. И единственное, что он прочел тогда, жутко заполонив дыхание ему внимавших, это и было первое стихотворение Цикла «Пляски смерти»… Впечатление мое,

помню, не было эстетического порядка, – это было нечто иное, но сильнейшее и незабываемое. Было ясно и внятно: он – про себя!

Самуил Миронович Алянский:

С каждым днем пребывания Александра Александровича в Москве самочувствие его ухудшалось: он все чаще жаловался на слабость и усталость.

Однажды я откуда-то возвращался вместе с Блоком. Мы шли по от Арбатских ворот по Арбату – совсем недалеко. Когда мы поравнялись с домом, в котором он остановился в этот приезд, он сказал, что едва дошел – так устал, что не знает, хватит ли ему сил дойти до лестницы и подняться до квартиры. Я проводил его и ушел в надежде, что за ночь он отдохнет и усталость пройдет. Но когда утром на следующий день я зашел за ним и спросил его о самочувствии, он сказал, что, должно быть, серьезно болен: усталость и боли в ногах не проходят и не дают покоя.

Иван Никанорович Розанов *(1874–1959), литературовед, фольклорист, библиофил, исследователь русской поэзии XVIII–XIX вв.:*

Меня поразила мрачность его репертуара. 5 мая, несмотря на усиленные просьбы слушателей, он категорически отказался прочесть «Двенадцать». Запомнился ряд концовок прочитанных им стихотворений:

Доколе матери тужить –
Доколе коршуну кружить.

Или:

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней!

Или:

Что тужить? Ведь решена задача:
Все умрем!

Произнесение им этих строк главным образом осталось в памяти.

В дневнике у меня записано, что в публике были Пастернак и Маяковский.

Александр Александрович Блок. *Из письма Н. А. Нолле-Коган. Петроград, 8 января 1921 г.:*

Я бесконечно отяжелел от всей жизни, и Вы помните это и не думайте о 99/100 меня, о всем слабом, грешном и ничтожном, что во мне. По во мне есть, правда, 1/100 того, что надо было передать кому-то, вот эту лучшую мою часть я бы мог выразить в пожелании Вашему ребенку, человеку близкого будущего. Это пожелание такое: пусть, если только это будет возможно, он будет человек мира, а не войны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное семью годами ужаса. Если же это невозможно, если кровь все еще будет в нем кипеть, и бунтовать, и разрушать, как во всех нас, грешных, – то пусть уж его терзает всегда и неотступно прежде всего совесть, пусть она хоть обезвреживает его ядовитые, страшные порывы, которыми богата современность наша и, может быть, будет богато и ближайшее будущее.

Поймите, как я говорю это, говорю с болью и с отчаянием в душе; но пойти в церковь все еще не могу, хотя она зовет. Жалейте и лелейте своего будущего ребенка; если он будет хороший, какой он будет мученик, – он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней.

Болезнь и смерть

Любовь Дмитриевна Блок:

Когда Саша вернулся из Москвы, я встречала его на вокзале с лошадью Белицкого. Увидела его в окно вагона, улыбающегося. Ноги болели, но не очень; мы шли под руку, он не давал мне нести чемодан, пока не взял носильщик. День был хороший, мы ехали и разговаривали.

Была наша пронзительная нежность, радость видеть опять, за натянутостью после этой несчастной зимы. Настроение после первых часов опять стало мрачное и подавленное, и когда в один из дней до 17-го ‹мая› я уговорила его пойти со мной погулять по нашим любимым местам (по Пряжке к Мойке, к Неве, к переезду, назад – мимо Франко-русского завода), был солнечный день, росла молодая трава, Нева синяя, – все, что мы любили, – он не улыбнулся *ни разу* – ни мне, ни всему; этого не могло быть прежде.

17-го ‹мая›, вторник, когда я пришла откуда-то, он лежал на кушетке в комнате Александры Андреевны, позвал меня и сказал, что у него, вероятно, жар; смерили – оказалось 37,6; уложила его в постель; вечером был доктор. Ломило все тело, особенно руки и ноги – что у него было всю зиму. Ночью плохой сон, испарина, нет чувства отдыха утром, тяжелые сны, кошмары (это его особенно мучило). Вообще состояние «психики» мне показалось сразу ненормальным; я указывала на это доктору Пекелису; он соглашался, хотя уловить явных нарушений было нельзя. Когда мы говорили с ним об этом, мы так формулировали в конце концов: всегдашнее Сашино «нормальное» состояние – уже представляет громадное отклонение для простого человека, и в том – было бы уже «болезнь». Его смены настроения – от детского, беззаботного веселья к мрачному, удрученному пессимизму, несопротивление, никогда, ничему плохому, вспышки раздражения с битьем мебели и посуды… (После них, прежде, он как-то испуганно начинал плакать, хватался за голову, говорил: «Что же это со мной? Ты же видишь!» В такие минуты, как бы он ни обидел меня перед этим, он сейчас же становился ребенком для меня, я испытывала ужас, что только что говорила с ним, как со взрослым, что-нибудь как с взрослого ждала и требовала, сердце разрывалось на части, я бросалась к нему, и он так же по-детски быстро поддавался успокаивающим, защищающим рукам, ласкам, словам – и мы скоро опять становились «товарищи».) Так вот теперь, когда все эти проявления болезненно усилились, они составляли только

продолжение здорового состояния – и в Саше не вызывали, не сопровождались какими-нибудь клиническими признаками ненормальности. Но будь они у простого человека, наверно, производили бы картину настоящей душевной болезни.

Мрачность, пессимизм, нежелание – глубокое – улучшения и страшная раздражительность, отвращение ко всему – к стенам, картинам, вещам, ко мне. Раз как-то утром он встал и не ложился опять, сидел в кресле у круглого столика, около печки. Я уговаривала его опять лечь, говорила, что ноги отекут, – он страшно раздражался, с ужасом и слезами: «Да что ты с пустяками! Что ноги, когда мне сны страшные снятся, видения страшные, если начинаю засыпать…» При этом он хватал со стола и бросал на пол все, что там было, в том числе большую голубую кустарную вазу, которую я ему подарила и которую он прежде любил, и свое маленькое карманное зеркало, в которое он всегда смотрелся, когда брился и когда на ночь мазал губы помадой (белой) или лицо – борным вазелином. Зеркало разбилось вдребезги. Это было еще в мае; я не смогла выгнать из сердца ужас, который так и остался, притаившись на дне, от этого им самим нарочно разбитого зеркала. Я про него никому не сказала, сама тщательно все вымела и выбросила.

Вообще у него в начале болезни была страшная потребность бить и ломать: несколько стульев, посуду, а раз утром, опять-таки, он ходил, ходил по квартире в раздражении, потом вошел из передней в свою комнату, закрыл за собой дверь, и сейчас же раздались удары, и что-то шумно посыпалось. Я вошла, боясь, что себе принесет какой-нибудь вред; но он уже кончал разбивать кочергой стоявшего на шкапу Аполлона. Это битье его успокоило, и на мое восклицание удивления, не очень одобрительное, он спокойно отвечал: «А я хотел посмотреть, на сколько кусков распадется эта грязная рожа».

Большое облегчение ему было, когда (уже позже, в конце июня) мы сняли все картины, все рамки, и все купил и унес Василевский (Лев Маркович. – *Сост.*). Потом мебель – часть уносилась, часть разбивалась для плиты.

Самуил Миронович Алянский:

Александр Александрович перемогался всю вторую половину мая и почти весь июнь. Потом он слег и пытался работать, сидя в постели. Болезнь затягивалась, и самочувствие неизменно ухудшалось. Однако Любовь Дмитриевна и все, кто заходил в эти дни на Офицерскую узнать о здоровье Блока, надеялись на выздоровление, никто не думал о грозном исходе болезни.

Один Александр Александрович, должно быть,

предчувствовал свой скорый уход. Он тщательно готовился к нему и беспокоился, что не успеет сделать всего, что наметил, и поэтому торопился.

Блок упорно боролся с усталостью и очень огорчался, что силы так скоро покидают его. ‹…›

Болезнь продолжала прогрессировать. Настал день, когда Александр Александрович не мог совсем вставать с постели. Доктор заявил, что больному необходимы санаторные условия, особое питание и что нужно непременно уговорить Александра Александровича согласиться на хлопоты о заграничном санатории.

О поездке для лечения за границу велись разговоры и раньше, когда Блок был еще на ногах, но Александр Александрович все время решительно отказывался что-нибудь предпринимать для этого. Он не видел большой разницы между эмигрантством, которое ненавидел, и поездкой для лечения.

Теперь, когда состояние Блока ухудшилось и организм его ослаб, ослабло и сопротивление поэта. Теперь он уже соглашался на поездку, но просил только, чтобы это было не дальше Финляндии.

Продолжая ежедневно приходить на Офицерскую, я пытался чем-нибудь помочь Любови Дмитриевне – она совсем сбилась с ног: ей самой приходилось раздобывать нужные продукты, приготовлять питание для больного, следить за тем, чтобы не упустить время приема лекарства, – словом, забот было много, всего не перечислить. К этому надо добавить, что Александр Александрович никого не желал видеть и, кроме Любови Дмитриевны, никого к себе не допускал. На этом, кстати сказать, настаивал и доктор Пекелис. Конечно, я не мог рассчитывать на исключение и был рад, если мне удавалось хоть что-нибудь сделать для больного.

Но вот однажды, спустя дней десять после того, как Александр Александрович окончательно слег, Любовь Дмитриевна, выйдя из комнаты больного, улыбаясь, сообщила мне, что Саша просит меня зайти к нему, что он чувствует себя немного лучше и что она воспользуется временем, пока я буду у больного, чтобы сбегать куда-то, что-то достать. В улыбке Любови Дмитриевны, да и в самом ее приглашении опять мелькнула надежда. Но вместе с тем неожиданное приглашение к больному как бы парализовало меня: я растерялся и не мог двинуться с места.

– Что же вы сидите? Идите к Александру Александровичу. Он ждет вас!

Кажется, я никогда так не волновался, как в этот раз, когда

входил в комнату Блока. За те дни, что мы не виделись, он изменился: похудел и был очень бледен. Он полусидел в постели, обложенный подушками.

Улыбнувшись, Александр Александрович предложил придвинуть стул поближе к постели, пригласил сесть и просил рассказать ему новости. Спросил, в каком положении набор его книги «Последние дни императорской власти» и что с «Записками мечтателей». Выслушав ответы, он сказал, что, с тех пор как совсем слег, почти ничего не может делать.

И вдруг вопрос:

– Как вы думаете, может быть, мне стоит поехать в какой-нибудь финский санаторий? – И добавил: – Говорят, там нет эмигрантов.

А спустя несколько дней Любовь Дмитриевна, открывая мне дверь, поспешно повернулась спиной. Я успел заметить заплаканные глаза. Она просила меня подождать, и, как всегда, я прошел в маленькую комнату, бывшую раньше кабинетом Блока. Скоро Любовь Дмитриевна вернулась и сказала, что сегодня Саша очень нервничает, что она просит меня, если не спешу, посидеть: быть может, понадобится моя помощь – сходить в аптеку.

Но не прошло и десяти минут, вдруг слышу страшный крик Александра Александровича. Я выскочил в переднюю, откуда дверь вела в комнату больного. В этот момент дверь раскрылась, и Любовь Дмитриевна выбежала из комнаты с заплаканными глазами. Она бросилась на кухню и разразилась громким плачем.

– Что случилось?

Любовь Дмитриевна ничего не ответила, только махнула мне рукой, чтобы я ушел. В комнате больного было тихо, и я ушел обратно в кабинет Блока, служивший теперь мне местом ожиданий, тревог и волнений.

Немного погодя я услышал, как Любовь Дмитриевна вернулась к больному. Пробыв там несколько минут, она пришла ко мне и рассказала, что произошло. Она предложила Александру Александровичу принять какое-то лекарство, и тот отказался, она пыталась уговорить его. Тогда он с необыкновенной яростью схватил горсть склянок с лекарствами, которые стояли на столике у кровати, и швырнул их с силой о печку.

Этот рассказ сквозь слезы Любовь Дмитриевна неожиданно закончила восклицанием:

– Опять приступ! Если б вы знали, как это страшно!

По рассказам Любови Дмитриевны, таких приступов было несколько. После них обычно наступали спокойные дни, и тогда нам опять хотелось верить в выздоровление.

В наступившие спокойные дни Блок чувствовал себя

настолько хорошо, что смог опять приняться за работу. Александр Александрович все чаще приглашал меня к себе.

Я привык уже к похудевшему, изменившемуся лицу поэта. Он забрасывал меня самыми различными вопросами: о моих личных делах, о делах издательства, интересовался, с кем встречаюсь, что делается в «книжном пункте» Дома искусств, где я работал по совместительству, – словом, интересовался положительно всем.

Наконец я принес Блоку долгожданные гранки его книги «Последние дни императорской власти». Он обрадовался, просил оставить их, обещая прочитать в два-три дня. Блок точно выполнил обещание: через два дня он вернул мне, как всегда, тщательно исправленную корректуру.

За корректурой я пришел утром. Блока я застал свободно сидящим в постели, он даже не прислонялся к подушкам, как прежде. Он казался бодрым, весело улыбнулся и, передавая корректуру, сделал какое-то указание. Я обратил внимание, что вокруг, на одеяле, были аккуратно разложены записные книжечки. Их было много. Я спросил Александра Александровича, чем это он занимается. Блок ответил, что просматривает свои записные книжки и дневники, а когда я заметил несколько книжек, разорванных надвое, а в другой стопке – отдельно выдранные странички, я спросил о них. Блок совершенно спокойно объяснил, что некоторые книжки он уничтожает, чтобы облегчить труд будущих литературоведов, и, улыбнувшись, добавил, что незачем им здесь копаться.

Не знаю, был ли это у Блока приступ болезни, или, наоборот, это был разумный акт поэта, уходящего навсегда и заглянувшего в будущее. В тот момент, несмотря на спокойное, улыбающееся лицо, Блок показался мне безумцем. Встревоженный, я вышел из комнаты и рассказал все, что увидел, Любови Дмитриевне, попросив ее немедленно отнять эти книжки, спасти их.

Любовь Дмитриевна испуганно сказала:

– Что вы, разве это возможно? Второй день он занимается дневниками и записными книжками, все просматривает, – какие-то рвет на мелкие части целиком, а из некоторых вырывает отдельные листки и требует, чтобы тут же, при нем, я сжигала все, что он приготовил к уничтожению, в печке, возле которой стояла кровать.

Если бы я мог предположить, что Блок уничтожает дневники и записные книжки в припадке раздражения, тогда факт уничтожения меня не удивил бы. Но это происходило на моих глазах, внешне Блок оставался совершенно спокоен и даже весел. И этот «безумный» акт в спокойном состоянии особенно потряс

меня.

Вспомнились первые дни после приезда из Москвы. Блок казался здоровым, бодрым, веселым; недавних болей и усталости как не бывало. Вспоминаю день за днем, с чего все это началось. Сначала просмотр оставшихся чем-то памятных и любимых книг, потом веселая прогулка в детство (детские журналы); драгоценные воспоминания о дальних поездках, Италия (альбомы путешествий).

После этого вспомнились слова о том, что, помимо книжного шкафа, ему необходимо просмотреть подготовленное к изданию собрание сочинений и привести в порядок архив. И вот наконец очередь дошла до архива, до дневников и записных книжек.

Как систематически и точно выполняется задуманный план, будто поэт подводит всему итоги.

Уж не прощается ли он со всем, что наполняло его жизнь?

Какая длинная цепь прощальных актов!.. Последние числа июля. Александр Александрович чувствует себя значительно хуже. О состоянии больного узнаю у Любови Дмитриевны, но она очень скупа на рассказы, ее заплаканные глаза говорят больше, чем могли бы сказать слова.

Я прихожу ежедневно, а иногда и по два раза в день. В маленьком кабинете Блока жду, когда из комнаты больного выйдет Любовь Дмитриевна, жду, не пригласит ли он к себе. Про себя повторяю все, что приготовил рассказать ему, все, что его может интересовать или развлечь.

Ловлю себя на том, что приготовленные рассказы очень походят на те, которыми мы обычно занимаем больных детей, когда хотим овладеть их вниманием, завоевать расположение…

А в комнате больного тихо, необычно тихо. И кажется, что Любовь Дмитриевна слишком долго не выходит. Уж не вздремнула ли она там? Очень усталый, измученный вид у нее.

Вдруг она показывается в дверях, внешне совсем спокойная, будто каменная. Но едва только дверь за ней закрывается, она быстро идет в кухню, и оттуда доносится знакомый приглушенный плач.

Я подумал: какая она сильная! Ведь только что от постели больного. Там она оставалась, вероятно, спокойной, возможно, даже улыбалась.

1 августа пришел днем. Открывая дверь, Любовь Дмитриевна говорит шепотом:

– Плох, очень плох, – и на распухшем лице – слезы. И опять скрылась на кухню.

Я прошел в свою комнату ожидания. Я знал, что, как только Любовь Дмитриевна успокоится, непременно придет с каким-

нибудь поручением. Ждать пришлось долго: впрочем, когда ждешь, всегда кажется, что время тянется долго.

Дверь в комнату больного несколько раз открывалась в закрывалась. Наконец Любовь Дмитриевна приходит, внешне совершено спокойная.

– Саша просит вас зайти к нему, – сказала она и расплакалась, уже не скрывая слез.

Она, должно быть, понимала, что больной зовет меня, чтобы попрощаться.

Около десяти дней я не видел Александра Александровича, не ждал и сегодня этого свидания, не подготовился к нему, испугался. Продолжал сидеть.

– Идите, идите, – подбадривая меня, сказала Любовь Дмитриевна…

Александр Александрович лежал на спине. Страшно худой. Черты лица обострились, с трудом узнавались. Тяжело дышит. Лицо удивительно спокойное. Голос совсем слабый, глухой, едва можно было уловить знакомую интонацию.

Он пригласил меня сесть, спросил, как всегда, что у меня, как жена, что нового. Я что-то начал рассказывать и скоро заметил, что глаза Блока обращены к потолку, что он меня не слушает. Я прервал рассказ и спросил, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь.

– Нет, благодарю вас, болей у меня сейчас нет, вот только, знаете, слышать совсем перестал, будто громадная стена выросла. Я ничего уже не слышу, – повторил он, замолчал и, будто устав от сказанного, закрыл глаза.

Я понимал, что это не физическая глухота.

Я не знал, что мне делать. Мне было очень горько, хотелось сказать ему ласковые, добрые, утешительные слова. Но слова не шли, какой-то ком сдавил горло, – боялся, не сдержусь, расплачусь.

Я понимал, что сижу у постели умирающего, близкого и очень дорогого мне человека, но мне не верилось, что он может умереть, надеялся, должно быть, на чудо.

Мне показалось, что долго сижу.

Александр Александрович тяжело дышит, лежит с закрытыми глазами, должно быть, задремал. Наконец решаюсь, встаю, чтобы потихоньку выйти. Вдруг он услышал шорох, открыл глаза, как-то беспомощно улыбнулся и тихо сказал:

– Простите меня, милый Самуил Миронович, я очень устал.

Это были последние слова, которые я от него услышал.

Больше я живого Блока не видел.

Евгения Федоровна Книпович:

К началу августа он уже почти все время был в забытьи, ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забуду. Ему впрыскивали морфий, но это мало помогало…

Георгий Владимирович Иванов:

Блок был уже без сознания. Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? – «Люба, хорошенько поищи, и сожги, все сожги». Любовь Дмитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал: заставлял жену клясться, что она его не обманывает, вспомнив об экземпляре, посланном Брюсову, требовал везти себя в Москву. – «Я заставлю его отдать, я убью его…»

Самуил Миронович Алянский:

Вечером 3 августа доктор Пекелис вышел из комнаты больного с рецептом в руках. Жена осталась с больным.

На мой вопрос, как больной, Пекелис ничего не ответил, только развел руками и, передавая мне рецепт, сказал:

– Постарайтесь раздобыть продукты по этому рецепту. Вот что хорошо бы получить. – И он продиктовал: – Сахар, белая мука, рис, лимоны.

4 и 5 августа я бегал в Губздравотдел.

На рецепте получил резолюцию зам. зав. Губздравотделом, адресованную в Петрогубкоммуну. В субботу 6 августа заведующего не застал. Пошел на рынок и купил часть из того, что записал. Рецепт остался у меня.

В воскресенье 7 августа утром звонок Любови Дмитриевны:

– Александр Александрович скончался. Приезжайте, пожалуйста…

Александр Георгиевич Пекелис *(ум. 1922), доктор, лечивший Блока. 27 августа 1921 г.:*

Впервые я был приглашен к А. А. весной 1920 г. по поводу лихорадочного недомогания. Нашел я тогда у него инфлуэнцу с легкими катаральными явлениями, причем тогда же отметил невроз сердца в средней степени… Это было в апреле 1920 года.

В мае текущего года я снова увидел А. А. Он рассказал о своей поездке в Москву и о недомогании там, которое, по его словам, выражалось слабостью, болями в ногах, головной болью и вообще лихорадочным состоянием. Пришлось даже обращаться к местному врачу.

При исследовании я обнаружил следующее: температура 39, жалуется только на общую слабость и тяжесть головы; со стороны сердца увеличение поперечника влево на палец и вправо на ½, шум не резкий у верхушки и во втором межреберном промежутке справа, аритмии не было, отеков тоже. Со стороны органов дыхания и кровообращения ничего существенного не обнаружено.

Тогда же у меня явилась мысль об остром эндокардите как вероятном источнике патологического процесса, быть может, стоящего в непосредственной связи с наблюдавшимся у больного в Москве заболеванием, по-видимому, гриппозного характера.

Принятые меры не дали, однако, улучшения, процесс заметно прогрессировал; помимо этого стали обнаруживаться еще тягостные симптомы значительного угнетения нервно-психической сферы.

По моей инициативе была созвана консультация при участии профессора П. В. Троицкого и доктора Э. А. Гизе, признавших у больного наличие острого эндокардита, а также и психастению. Назначено строгое постельное содержание впредь до общего улучшения. Для специального же лечения сердца и рациональной терапии нервно-психического аппарата было признано необходимым отправить больного в одну из заграничных санаторий, лучше всего в ближайшую Финляндию, – ‹в› Grankulla (у Гельсингфорса). Тогда же (в начале июня), тотчас после консультации, возбуждено было соответствующее ходатайство.

К глубокому сожалению, процесс упорно выявлял тенденцию к ухудшению. Моя задача сводилась, главным образом, к поддержанию сил больного, в частности – сердца, настолько, чтобы стало возможным переправить его в санаторию…

‹…› Между тем процесс роковым образом шел к концу. Отеки медленно, но стойко росли, увеличивалась общая слабость, все заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики, главным образом в смысле угнетения; иногда, правда, бывали редкие светлые промежутки, когда больному становилось лучше, он мог даже работать, но они длились очень короткое время (несколько дней). Все чаще овладевала больным апатия, равнодушие к окружающему.

У меня оставалась слабая надежда на возможность встряски нервно-психической сферы, так сказать, сдвига с «мертвой точки», на которой остановилась мыслительная деятельность больного, что могло бы произойти в случае перемещения его в совершенно новые условия существования, резко отличные от обычных. Такой «встряской» могла быть только заграничная поездка в санаторию… Все предпринимавшиеся меры лечебного характера

не достигали цели, в последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметно таял и угасал и, при все нарастающих явлениях сердечной слабости, тихо скончался.

В заключение невольно напрашивается вопрос: отчего такой роковой ход болезни? Оставляя, по понятным причинам, точный ответ об этиологии данного процесса в стороне, мне кажется, однако, возможным высказать такое предположение. Если всем нам, в частности, нашему нервно-психическому аппарату, являются в переживаемое нами время особые повышенные требования, ответчиком за которые служит сердце, то нет ничего удивительного в том, что этот орган должен был стать «местом наименьшего сопротивления» для такого вдумчивого, проникновенного наблюдателя жизни, глубоко чувствовавшего и переживавшего душой все то, чему его «свидетелем Господь поставил», каким был покойный А. А. Блок.

Георгий Владимирович Иванов:

Врачи, лечившие Блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его быстро падавшие без явной причины силы, потом, когда он стал, неизвестно от чего, невыносимо страдать, ему стали впрыскивать морфий… Но все-таки от чего он умер? «Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем». Эти слова, сказанные Блоком на пушкинском вечере, незадолго до смерти, быть может, единственный правильный диагноз его болезни.

Похороны

Евгения Федоровна Книпович:

Перед отъездом я по телефону узнала о смерти и побежала на Офицерскую… В первую минуту я не узнала его. Волосы черные, короткие, седые виски; усы, маленькая бородка; нос орлиный. Александра Андреевна сидела у постели и гладила его руки… Когда Александру Андреевну вызывали посетители, она мне говорила: «Пойдите к Сашеньке», и эти слова, которые столько раз говорились при жизни, отнимали веру в смерть…

Нина Николаевна Берберова:

Я шла по Бассейной в Дом Литераторов. ‹…› Я вошла в парадную дверь с улицы. Было пусто и тихо. Через стеклянную дверь, выходившую в сад, была видна листва деревьев (Дом Литераторов, как и Дом Искусств, помещался в чьем-то бывшем особняке). И тогда я увидела в черной рамке объявление, висевшее среди других: «Сегодня, 7 августа, скончался Александр Александрович Блок». Объявление еще было сырое, его только что наклеили.

Чувство внезапного и острого сиротства, которое я никогда больше не испытала в жизни, охватило меня. Кончается… Одни… Это идет конец. Мы пропали… Слезы брызнули из глаз.

– О чем вы плачете, барышня? – спросил худенький, маленький человек с огромным кривоватым носом и прекрасными глазами. – О Блоке?

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Я увидел его в шестом часу вечера 8 августа, на столе, в той же комнате на Офицерской, где провел он последние месяцы своей жизни. Только что сняли с лица гипсовую маску. Было тихо и пустынно-торжественно, когда я вошел; неподалеку от мертвого, у стены, стояла, тихо плача, А. А. Ахматова; к шести часам комната наполнилась собравшимися на панихиду.

А. А. лежал в уборе покойника с похудевшим, изжелта-бледным лицом; над губами и вдоль щек проросли короткие темные волосы; глаза глубоко запали; прямой нос заострился горбом; тело, облеченное в темный пиджачный костюм, вытянулось и высохло. В смерти утратил он вид величия и принял облик страдания и тлена, общий всякому мертвецу.

Нина Николаевна Берберова:

Панихида была назначена в пять часов, я пришла минут

на десять раньше. Так вот что предстояло мне в этот тоскливый день! Тоскуя и не зная, куда себя девать, я не могла предугадать, что этот день – число и месяц – никогда не забудутся, что этот день вырастет в памяти людей в дату и будет эта дата жить, пока живет русская поэзия. Большой, старый и давно не ремонтированный дом. Вход из-под ворот. Лестница, дверь в квартиру полуоткрыта. Вхожу в темную переднюю, направо дверь в его кабинет. Вхожу. Кладу цветы на одеяло и отхожу в угол. И там долго стою и смотрю на него.

Он больше не похож ни на портреты, которые я храню в книгах, ни на того, живого, который читал когда-то с эстрады:

Болотистым, пустын… –

волосы потемнели и поредели, щеки ввалились, глаза провалились. Лицо обросло темной, редкой бородой, нос заострился. Ничего не осталось, ничего. Лежит незнакомый «труп». Руки связаны, ноги связаны, подбородок ушел в грудь. Две свечи горят, или три. Мебель вынесена, в почти квадратной комнате у левой стены (от двери) стоит книжный шкаф, за стеклом корешки. В окне играет солнце, виден зеленый покатый берег Пряжки. ‹…› Я вижу входящих, но мало кого знаю – только месяца через два я опознала всех.

По-бабьи подпершись рукой, Павлович, склонив голову, долго смотрит ему в лицо. Опухшая от слез, светловолосая, чернобровая, мелькает Е. Книпович, входят Ю. П. Анненков, мать Блока и Любовь Дмитриевна вслед за ней. Ал. Ан. крошечная, с красным носиком, никого не видит. Л. Д. кажется мне тяжелой, слишком полной. Пришел священник, облачается в передней, входит с псаломщиком. Это – первая панихида. Уже во время нее я вижу М. С. Шагинян, потом несколько человек входят сразу (К. Чуковский, Замятин). Всего человек двенадцать – пятнадцать. Мы все стоим по левую сторону и по правую от него – одни между шкафом и окном, другие между кроватью и дверью. Мариэтта Шагинян много лет спустя написала где-то об этих минутах: «Какая-то девушка принесла первые цветы». Замятин тоже упомянул об этом. Других цветов не было, и мои, вероятно, пролежали одни всю первую ночь у него в ногах.

Мария Андреевна Бекетова:

Первая панихида была в 5 час. вечера. Но еще до панихиды с утра весть о кончине поэта разнеслась по Петербургу, и квартира покойного стала наполняться народом. Приходили не только друзья и знакомые, но совершенно посторонние люди.

Между прочим, певец Ершов, живший в одном доме с Блоками, и другие соседи их по квартире. Мариэтта Шагинян одна из первых принесла цветы, которые положила к телу покойного. Пришел Бенуа, Лурье – многие из тех, кто встречался с Ал. Ал. только вне его дома. Многие плакали навзрыд…

Вскоре тело поэта было засыпано цветами. Погода была жаркая, все окна открыты. Большой Драматический театр взял на себя украшение казенного гроба, присланного покойному: его обили глазетом и кисеей. В числе присутствовавших был артист Монахов, которому еще так недавно произносил свое приветствие усопший поэт. Пришли литераторы, пришла, разумеется, и Вольфила с Ивановым-Разумником во главе. Все были глубоко потрясены этой ранней, трагической смертью. Между прочим, привез роскошную корзину гортензий Ионов.

В то время, как тело лежало на столе, несколько художников сделали с него карандашные снимки. Лучшим из них, действительно очень хорошим, тогда как другие не удались, оказался рисунок матери Люб. Дм. – Анны Ивановны Менделеевой. Он долго висел на стене той комнаты, где скончался поэт и куда перешла после его смерти его вдова. Позднее была снята маска и слепок руки покойного. Есть также и фотографии, снятые с него в гробу.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

На следующий день, около шести часов вечера, пришлось мне, вместе с несколькими другими из числа бывших в квартире, поднять на руках мертвого А. А. и положить его в гроб. К тому времени еще больше высохло тело, приобретя легкость, несоразмерную с ростом и обликом покойного; желтизна лица стала густой, и темные тени легли в его складках; смерть явственно обозначала свое торжество над красотою жизни.

Евгения Федоровна Книпович:

Место на кладбище я выбрала сама – на Смоленском, возле могилы деда, под старым кленом…

Самуил Миронович Алянский:

Александр Александрович скончался в воскресенье 7 августа, и только во вторник 9 августа стало известно, что похороны могут состояться утром 10 августа.

Объявление о смерти и похоронах Блока поместить в газеты было уже поздно, оно в лучшем случае появилось бы в день похорон.

Организации, взявшие на себя похороны поэта – Дом

искусств, Дом ученых, Дом литераторов, Государственный Большой драматический театр, – и издательства «Всемирная литература», Гржебина и «Алконост» решили попытаться срочно отпечатать и расклеить по городу афишу с извещением о времени похорон Блока.

Тысячу экземпляров афиши удалось напечатать в театральной типографии на Моховой за четыре часа, и к семи часам вечера 9 августа афиша была расклеена на главных улицах Петербурга. Расклейщикам помогала большая группа студентов Петербургского университета.

Вечер был светлый. Небольшая афиша на голубой бумаге, напечатанная жирным черным шрифтом, привлекала внимание прохожих.

Люди останавливались, группами обсуждали горестное сообщение, а некоторые, прочитав, молча, поспешно расходились.

Константин Александрович Федин *(1892–1977), писатель:*

Раз поздно вечером на каком-то заборе по соседству с газетами мне бросилась в глаза мокрая от клея маленькая афиша. Невзрачный зеленовато-серый клок бумаги, наверно, не остановил бы внимания, если бы не траурная рамочка, его окаймлявшая, и если бы не одно слово, напечатанное покрупнее: «Блок». Я подошел к афише и не помню, сколько раз принимался прочитать ее как следует, от начала до конца, и все никак не мог, возвращаясь к началу и опять где-то застревая. Смысл афиши был уловлен сразу, но мне, вероятно, хотелось считать, что я его не понял.

ДОМ ИСКУССТВ, ДОМ УЧЕНЫХ,
ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР,
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА», ГРЖЕБИНА И «АЛКОНОСТ»

ИЗВЕЩАЮТ, ЧТО 7 АВГУСТА В 10/2 ЧАСОВ УТРА
скончался
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК

Вынос тела из квартиры (Офицерская, 57, кв. 23)
на Смоленское кладбище состоится в среду
10 августа, в 10 часов утра.

Самуил Миронович Алянский:

А примерно с девяти часов вечера, в канун похорон,

на Офицерской, у дома, где жил Блок, уже собирался народ. Всем хотелось попрощаться, отдать последний долг, поклониться поэту.

Очередь к гробу растянулась далеко по Офицерской.

Люди медленно со двора поднимались по узкой лестнице. Взволнованные, они проходили мимо гроба, низко кланялись праху поэта, укладывали цветы и, роняя слезы, выходили, уступая дорогу другим.

Лицо покойного за болезнь так изменилось, что в гробу его невозможно было узнать.

К моменту выноса перед домом собралась громадная толпа людей. У многих в руках были цветы.

Печальная процессия направилась по Офицерской улице мимо сгоревшей в первые дни революции тюрьмы «Литовский замок», мимо Мариинского театра, через Николаевский мост (теперь мост Лейтенанта Шмидта) и дальше – по линиям Васильевского острова – на Смоленское кладбище. Из массы людей, стоявших на тротуарах, многие присоединялись к процессии.

Весь путь от дома на Офицерской до кладбища, около шести километров, близкие и друзья Александра Александровича высоко несли открытый гроб на руках.

Мария Андреевна Бекетова:

Похороны состоялись 10 августа. Гроб, утопавший в цветах, всю дорогу до Смоленского кладбища несли на руках литераторы. В числе их был и брат по духу поэта – Андрей Белый. В первую минуту забыли положить на гроб крышку; когда процессия уже двинулась и кто-то крикнул, что надо закрыть гроб крышкой, все отвечали: «Не надо». И так и несли тело усопшего в открытом гробу до самого кладбища. В великолепный солнечный день двигалась громадная процессия, запрудившая всю Офицерскую от дома поэта до Алексеевской ул. Гроб несли ровно и дружно, и на виду у всех было тело поэта, украшенное живыми цветами.

Отпевали его в церкви Воскресения, стоящей при въезде на Смоленское кладбище. День похорон, как и день смерти поэта, оказался праздничным. В церкви пели обедню Рахманинова, исполнял ее хор Филармонии, тот же хор пел и на панихидах. Похороны были прекрасные во всех отношениях: торжественные, красивые и благоговейные. По пути на Смоленское мешали только фотографы, бесцеремонно распоряжавшиеся толпой и отдававшие какие-то наглые приказания.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

И – последнее впечатление от Блока в гробу – в церкви на Смоленском кладбище, перед выносом гроба и последним целованием: темнеющий под неплотно прилегающим венчиком лоб, слабо приоткрытые, обожженные уста и тайна неизбытой муки в высоко запрокинутом мертвом лице.

Мария Андреевна Бекетова:

Никто не произносил речей на могиле поэта. Его похоронили рядом с могилой его тетки Е. А. Красновой, против могилы бабушки Бекетовой, поставили простой, некрашеный крест и украсили могилу цветами и венками. И долго еще, до самых морозов, не переводились на этой могиле свежие цветы. Близкие находили на ней чьи-то стихи, обращенные к поэту.

Краткая летопись жизни и творчества А. А. Блока

1880, 16 ноября (28 ноября). В Санкт-Петербурге в «ректорском доме» Петербургского университета (Васильевский о-в, Университетская наб., 9) родился Александр Александрович Блок. Отец поэта – Александр Львович Блок (1852–1909), юрист, философ, профессор Варшавского университета по кафедре государственного права. Мать поэта – Александра Андреевна Бекетова-Блок (1860–1923), литератор, переводчица.

1881 – зимой 1881. А. Л. Блок возвращается в Варшаву. А. А. Бекетова-Блок с сыном остается в Петербурге, в доме родителей. Зимой семья живет в Петербурге, летом – в Шахматове, имении А. Н. Бекетова (Клинский уезд, Московская губ. Ныне – Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А. А. Блока).

1889, 24 августа. По указу Священного Синода расторгнут брак родителей Блока.

1889, 17 сентября. А. А. Бекетова-Блок вторично выходит замуж за офицера лейб-гвардии гренадерского полка Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттуха (1860–1920). Александра Андреевна с сыном переезжает на квартиру Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттуха (Петербургская сторона, наб. Большой Невки, казармы лейб-гвардии гренадерского подка). Здесь Блок будет жить до осени 1906 г.

1891, 27 августа. Принят в 1-й класс Санкт-Петербургской Введенской (позднее – имени Петра Великого) гимназии (Большой пр. Петербургской стороны, д. 37/39).

1894, январь. Становится «редактором-издателем» домашнего рукописного журнала «Вестник», привлекает к сотрудничеству двоюродных и троюродных братьев. В 1894–1897 гг. Блок подготовил 37 номеров журнала.

1897, май – июнь. Поездка с матерью и тетушкой, Марией Андреевной Бекетовой, в Германию, на курорт Бад-Наугейм. Знакомство с Ксенией Михайловной Садовской. Встречи с ней продолжались в Петербурге в 1897–1900 гг.

1897, зима. Мечтает стать актером, он увлечен игрой В. П. Далматова и М. А. Дальского, занимается декламацией и мелодекламацией, участвует в любительских спектаклях. Изучает роль Ромео.

1898, 30 мая. Оканчивает Введенскую гимназию, получает аттестат зрелости.

1898, начало июня. Приезжает в Шахматово. Будучи послан с поручением в соседнее имение Боблово, принадлежащее семье Менделеевых, встречает Любовь Дмитриевну Менделееву.

1898, июль – август. Домашние спектакли в Боблове с участием Блока и Л. Д. Менделеевой. *1 августа* – сыграны сцены из трагедии У. Шекспира «Гамлет» (Гамлет – Блок, Офелия – Л. Д. Менделеева).

1898, начало августа. Поездка в Дедово, имение Михаила Сергеевича Соловьева, педагога, переводчика, младшего брата философа Владимира Сергеевича Соловьева.

1898, 31 августа. Становится студентом 1-го курса юридического факультета Петербургского университета.

1899, август. В Шахматове читает журнал «Северный вестник», впервые знакомится с «новой литературой» (в том числе с произведениями Д. С. Мережковского, Ф. К. Сологуба, Н. Минского и др.). Особо отмечает повесть З. Н. Гиппиус «Зеркала».

1900, осень. Первая (неудачная) попытка опубликовать стихи в журнале «Мир Божий».

1901, 14 апреля, Пасха. Получает в подарок от матери книгу В. С. Соловьева «Стихотворения» и портрет философа.

1901, май. Знакомится с поэзией В. Я. Брюсова.

1901, 6 сентября. Начало учебы на 1-м курсе славяно-русского отделения историко-филологического факультета Петербургского университета.

1901, 17 октября. Начало романа с Л. Д. Менделеевой.

1902, январь. Работает над «Стихами о Прекрасной Даме».

1902, 26 марта. Знакомство с З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским.

1902, сентябрь – октябрь. Готовится к выходу первый номер журнала П. П. Перцова, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского «Новый путь». Блок по просьбе Гиппиус передает ей стихи для публикации в журнале.

1902, октябрь. В. Я. Брюсов через М. С. и О. М. Соловьевых предлагает Блоку опубликовать его стихи в альманахе «Северные цветы».

1902, 7 ноября. Объяснение с Л. Д. Менделеевой.

1903, 2 января. Блок делает официальное предложение Л. Д. Менделеевой.

1903, 3 января. Первый раз обращается с письмом к Андрею Белому. В тот же день и Андрей Белый, не зная об этом, также пишет впервые письмо Блоку.

1903, 30 января. В редакции журнала «Новый путь» знакомится с В. Я. Брюсовым.

1903, март. В книге «Северные цветы. Третий альманах книгоиздательства „Скорпион“» опубликован цикл стихотворений «Стихи о Прекрасной Даме». (Озаглавлено В. Я. Брюсовым.)

1903, 25 мая. Обручение с Л. Д. Менделеевой.

1903, конец мая – июнь. Поездка Блока с матерью в Германию, в Бад-Наугейм.

1903, 17 августа. Венчание А. А. Блока и Л. Д. Менделеевой в церкви Михаила Архангела села Тараканово, недалеко от Шахматова и Боблова.

1904, 10–25 января. Поездка Блоков в Москву. Личное знакомство с Андреем Белым, К. Д. Бальмонтом. Встречи с Андреем Белым, С. М. Соловьевым, В. Я. Брюсовым.

1904, весна. В доме Мережковских Блок знакомится с поэтом Георгием Ивановичем Чулковым.

1904, первая половина июля. В Шахматове гостят Андрей Белый и С. М. Соловьев.

1904, октябрь. Опубликована книга «Стихи о Прекрасной Даме» (М.: Гриф, 1905). Ее составили 93 стихотворения. Тираж издания – 1200 экземпляров.

1905, осень. Начало собраний в доме Вячеслава Иванова и его жены, писательницы Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, на знаменитой Башне (Таврическая ул., 25).

1906, 3 января. На Башне Вяч. Иванова Блоку предлагают сочинить пьесу, «развивая мотивы» стихотворения «Балаганчик» (1905).

1906, февраль. Приезд из Москвы в Петербург Андрея Белого. Начало романа Андрея Белого с Л. Д. Блок.

1906, конец марта. Завершена работа над книгой «Нечаянная Радость».

1906, апрель – май. Блок сдает государственные экзамены на историко-филологическом факультете Петербургского университета и оканчивает его с дипломом первой степени.

1906, май – август. Пребывание в Шахматове.

1906, 10 августа. В Шахматово приезжает Эллис, секундант Андрея Белого; вызов на дуэль. Дуэль не состоялась.

1906, сентябрь. Блок с женой переезжают в квартиру на Лахтинской ул.

1906, осень. В театре Веры Федоровны Комиссаржевской ставится пьеса Блока «Балаганчик». Режиссер спектакля – Всеволод Эмильевич Мейерхольд, автор музыки – Михаил Алексеевич Кузмин. Знакомство с актрисой театра Наталией Николаевной Волоховой (1878–1966), ставшей «прототипом» героини циклов «Снежная маска» (1907), «Фаина» (1906–1908).

1906, конец декабря. Выход в свет книги «Нечаянная Радость»

(М.: Скорпион, 1907).

1906, 30 декабря. Премьера спектакля «Балаганчик» в театре В. Ф. Комиссаржевской.

1907, август. Блок посылает Андрею Белому вызов на дуэль. Обмен письмами, выяснение отношений.

1907, 24 августа. Встреча с Андреем Белым. Примирение.

1908, февраль. Вышел в свет сборник «Лирические драмы» (СПб.: Шиповник, 1908).

1908, 3 мая. Разрыв отношений с Андреем Белым (вплоть до 1910 г.).

1908, июль. Опубликован сборник стихотворений «Земля в снегу» (М.: Золотое руно, 1908).

1908, 29 октября. Блок избран членом Религиозно-философского общества.

1909, 2 февраля. У Блоков рождается сын Дмитрий.

1909, 10 февраля. Смерть Дмитрия.

1909, апрель – июнь. Блок с женой уезжает в Италию и Германию.

1909, 30 ноября. Блок узнает о смертельной болезни отца. Уезжает в Варшаву.

1909, 4 декабря. Похороны Александра Львовича Блока, отца поэта.

1910, сентябрь. Примирение (в письмах) с Андреем Белым.

1911, 2 мая. Из печати выходит первый том «Собрания стихотворений» Блока (М.: Мусагет, 1911).

1911, июль – начало сентября. Новое заграничное путешествие – Германия, Бельгия, Франция, Голландия.

1911, 29 октября. Опубликован лирической сборник «Ночные часы» (М.: Мусагет).

1911, 18 декабря. Напечатан второй том «Собрания стихотворений» (М.: Мусагет).

1912, 24 марта Увидел свет третий том «Собрания стихотворений» (М.: Мусагет).

1913, 19 января. Завершена работа над драмой «Роза и Крест», которую весной Блок читает К. С. Станиславскому.

1913, 12 июня – 3 августа. Блок приезжает во Францию.

1913, октябрь. Слушает оперу Ж. Бизе «Кармен» петербургского Театра музыкальной драмы. В главной партии – Любовь Александровна Дельмас (1884–1969).

1914, 28 марта. Знакомство с Л. А. Дельмас.

1914, 31 марта. Закончен цикл «Кармен».

1916, 7 июля. Блок призван в действующую армию и зачислен табельщиком в 13-ю инженерно-строительную дружину Всероссийского союза земств и городов.

1916, 26 июля. Выезжает в расположение дружины (в районе города Пинска).

1917, 19 марта. Блок возвращается в Петроград. В Москве присутствует на репетициях драмы «Роза и Крест» в Художественном театре.

1917, 8 мая. Назначение редактором стенографического отчета Чрезвычайной следственной комиссии, учрежденной Временным правительством для расследования деятельности царских министров и сановников.

1917, август. Начало создания книги «Последние дни императорской власти».

1917, конец декабря. Блок приступает к написанию статьи «Интеллигенция и революция».

1918, 8–28 января. Работа над поэмой «Двенадцать».

1918, 9 января. Закончена статья «Интеллигенция и революция».

1918, 30 января. Написано стихотворение «Скифы».

1918, 3 марта. Поэма «Двенадцать» напечатана в газете «Знамя труда».

1918, 13 мая. Первое публичное исполнение поэмы «Двенадцать» (читает Л. Д. Блок).

1918, 22 сентября. Блок приглашен участвовать в работе издательства «Всемирная литература», учрежденного М. Горьким.

1918, 27 ноября. Выходит в свет книга «Двенадцать» (Пг.: Алконост, 1918) с иллюстрациями Ю. П. Анненкова.

1919, январь – май. Блок сотрудничает с издательством «Всемирная литература», разрабатывает планы просветительских спектаклей «Исторические картины».

1919, 10 июля. Опубликована книга статей «Россия и интеллигенция» (Пг.: Алконост, 1919).

1920, апрель. Подготовлен сборник стихов «Седое утро».

1920, май. Поездка в Москву, выступления с чтением стихов в Политехническом музее, во Дворце искусств и др.

1920, 27 июня. Блок избирается председателем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов.

1921, 1–11 мая. Последняя поездка в Москву.

1921, май – июнь. Начало и обострение смертельной болезни. Блок уничтожает часть архива. Хлопоты (в том числе М. Горького) о разрешении Блоку выехать для лечения за границу.

1921, 7 августа, 10 часов 30 минут утра. Александр Блок умер.

1921, 10 августа. Похороны А. А. Блока на Смоленском кладбище в Петербурге (в сентябре 1944 г. прах поэта перенесен на Литераторские мостки Волкова кладбища).

Библиографическая справка

Александр Блок в воспоминаниях современников: в 2 т. / Сост., вступ. ст., подгот. текста, коммент. Вл. Орлов. – М.: Художественная литература, 1980.

Александр Блок. Новые материалы и исследования: в 5 кн. – М.: Наука, 1980–1993.

Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М.: Правда, 1990.

Белый А. Воспоминания о Блоке. – М.: Республика, 1995.

Блок А. А. Собрание сочинений в 8 т. / Под общ. ред. В. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского. – М.; Л.: ГИХЛ, 1960–1963.

Блок А. А. Записные книжки. 1901–1920 / Под общ. ред. В. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского. Сост., подгот. текста, предисл. и примеч. В. Н. Орлова. – М.: Художественная литература, 1965.

Блок А. А. Письма к жене. – М.: Наука, 1978.

Памяти Александра Блока. Пб.; Вольфила, 1922.

notes

Сноски

1

Игры в мяч *(фр.)*.

2

Ректорский дом теперь совершенно перестроен внутри, в нем помещаются аудитории и канцелярии. *(Примеч. М. А. Бекетовой.)*

3

Наша бабушка по матери, которая жила у нас в первые годы Сашиной жизни и присутствовала при его рождении. *(Примеч. М. А. Бекетовой.)*

4

«Ну, малыш…» *(фр.)*

5

Яков Верный *(фр.)*.

6

Красноречие *(фр.)*.

7

Музыке *(фр.)*.

8

Да здравствует Франция! Да здравствует Феликс Фор! *(фр.)*

9

Деталь облачения дьякона. – *Сост.*

Строки А. А. Фета. – *Сост.*

11

О да, мое дитя! *(англ. и нем.)*

12

Ни прежде, ни потом *(нем.)*.

«Городу и миру» *(лат.)*. Книга стихов В. Я. Брюсова. – *Сост.*

Философ Григорий Александрович Рачинский. – *Сост.*

15

Хозяйство на троих *(фр.)*.

16

Сдержанная *(фр.)*.

17

Сама ее худоба была прелестна *(фр.)*.

18

У древних римлян гадание, здесь предзнаменование. – *Сост.*

«Восстановление смертной казни» *(фр.)*.

20

Генезис, происхождение *(греч.)*.

21

Генезис, происхождение *(греч.)*.

22

Бесцеремонность *(фр.)*.

23

Равенство *(фр.)*.